

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ

ПРОБЛЕМЫ СЛАВЯНСКОЙ  
ДИАХРОНИЧЕСКОЙ  
СОЦИОЛИНГВИСТИКИ

ДИНАМИКА  
ЛИТЕРАТУРНО-ЯЗЫКОВОЙ  
НОРМЫ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ

ПРОБЛЕМЫ СЛАВЯНСКОЙ  
ДИАХРОНИЧЕСКОЙ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ:  
ДИНАМИКА ЛИТЕРАТУРНО-ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ

Руководитель проекта и ответственный редактор  
доктор филологических наук Е. И. Демина

Москва  
1999

Очередной труд отдела славянского языкознания Института славяноведения РАН из серии исследований по истории славянских литературных языков посвящен актуальной и мало изученной проблеме диахронической социолингвистики: феномену динамики литературно-языковой нормы – одной из важнейших характеристик онтологии литературного языка.

Труд предназначен для всех, кто интересуется историей культуры славянских народов, в том числе такой ее специальной областью, как становление и развитие славянских литературных языков.

## РЕДКОЛЛЕГИЯ

доктор филологических наук Е. И. Демина  
(ответственный редактор),  
кандидат филологических наук В. С. Ефимова

## Рецензенты

доктор филологических наук Т. В. Попова  
доктор филологических наук А. Ф. Журавлев

Компьютерный набор – Е. Н. Овчинникова  
Подготовка макета издания – В. С. Ефимова

Работа над данным коллективным трудом выполнена  
при финансовой поддержке Фонда “Культурная инициатива”  
(грант 1994–1995 гг., № ZZ5000/331)

**ISBN 5-7576-0088-8**

© Институт славяноведения  
РАН, 1999

## ПРЕДИСЛОВИЕ

В коллективной монографии сотрудников Отдела славянского языкоznания Института славяноведения Российской академии наук, продолжающей серию ранее опубликованных исследований по истории становления и развития славянских литературных языков, ставится задача в теоретическом и содержательном аспектах исследовать одну из важнейших особенностей онтологии литературного языка как историко-культурного феномена – проблему становления и динамических преобразований его нормы. Постановка подобной задачи рассматривается авторами труда как попытка изучения одной из центральных, но недостаточно исследованных областей в сфере диахронической социолингвистики.

Исследование различных аспектов намеченной проблематики основано на материале истории славянских литературных языков разных народов. В вводной теоретической главе “Феномен динамики литературно-языковой нормы как предмет диахронической социолингвистики”, учитывая исторически зафиксированную возможность как единичности, так и множественности форм манифестации явления “литературный язык” данного народа на том или ином этапе его развития, Е. И. Демина выдвигает предложение разграничивать “внутреннюю” (в рамках конкретного литературно-языкового идиома как реальной коммуникативной единицы) динамику нормы и “внешнюю”, “надлитературно-идиомную” динамику нормы – когда речь идет о ряде литературно-языковых идиомов, сосуществовавших на том или ином этапе развития литературного языка данного народа или сменявшихся один другим, т. е. когда предметом исследования выступает динамика нормативных изменений в процессе взаимодействия и конкуренции этих идиомов.

В главе “О некоторых тенденциях развития первого литературного языка славян в произведениях древнеболгарских писателей”, написанной В. С. Ефимовой, рассматривается процесс расширения выразительных возможностей старославянского (=древнеболгарского литературного) языка за счет образования и употребления новых отадъективных наречий, значительная часть которых закреплялась в языке, обеспечивая внутреннюю динамику его нормы. Высказывается предположение об особой роли языка Иоанна Экзарха

Болгарского в этом процессе. Проблема внешней динамики нормы исследована Л. Н. Смирновым, который в своей главе "Традиционное и новое в опытах кодификации норм словацкого литературного языка периода его становления" показывает на конкретном материале как соотносились элементы нового и традиционного в бернолаковской, штурковской и годжовско-гатталовской кодификациях норм словацкого литературного языка изучаемого периода. Развитие норм серболужицких литературных языков в связи со спецификой серболужицкой литературной ситуации исследовано М. И. Ермаковой. В главе "Из наблюдений над динамикой лексической нормы в текстах новоболгарских дамаскинов XVII–XVIII вв." на материале разночтений в одинаковых отрывках текста трех новоболгарских дамаскинов XVII–XVIII вв. Г. П. Клепикова анализирует сдвиги в лексической норме книжного болгарского языка позднего Средневековья на народной основе как в диахроническом плане (когда соответствующие варианты фиксируются в памятниках, манифестирующих хронологически различные "срезы" языка), так и в синхронном (когда варианты отражены в памятниках, близких по времени написания, но созданных в разных центрах письменности). Тем самым варьирование лексической нормы связывается с частичной сменой диалектной базы изучаемого книжного идиома в процессе движения текста по спискам. Внимание Г. К. Венедиктова привлек феномен порождения искусственных правил на этапе становления норм современного болгарского литературного языка, который он рассматривает на примере членных форм. В главе "Словообразовательная конкуренция как фактор динамики литературной нормы" на материале словообразования в чешском литературном языке XVIII–XX вв. Г. П. Нещименко показала значимость названного в заглавии явления для изучения динамики нормы. Динамика лексической нормы в чешском литературном языке XIV–XX вв. на материале лексико-семантической категории лица исследована Ю. Е. Стемковской.

Создатели монографии выражают свою искреннюю благодарность ее рецензентам – доктору филологических наук Т. В. Поповой и доктору филологических наук А. Ф. Журавлеву.

*Руководитель проекта Е. И. Демина*

## *Глава 1*

### **ФЕНОМЕН ДИНАМИКИ ЛИТЕРАТУРНО-ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ КАК ПРЕДМЕТ ДИАХРОНИЧЕСКОЙ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ**

Теоретические проблемы диахронической социолингвистики как особой научной дисциплины историко-филологического цикла, зародившейся в недрах российского языкоznания (Ф. Ф. Фортунатов, И. А. Бодуэн де Куртенэ, Е. Д. Поливанов, Н. С. Трубецкой)<sup>1</sup>, в наши дни привлекают особое внимание славистов. В общем определены предмет и понятийный аппарат этого относительно нового направления языкоznания, проведен ряд конкретных исследований, в частности, связанных с историей славянских литературных языков. Вместе с тем, еще многие вопросы теоретического характера нуждаются в дальнейшем осмыслении и уточнении.

Так, думается, недостаточное место в имеющихся разработках уделено явлению динамики нормы, специально – динамики литературно-языковой нормы как важнейшему социолингвистическому феномену, впервые привлекшему к себе внимание еще представителей Пражского лингвистического кружка. Более того, создается впечатление, что этот – возможно, один из главных – объектов диахронической социолингвистики как бы выведен за ее рамки, рассматривается, по-видимому, как собственно лингвистический, относящийся скорее к исторической грамматике, в то время как диахроническая социолингвистика решает собственно экстралингвистические задачи. Так, во вводной теоретической статье в книге “Диахроническая социолингвистика”, изданной в 1993 г., предмет этого направления языкоznания формулируется следующим образом: “Со стороны истории отдельного языка ядром диахронической социолингвистики является динамика его общественных функций, а со стороны социума – динамика языковой ситуации”<sup>2</sup>. Интересующий нас феномен не отражен и в понятийном аппарате диахронической социолингвистики, сформулированном в указанном сочинении. К числу ее

фундаментальных понятий отнесены лишь социум, социа-  
лема (имеется в виду речевой коллектив, имеющий реальную или  
потенциальную возможность речевого общения; термин Ю. Д. Де-  
шериева) и лингвема (то относительно целостное образование,  
в котором язык выступает в различных условиях речевой реали-  
зации; термин также Дешериева), которые рассматриваются в  
качестве "трех координат, на которые опирается социальная история  
языка во всем ее объеме"<sup>3</sup>.

Феномен динамики нормы не учитывается и при обращении к  
более частному объекту исследований по диахронической социо-  
лингвистике – к истории литературных языков. Так, в докладе на  
Х Международном съезде славистов В. К. Журавлев высказывает  
следующее мнение: "История литературного языка – динамика  
объема и социально-этнического содержания его социалемы,  
динамика объема и содержания его текстов. Социалема лите-  
ратурного языка определяет характер и направление интегрирующих  
связей с другими коллективами, а тем самым характер развития  
литературного языка, динамику содержания его текстов. Это может  
быть связь с предшествующими поколениями, связь с древней  
культурой, тенденция сохранения условий понимания текстов,  
составленных старшими поколениями (ср. спор между карам-  
зинистами и шишковистами, Вука Караджича с Йованом Хаджичем  
и т. п.)"<sup>4</sup>. Соответствующим образом определяется и предмет истории  
литературного языка: "Социалема, собственно люди, языковой  
коллектив, владеющий литературным языком, и тексты, создаваемые  
ими и хранящиеся в том или ином аппарате их памяти, – вот что  
составляет предмет истории литературного языка"<sup>5</sup>.

Во многом с этими высказываниями можно согласиться. Важным  
представляется то внимание, которое уделяется роли носителей того  
или иного литературного идиома, их месту в языковой ситуации, их  
влиянию на характер и направление развития литературного языка,  
т. е. тому фактору, который, (на мой взгляд, может быть не  
слишком удачно) назван социалемой<sup>6</sup>. И тем не менее,  
представляется, что в них отсутствует указание на нечто самое  
главное, то, что, собственно говоря, и должно являться предметом  
изучения литературно-языкового развития, а именно на динамику  
самой "языковой плоти". Я имею в виду прежде всего понятие  
динамики нормы как одну из важнейших характеристик  
онтологии литературного языка как историко-культурного феномена.

В самом деле, ставя в центр исследования истории литературного языка динамику объема и социально-этнического содержания коллектива его носителей (социалему), мы фактически лишаем себя возможности судить о том, как именно эта динамика реальна сказалась на языковой стороне литературного идиома, которым они пользуются (и сказалась ли вообще — это отнюдь не всегда обязательно), на динамике его нормы. В свою очередь, учет динамики объема и содержания текстов, создаваемых этими носителями, сам по себе также еще ничего не говорит о возможном наличии тех или иных конкретных изменений на языковом уровне и, специально, — на уровне литературно-языковой нормы, даже если допустить, что термином “текст” здесь обозначается «языковой материал» в понимании Л. В. Щербы<sup>7</sup>. И тот, и другой факторы — лишь движущие силы, возможная причина неких изменений, которые под их влиянием могут произойти в литературно-языковом идиоме или в языковой ситуации в целом. Их глубокое исследование действительно необходимо, если мы хотим понять существо литературно-языкового развития. И тем не менее только включение в рассмотрение также и собственно языковой материи в контексте ее социолингвистической интерпретации, в частности, изучение динамики литературно-языковой нормы придаст необходимый смысл исследовательским усилиям, явится основанием для подлинного представления об истории литературного языка.

Возможно, упорный отказ прямо говорить о сдвигах в облике самого литературного языка, о динамике литературно-языковой нормы в указанных работах объясняется излишне категоричным устранением из предмета социолингвистики всего, что с точки зрения автора не относится к *внешней* стороне языка, не является, по его мнению, *экстраваргистическим*, поскольку, по его определению, предмет диахронической социолингвистики — это “внешняя история языка и самых различных языковых образований (языков, наречий, диалектов территориальных и социальных, функциональных стилей и т. д.) в данном исторически меняющемся социуме, это — история внешней языковой системы, история функционирования, развития и взаимодействия языков”<sup>8</sup>. Проблема же динамики нормы при том, что она имеет явно социолингвистический характер и во многом объясняется экстраваргистическими причинами, с неизбежностью затрагивает саму языковую материю, ее интимную, “внутреннюю” жизнь, способы организации языковых выразительных средств,

оформляющих высказывание (устное или письменное). Иными словами, дело, по-видимому, в недооценке понятия динамики нормы как феномена социолингвистического и отсюда – исключение ее из предмета и числа задач диахронической социолингвистики.

Между тем, норма (даже если она создана одним человеком – почему-либо не нашедшим себе сторонников – и последовательно им соблюдается) – это всегда налагающийся сверху на потенциально возможные (виртуальные) реализации языковой системы осознанный отбор, проявляющийся в том, что только часть этих допустимых системой или уже осуществившихся в узусе реализаций признается как нечто “правильное”, “образцовое”, такое, чему необходимо следовать в социально одобренном для данной коммуникативной ситуации высказывании. Тот факт, что этот отбор всегда проходит через языковое сознание определенного коллектива, принявшего или не принявшего те или иные возможные решения за образец, которому должно следовать, бесспорно, свидетельствует о социолингвистическом характере явления нормы. В неменьшей степени это относится к явлению динамики нормы. Те или иные произошедшие в языке изменения только в том случае могут быть рассматриваемы как проявление феномена динамики нормы, если они в свою очередь прошли через оценку языкового коллектива, вошли в его речевую практику (устную или письменную) как социально одобренные для данной коммуникативной ситуации и нормативно закреплены в образцах текста, грамматиках и словарях. Напомню в связи с этим справедливое замечание Г. В. Степанова: “Проблема исторического изменения состоит не только в выявлении того, как возник или изменился тот или иной элемент языковой системы, но и в том, каким образом он становится фактом языковой традиции, в каких социальных, культурных, функционально-стилистических условиях развивается этот процесс”<sup>9</sup>, как, добавлю от себя, он входит в нормативный комплекс, манифестируя динамику нормы.

Таким образом, проблема динамики литературно-языковой нормы как важнейшей характеристики онтологии литературного языка как историко-культурного феномена не может быть исключена из предмета диахронической социолингвистики. Более того, в известном смысле можно сказать, что история того или иного литературного языка как реально функционирующей коммуника-

тивной единицы является историей становления и динамических преобразований присущей ему нормы. Но при этом необходимо не упускать из вида хорошо известный в славистике факт возможного существования в истории данного народа ряда языковых идиомов, обладавших каждый своими собственными системой и нормой, которые на том или ином историческом этапе выполняли функции литературного языка, сосуществуя между собой, находясь в отношениях дополнительного распределения, конкурируя между собой, вытесняя один другой или интегрируя в форме особого компромисса. Распространенность подобной ситуации в славянских странах, на наш взгляд, диктует необходимость подхода к феномену "литературный язык" на более высоком уровне абстракции, как к некоему "*целому*", понимая исторические преобразования в процессе конкретной манифестации этого "*целого*" как его состояния и определяя тот или иной исторический литературный язык как совокупность этих состояний в их динамике. При таком подходе и о феномене динамики нормы имеет смысл говорить, исходя из этого более высокого уровня абстракции в определении понятия "литературный язык". Тогда термин "динамика литературно-языковой нормы" охватит собой не только эволюционные преобразования нормы в рамках того или иного конкретного литературно-языкового идиома, но и соотношение норм отдельных идиомов как реальных коммуникативных единиц, возникавших в результате коренных сдвигов в истории литературного языка данного народа, результаты их сосуществования, взаимовлияния и конкуренции, а на этапе становления современных литературных языков, существенным признаком которых является единство нормы – нормализаторские усилия устроителей литературного языка, способствовавших закреплению тех или иных спонтанно возникавших в литературно-языковой практике узульных решений и осознанию их как соответствующих норме.

В свете сказанного представляется целесообразным при исследовании феномена "динамика литературно-языковой нормы" четко разграничивать задачи наблюдений над ситуациями, когда речь идет о "*внутренней*", в рамках конкретного языкового идиома динамике его нормы и когда единый объект наблюдений отсутствует и следует говорить о динамике "*внешней*", "*надлитературноидиомной*", например, о соотношении норм разных книжно-литературных идиомов, функционировавших у того или иного

народа в данной языковой ситуации, о их взаимоотношении, возможности их дополнительного распределения или смены, о конкуренции норм существующих идиомов в процессе создания нового исторического типа литературного языка данного народа. При этом второй аспект наблюдений безусловно базируется на данных первого, так или иначе их учитывает.

Таким образом, к определению феномена “динамика литературно-языковой нормы” можно подойти в двух различных, но взаимосвязанных аспектах: более “узком”, условно говоря, “внутрилитературноидиомном” (аспекте “внутренней” динамики нормы) и более “широком”, “надлитературноидиомном” (аспекте “внешней” динамики нормы).

Первая постановка проблемы предполагает следующий ход исследовательской мысли: существует некий литературно-языковой идиом как реальная коммуникативная единица, обладающая своими системой и нормой; в процессе развития языковой системы, а также изменений в узусе, связанных с влиянием факторов внешнего, в том числе экстралингвистического характера (например, с усилением роли различных центров письменности и соответствующими изменениями в составе носителей данного идиома, с какими-то факторами регионального или социального характера, с влиянием других языковых идиомов, в том числе неродственных), в текстах, препрезентирующих данный идиом, появляются те или иные сдвиги (варианты); возникает и так или иначе решается проблема включения этих вариантов в норму или отказа от подобного решения, т. е. проблема нормализации и/или кодификации (на ранних этапах – проблема так называемой “книжной справы”). Иными словами, в исследовательском плане в данном случае речь идет о выявлении сдвигов в традиционной норме конкретного литературно-языкового идиома под влиянием тех или иных лингвистических и экстралингвистических факторов и тенденций развития. Выявляются социальные, историко-культурные, конфессиональные и т. п. причины как самих этих сдвигов, так и обстоятельств, вызвавших потребность в нормализации.

Как следует из сказанного, подобному рассмотрению могут быть подвергнуты литературно-языковые идиомы, отношения между элементами системы которых вошли в состояние устойчивого равновесия, образуют единое целое в функциональном и стилистическом отношении, принятые как “правильные” определенным

языковым коллективом, что, собственно говоря, и является критерием выделения данного идиома в кругу других идиомов данного языка как диасистемы и определения его границ. Например, в Болгарии такими идиомами в истории литературного языка являются традиционный литературный язык как прямой континуант древнеболгарского литературного языка, опирающегося на кирилло-мфодиевские традиции, или современный болгарский литературный язык, новоболгарский по своей грамматической структуре (аналитического строя в отличие от синтетического строя традиционного литературного языка) и национальный по своим функциям. Сюда же в известной мере может быть отнесен книжный болгарский язык XVII в. на народной основе, сложившийся в письменности новоболгарских дамаскинов и отраженный в относительно "чистом" виде в таких репрезентантах этого языка, как Тихонравовский, Протопопинский, отчасти Люблянский дамаскины XVII в.

Очевидно, что в силу относительной устойчивости сложившейся системы идиомов подобного типа динамика их нормы проявляется прежде всего либо в естественном уплотнении принятой (кодифицированной) модели нормативного комплекса вновь возникшими выразительными средствами, главным образом, лексическими, связанными с появлением новых реалий и понятий, либо в тех сдвигах, которые обусловлены внутренним историческим развитием самой системы данного литературного идиома. Территориальные, региональные, социальные варианты могут войти в норму данного идиома – и тем самым свидетельствовать о ее "внутренней" динамике – лишь в том случае, когда это существенно не сказывается на характере системных отношений в субстанции и структуре данного идиома, когда проблема возникших вариантов может быть решена путем их стилистического и функционального распределения в норме. В противном случае, речь может идти уже о разрушении системы данного книжно-литературного идиома и о возникновении нового со своими системой и нормой.

Термин "внутренняя динамика нормы" впервые использовал, пожалуй, А. Едличка, оценивая в своей обобщающей статье "О пражской теории литературного языка" вклад представителей Пражского лингвистического кружка в проблематику соотношения нормы и кодификации. Едличка особо выделяет принятый новой теорией принцип вариантности языковых средств, присущих норме,

отказ в связи с этим от акцентировки консервативных черт литературного языка, характерной для старой теории. Хотя основу норм литературного языка и составляет традиция, "однако при этом в полной мере учитываются и элементы, которые с диахронической точки зрения являются новыми, с синхронной -- живыми, а с точки зрения дальнейшего развития языка -- прогрессивными: компонентами нормы литературного языка считаются те новые элементы, которые являются правильными с точки зрения новой структуры; тем самым противопоставляются явления, опирающиеся на закономерности старой и новой языковой структуры"<sup>10</sup>. Поскольку подобная дифференциация языковых средств литературного языка является живым, постоянно действующим фактором, необходимость оценки возникающих при этом исторически обусловленных (связанных с развитием языковой системы) вариантов как допустимых или недопустимых в норме позволяет говорить о ее динамическом характере. "Включение исторически обусловленных вариантов в норму, -- пишет Едличка, -- должно рассматриваться как средство снять противоречие между статичной по своей сущности кодификацией и динамикой нормы, как средство отразить в нутреннюю динамику нормы. Развитие нормы совершается именно благодаря вариантам, они являются, как правило, переходными формами от одного качества к другому; вместе с тем их позитивная роль состоит в том, что они весьма часто служат средством стилистической дифференциации"<sup>11</sup> (разрядка моя). -- Е. Д.).

Нетрудно убедиться в том, что проблема "внутренней" динамики нормы в трудах пражских лингвистов связывается прежде всего с наличием вариантов, возникших в итоге естественного развития языковой системы, и необходимостью решить вопрос о возможности их кодификации в связи со стоявшей перед ними проблемой кодификации чешского литературного языка. В известной мере ими учитывалась и вариативность, связанная с территориальной дифференциацией языка, хотя этот вопрос не ставился во всей полноте и при его конкретном решении, по словам Едлички, имели место определенные ошибки.

Круг этих задач, безусловно, может быть расширен. Так, например, перед устроителями нормативного комплекса могут встать задачи, связанные с необходимостью систематизации явлений, ранее вообще не присущих системе данного языка. Особенно часто такие

задачи возникают в связи с процессом интеллектуализации литературного языка и отражения в нем относительно новых особенностей. Если, например, обратиться к современному болгарскому литературному языку, то в этой связи можно отметить круг сложных и недостаточно разработанных проблем, связанных с системой транскрипции широко проникающих в него иностранных слов, чужих собственных имен и названий, необходимость принятия ряда новых правил, обусловленных активизацией композиции как одного из современных способов словообразования, а также целого ряда орфографических, орфоэпических, грамматических и стилистических норм в связи с тенденцией кabbревиатура: неразработанностью вопроса о включении различных видов аббревиатур в парадигмы по роду, числу, особенностям согласования и употребления от них членных форм<sup>12</sup>. В связи с новыми реалиями в грамматике встает вопрос о согласовании существительных мужского рода, когда они называют по профессии лицо женского пола (*уважаема профессор Петрова* или *уважаемы профессор Петрова*), как и сам вопрос о границах допустимости подобного употребления<sup>13</sup>. В литературно-языковой практике даже образованных слоев общества появляются вариантные по отношению к норме особенности на фонетическом, грамматическом и лексическом уровне под воздействием влиянием различных субстандартных образований, в свою очередь находящихся под воздействием тех или иных диалектных ареалов, выходцы из которых нередко определяют "языковую моду"<sup>14</sup>. Часть этих закрепившихся в литературном узусе образований постепенно включается в норму, другие же остаются за ее пределами, создавая зоны напряжения нормы, которые, возможно, в дальнейшем определят ее динамику. Напомню в связи с этим острую дискуссию по проблеме произношения и написания гласного на месте этимологического б<sup>15</sup>.

Феномен “внутренней” динамики нормы неодинаково проявляет, манифестирует себя в рамках разных исторических типов литературного языка, функционировавших на разных этапах истории данного народа<sup>16</sup>. Так, например, для книжно-письменного по характеру своего функционирования традиционного литературного языка болгарского средневековья, использовавшегося в письменности конфессионального содержания, наряду с отдельными

попытками “догнать” происшедшие в живом разговорном языке и книжно-литературной практике изменения, характерной была направленность нормализаторских усилий на возврат к “священным” нормам более древнего периода (ср., например, известную реформу Евфимия Тырновского или второе южнославянское влияние на Руси, как и другие примеры “книжной справы”). Подобная направленность динамики нормы нехарактерна для современных национальных литературных языков как особого исторического типа литературного языка, однако имела место в процессе формирования некоторых из них (ср., например, современный чешский литературный язык, опиравшийся в процессе своего формирования на язык Кралицкой библии 1545–1599 гг. — т. е. на образцовую форму чешского литературного языка “золотого периода” XVI в.). В свою очередь, для такого исторического типа литературного языка, как книжный язык на народной основе, распространенного в славянском мире в XVI–XVII вв.<sup>17</sup>, динамика нормы представлявших его книжно-литературных идиомов сводилась практически к стихийным процессам децентрализации, утраты вновь и вновь возникавшими литературно-языковыми идиомами первоначально сложившейся нормативной системы и создания новой, что исторически могло объясняться отсутствием единого центра культуры и письменности в условиях отсутствия государственности, большой раздробленностью диалектного континуума, а также тем, что вновь возникавшие нормы имели узкую сферу применения, нередко замыкались в рамках деятельности отдельного книжника. Уместно вспомнить и рассуждения Л. В. Щербы об исторической изменчивости самого представления о литературно-языковой норме, о допустимых границах ее варьирования: “Ощущение нормы, как и сама норма, может быть сильнее и слабее в зависимости от разных условий, между прочим от наличия нескольких существующих норм, недостаточно дифференцированных для их носителей, от присутствия или отсутствия термина для сравнения, т. е. нормы, считаемой за чужую, от которой следует отталкиваться, наконец, и от практической важности нормы или ее элементов для данной социальной группы”<sup>18</sup>.

Из сказанного следует, что постановка задач изучения “внутренней” динамики нормы на разных исторических этапах развития имеет свою специфику и нуждается в предварительной теоретической разработке. Прекрасным образцом работы по диахронической социолингвистике, посвященной анализу “внутренней” динамики нормы на одном из этапов древнерусской письменности, выступающей в данном случае в форме “книжной справы” при ориентации на юнославянские образцы (что определило переход от текстологического подхода к нормализации языка к грамматическому) является доклад В. М. Живова на XI Международном съезде славистов в Братиславе, посвященный проблематике второго юнославянского влияния<sup>19</sup>.

В истории славянских литературных языков имели место и столь резкие преобразования литературно-языковой нормы, которые уже не могут быть сведены к ее “внутренней” динамике, а скорее свидетельствуют о возникновении нового книжно-литературного идиома со своим нормативным комплексом. Одной из возможных причин этого является постепенно нарастающее расхождение между традиционным литературным языком и современными народными говорами в силу более ускоренного развития последних в звуковом и грамматическом отношении. “Поэтому, — замечает Н. С. Трубецкой, — наступают моменты, когда литературный язык и народные говоры представляют настолько различные стадии развития, что оба они несовместимы в одном и том же языковом сознании. В эти моменты между обеими стихиями — архаично-литературной и новаторски-говорной — завязывается борьба, которая кончается либо победой старого литературного языка, либо победой народного говора, на основе которого в этом случае создается новый литературный язык, либо, наконец, компромиссом”<sup>20</sup>. Безусловно, важную роль при этом играли факторы социального и историко-культурного характера. Тем не менее, можно проиллюстрировать на материале истории славянских литературных языков все три отмеченные Трубецким исхода “борьбы”. Вспомним уже упомянувшееся выше обращение к чешскому литературному языку “золотого периода” (XVI в.) при формировании норм литературного чешского языка в период национального Возрождения или радикальную реформу Вука Караджича, завершившую процесс создания сербского литературного языка на чисто народной основе.

О высокой степени продвинутости расхождений между литературно-языковой нормой и состоянием живой народной речи позволяет судить ситуация в Болгарии, где вплоть до XVII в. в письменности употреблялся литературный язык синтетического грамматического строя, идущий от кирилло-мефодиевских традиций, в то время как народный язык был представлен идиомами с продвинутым аналитическим строем, синтаксисом, проникнутым балканскими чертами (отсутствие инфинитива, особые аналитические формы будущего времени, утрата склонения, наличие членных форм и под.), и обновленным словарем. Возникшая здесь в XVII в. письменность так называемых дамаскинов на народном в своей основе языке столь резко порывает с традицией — вместе с тем при опоре на нее, — что результатом является создание принципиально нового типа литературного языка — книжного языка на народной основе со своими системой и нормой<sup>21</sup>. Вместе с тем, если исходить из намеченных Трубецким возможных исходов “борьбы”, то здесь в известной мере можно говорить и об определенном компромиссе. Отчасти это объясняется тем, что нормы книжного болгарского языка XVII в. на народной основе складывались непосредственно в процессе переложения источников на традиционном литературном языке, причем создатели нового книжного идиома опирались, с одной стороны, на систему выразительных средств народно-разговорного языка народного населения городов и крупных монастырей района Средней Старой Планины, вобравшего в себя черты центральных, переходного типа говоров у границы по ё, с другой — на средства языка оригиналов. В целом структура нового книжного идиома была задана общим решением на уровне системы письма и орографии следовать традиционной норме, на уровне грамматики и основного словаря — узусу живой народной речи. Условно механизм создания новой нормы в данном случае может быть сведен к модели: порождение письменных высказываний при ориентации одновременно на систему выразительных средств, норму и узус традиционного литературного и народного языков, накопление в процессе отбора однотипных решений (создание нового письменного узуса) --> принятие данных письменных высказываний за образец и закрепление их особенностей на уровне письменного языка как системы --> порождение новых письменных высказываний при ориентации на уже принятые особенности

реализации письменного языка как системы (= создание новой нормы). При этом влияние традиции не затронуло главного: грамматический строй и словарь книжного болгарского языка XVII в. являются народными.

Рассмотренный случай в известной мере может быть отнесен уже к проблематике “внешней” динамики нормы, демонстрируя “рождение” нового книжного идиома и возникновение тем самым ситуации сосуществования литературно-языковых идиомов. Необходимость выделения понятия “внешней”, “надлитературноидиомной” динамики нормы и обусловлена феноменом возможной множественности манифестаций явления “литературный язык данного народа” на том или ином историческом этапе. Фактически при этом, исходящем из более высокого уровня абстракции, подходе речь идет уже не столько о динамике нормы конкретных литературно-языковых идиомов, а скорее о динамике самого нормативного процесса, в ходе которого одни из этих идиомов исчезают, другие находятся в процессе своего становления, при возможности исторического сосуществования этих идиомов или конкуренции их норм, а также дополнительного распределения сфер функционирования между ними. Исследование процесса “внешней” динамики нормы дает важнейший материал для периодизации истории литературного языка данного народа<sup>22</sup>. Те или иные особенности динамики нормативного процесса могут явиться одним из информативных параметров типологии литературных языков в их историческом развитии<sup>23</sup>. Исследование “внешней” динамики нормы имеет существенное значение при изучении исторических процессов постепенного становления нормы и опытов нормализации на переходном от одного исторического типа литературного языка к другому этапе развития, и прежде всего к современным национальным литературным языкам, когда на первый план выходит исследование взаимосвязи и взаимовлияния различных идиомов в процессе закрепления тех или иных решений в узусе и норме и обратной связи между возникающими в этом процессе нормативными решениями и литературно-языковой практикой.

Предметом специального рассмотрения на конкретном языковом и историко-культурном материале в рамках проблемы “внешняя” динамика литературно-языковой нормы того или иного литературного языка как категории исторической, как «целого»

могут быть следующие виды соотношения норм, определяющие характер языковой ситуации на разных этапах в славянских странах:

— *Сосуществование* двух или более норм, не связанное с процессом их конкуренции. Эти нормы присущи одному и тому же кругу носителей (по крайней мере, части из них), существуют в их языковом сознании и применяются в зависимости от случая. Такой является ситуация, описанная выше в связи с возникновением книжного болгарского языка на народной основе наряду с продолжающим употребляться традиционным литературным языком позднего болгарского средневековья. Так, например, в Тихонравовском, Протопопинском и других дамаскинах XVII в. наряду с основным для них новоболгарским языком находим и часть произведений на языке архаичной редакции. Н. И. Толстой обратил внимание на одновременное употребление двух или больше норм у Назора и Франичевича, причем одна из норм распространяется на все функции литературного языка, другая — значительно ограничена в жанровом отношении, но в отношения конкуренции эти нормы не вступают<sup>24</sup>.

— Отношения *дополнительного распределения*, когда разные книжно-литературные идиомы четко связаны с функционированием в рамках разных литературных жанров. Так, например, Софроний Врачанский в автобиографическом повествовании, повестях и баснях пользовался языком, который по своим нормам тесно связан с письменностью дамаскинов, продолжает ту же линию, а в произведениях более высокого жанра, таких, как "Неделник", "Гражданское позорище" и др., — языком, близким к нормам Иосифа Брадатого и Паисия Хилендарского.

— *Смена идиомов*, обладавших разными нормами, в процессе становления и развития литературного языка. Так, рассматривая три последовательные кодификации литературных норм словацкого языка, осуществленных в конце XVIII — начале XIX вв. в течение относительно короткого срока (около семидесяти лет) благодаря нормализаторской деятельности Антона Бернолака, Людовита Штура и Мартина Гатталы, Л. Н. Смирнов приходит к выводу, что хотя бернолаковщина и штурковщина какой-то недлительный период сосуществовали, распределяясь по разным подсоциумам словацкого общества, их все же скорее можно трактовать как сменяющие друг друга диахронические варианты, а не как синхронно функционировавшие региональные варианты<sup>25</sup>.

— Конкуренция норм сосуществующих книжно-литературных идиомов в процессе постепенного и непрямолинейного становления норм современных литературных языков. Так, бурная борьба мнений по вопросам нормирования болгарского литературного языка периода национального Возрождения внимательно изучена и описана в работах Г. К. Венедиктова<sup>26</sup>.

Углубленное исследование проблематики “внешней” динамики литературно-языковой нормы — огромное поле для деятельности славистов в области диахронической социолингвистики.

В заключение отмечу, что проблема динамики нормы — как “внутренней”, так и “внешней” — непосредственно связана с социокультурными намерениями конкретных носителей литературно-языковых идиомов, их местом в историко-культурной ситуации и социальной стратификации. Это касается как уровня стилистических норм, так и специально — особенностей *употребления* литературного языка теми или иными его носителями в процессе расширения общественной сферы функционирования данного литературно-языкового идиома. Именно оценка наиболее престижной частью носителей литературного языка тех или иных сдвигов в литературно-языковой практике (письменном и устном узусе), отнесение этих сдвигов к числу “правильного” или “неправильного” и затем восприятие этой оценки как “руководства” к дальнейшему литературно-языковому поведению определяют “внутреннюю” динамику нормы. Аналогичные факторы действуют и в процессе “внешней” динамики нормы, в частности, при создании новой нормы, причем в последнем случае существенно возрастает значение того, будут ли предложенные решения восприняты достаточно авторитетным социумом, способным закрепить их в широком употреблении на значительный срок, передать будущим поколениям.

В то же время, социальный контекст по-разному проявляет себя в случае, когда речь идет о “внутренней” в рамках конкретного идиома динамике нормы и о динамике “внешней”, связанной со взаимодействием и конкуренцией норм разных идиомов, сталкивающихся между собой в процессе формирования нового типа литературного языка. В первом случае налицо стремление уже сложившегося социального коллектива, который пользуется данным литературно-языковым идиомом, сохранить его, подтягивая кодификаторские решения к реальному состоянию литературно-языковой практики (либо, как это имело место в период средневековья,

пытаясь возродить путем той или иной “книжной справы” нормы более древних текстов). В случаях, которые можно отнести к “внешней” динамике нормы, коллектив носителей общепринятых нормативных решений еще не сложился. Более того, нередко возникает острая борьба по тому или иному языковому вопросу, создаются различные правописные и иные школы, как это хорошо известно из истории славянских литературных языков периода национального Возрождения. Именно создание коллектива носителей, поддерживающего определенные нормализаторские предложения в процессе становления формирующегося литературного языка и придерживающегося их в своей литературно-языковой практике, — основной фактор и конечная цель процесса “внешней” динамики нормы. Это, в свою очередь, свидетельствует о целесообразности предлагаемого разграничения этих двух понятий.

<sup>1</sup> Журавлев В. К. Введение. Диахроническая социолингвистика (предмет, задачи, проблемы) // Диахроническая социолингвистика. М., 1993, с. 19.

<sup>2</sup> Там же, с. 4.

<sup>3</sup> Там же, с. 4–5.

<sup>4</sup> Журавлев В. К. Проблемы славянской диахронической социолингвистики // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1988, с. 162.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> Этот термин, в чем-то привлекательный, объединяя в одно целое людей, носителей языка, и сам язык, которыми они пользуются, в целом ряде случаев позволяет уйти от точной постановки вопроса, от ясного указания на то, о чём, собственно говоря, идет речь: о людях или о языке — думаю, это не одно и то же и не связано отношениями “строгой параллельности” изменения. В статье мы последовательно пользуемся терминами “идиом” (литературно-языковой идиом, народный идиом) и “носители того или иного идиома”, понимая под словом идиом “термин, в самом общем виде употребленный для обозначения языка, присущего (гр. ἰδίωμα) какому-либо сообществу независимо от тех или иных особенностей, дающих основание обозначать речь этого сообщества специальным наименованием диалекта, местного говора и т. д.” (Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. М., 1960, с. 114).

<sup>7</sup> Ср. его высказывание: «все языковые величины, с которыми мы оперируем в словаре и грамматике, будучи концептами, в непосредственном опыте (ни в психологическом, ни в физиологическом) нам вовсе не даны, а могут выводиться нами лишь из процессов говорения и понимания, которые

я называю в такой их функции "языковым материалом". Под этим последним я понимаю, следовательно, не деятельность отдельных индивидов, а совокупность всего говоримого и понимаемого в определенной конкретной обстановке в ту или иную эпоху жизни данной общественной группы. На языке лингвистов это „тексты“ (которые, к сожалению, обыкновенно бывают лишены вышеупомянутой обстановки); в представлении старого филолога это „литература“ рукописи, книги» (*Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974, с. 26*). Не случайно, заметив, что “история литературного языка есть история литературных текстов”, А. И. Горшков считает нужным разъяснить: “Поэтому для истории литературного языка особенно важно изучение динамики норм, определяющих языковую организацию текста” (*Горшков А. И. Литературный язык и норма (на материале истории русского литературного языка) // Проблема нормы в славянских литературных языках в синхронном и диахронном аспектах. М., 1976, с. 200*).

<sup>8</sup> Диахроническая социолингвистика..., с. 4.

<sup>9</sup> Степанов Г. В. Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи. М., 1976, с. 75.

<sup>10</sup> Едличка А. О пражской теории литературного языка // Пражский лингвистический кружок. М., 1967, с. 548.

<sup>11</sup> Там же, с. 553.

<sup>12</sup> Проблемы динамики нормы современного болгарского литературного языка на основании данных болгарских лингвистов подробно разработаны нами в студии: Демина Е. И. Проблема языкового строительства в социалистической Болгарии // Функционирование славянских литературных языков в социалистическом обществе. М., 1988, с. 118–172. Здесь и библиография. Ср. также: Она же. К вопросу о современной литературно-языковой ситуации в Болгарии // Проблемы развития и функционирования современных славянских литературных языков. М., 1993, с. 7–21.

<sup>13</sup> Демина Е. И. Проблемы языкового строительства..., с. 154–155.

<sup>14</sup> Виденов М. За някои страни на столичната езикова действителност // Изследвания върху историята и диалектите на българския език. София, 1979, с. 88–93.

<sup>15</sup> См. подробно об этом: Демина Е. И. Проблемы языкового строительства..., с. 136–147.

<sup>16</sup> О выдвигаемом нами понятии “исторический тип литературного языка” см.: Демина Е. И. К теории сравнительно-типологического изучения славянских литературных языков // Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1978, с. 134–144.

<sup>17</sup> Демина Е. И. Традиция и новые тенденции развития славянских литературных языков в преднациональный период // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1993, с. 121–136.

<sup>18</sup> Щерба Л. В. О тройком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность..., с. 35.

<sup>19</sup> Живов В. М. Гуманистическая тенденция в развитии грамматического подхода к славянским литературным языкам в XV–XVII вв. // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Доклады российской делегации..., с. 106–121.

<sup>20</sup> Трубецкой Н. С. Общеславянский элемент в русской культуре // Трубецкой Н. С. К проблеме русского самопознания, 1927, с. 58.

<sup>21</sup> См. подробно: Демина Е. И. Проблема нормы в формировании книжного болгарского языка XVII в. на народной основе // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1973, с. 118–141.

<sup>22</sup> Ср., например, предложенную нами периодизацию истории болгарского литературного языка: Демина Е. И. “Начало” современного болгарского литературного языка в свете общей периодизации истории литературного языка в Болгарии // “Вопросы языкознания”, 1969, № 6, с. 83–91. Ср. также: Она же. Проблема предыстории современного болгарского литературного языка // Kształtowanie się nowobułgarskiego języka literackiego. Wrocław, 1990, s. 31–51.

<sup>23</sup> Опыт типологического сопоставления динамики славянских литературных языков в преднациональный период в аспекте тенденции к демократизации языка письменности см.: Демина Е. И. Традиция и новые тенденции развития славянских литературных языков в преднациональный период...

<sup>24</sup> Толстой Н. И. Конкуренция и сосуществование норм в литературном языке сербов // Толстой Н. И. История и структура славянских литературных языков. М., 1988, с. 187.

<sup>25</sup> Смирнов Л. Н. Литературный словацкий язык эпохи национального Возрождения: теоретические проблемы становления и развития // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Доклады российской делегации..., с. 137–143.

<sup>26</sup> См., например: Венедиктов Г. К. Из истории современного болгарского литературного языка. София, 1981.

## *Глава 2*

### **О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ПЕРВОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА СЛАВЯН В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДРЕВНЕБОЛГАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (на материале отадъективных наречий)**

Первый письменный язык славян является предметом особого интереса отечественных и зарубежных славистов уже почти два века. За это время в научной литературе, наряду с крупными достижениями, накопилось достаточно много противоречивых, а иногда и взаимоисключающих друг друга концепций и положений, освещенных, однако, авторитетами и традицией и, вследствие этого, принимаемых многими за аксиоматичные. Больше того, само название первого письменного языка славян составляет научную проблему, для его обозначения существует целый ряд терминов, причем в один и тот же термин разными учеными вкладывается различное содержание<sup>1</sup>. В своем подходе к первому письменному языку славян мы исходим из положения, сформулированного акад. Н. И. Толстым, об едином древнеславянском языке как общем литературном языке славян, ранний этап которого (IX–X вв., отчасти XI в.) целесообразно называть старославянским языком<sup>2</sup>. В настоящей работе старославянский язык изучается именно в качестве *литературного языка*, в частности предпринимается попытка выявления некоторых тенденций его развития в лексическом и словообразовательном аспектах.

Как известно, существует довольно давняя традиция рассматривать термины “старославянский язык” и “древнеболгарский язык” как синонимичные<sup>3</sup>. Однако, если говорить о понятиях, которые стоят за этими терминами, сопоставлять можно только понятия *старославянский язык* (литературный язык славян) и *древнеболгарский литературный язык*, так как язык, о котором далее пойдет речь, в ранней средневековой Болгарии выполнял функции литературного языка. Нельзя согласиться с мнением некоторых ученых (чаще болгарских), которые под термином

“старославянский (старобългарски) язык” понимают болгарский язык определенной эпохи (IX–XI вв.) в его “письменной” и “разговорной” формах<sup>4</sup>. Как известно, начало старославянскому языку было положено появлением первых переводов на славянский язык Св. Писания, сделанных свв. Кириллом и Мефодием в Византии, до их приезда в 863 г. в славянские земли<sup>5</sup>. И хотя к настоящему времени достаточно хорошо обосновано положение, что диалектной основой старославянского языка при его возникновении служили солунские говоры, а в процессе его развития было велико влияние и других болгарских говоров – особенно района Преслава, Плиски, Охрида и других культурных (литературных) очагов<sup>6</sup>, между старославянским языком как языком литературным и народной основой этого языка следует проводить четкое различие (которое, отчасти, будет показано и разбираемым ниже материалом).

До сих пор основная масса исследований лексики и словообразования старославянского языка так или иначе “катится по наезженной колее” выявления текстологических дублетов, проложенной славистами в конце прошлого – начале нынешнего века (особенно велика в этом роль И. В. Ягича и его знаменитой работы “Zum Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache”). При этом преследуются две основные цели, намеченные еще Ягичем<sup>7</sup>: выявление региональной лексики (так называемые “охридизмы” и “преславизмы”, точнее – “преславизмы” и “непреславизмы”) – направление, активизировшееся в последние десятилетия в связи с идеей восстановления “преславской” редакции богослужебных книг (особенно болгарскими учеными – И. Добревым, И. Каракоровой, Т. Славовой, П. Пеневым и др.), и исследование явления лексического варьирования (особенно в работах Е. М. Верещагина). Однако для изучения процесса развития литературного языка не менее важным, чем поиск текстологических дублетов в целях выявления факторов, связанных с употреблением региональной лексики, является отделение от слоя обиходно-разговорной лексики, взятой из народной основы этого языка (вне зависимости от ее возможной принадлежности к разным диалектам), слоя собственно книжной лексики и изучение изменений именно в этом слое. Творчество древних книжников в сфере языка характеризовалось не только включением слов местного ареала, но и активным словотворчеством, созданием слов на базе славянских морфем по наиболее

продуктивным моделям, поморфемным калькированием и т. п., в результате чего возникали сугубо книжные лексемы, вряд ли возможные в обыденной речи. В последние годы Е. М. Верещагиным проведена серия исследований по изучению книжной лексики первого литературного языка славян, особенно сферы терминологической лексики<sup>8</sup>. Мы полагаем, что следует обратить внимание и на пласт лексики, используемой в качестве определений разного рода, так как изменения в нем прежде всего свидетельствуют о развитии выразительных возможностей литературного языка. Еще Б. Бернстайном (на материале английского языка) было показано, что использование необщепотребительных прилагательных и наречий является одним из основных показателей, дифференцирующих язык разработанный, интеллектуальный (*elaborated code*) от языка обыденного, упрощенного (*restricted code*)<sup>9</sup>. В случае со старославянским языком, в условиях, когда “*restricted code*” должен был буквально в процессе перевода греческих текстов превращаться в “*elaborated code*”, анализ изменений в этом лексическом слое должен во многом прояснить механизм становления и развития первого славянского литературного языка. В настоящей работе излагаются наблюдения над употреблением в рукописях отадъективных наречий, образованных по определенным словообразовательным моделям – адвербализации форм ср. р., моделям с суффиксом *-ѣ* и с суффиксом *-ы* – и соответствующих, как правило, наречиям на *-ѡς* греческих оригиналов.

Попытки изучать старославянский язык в качестве литературного языка являются сравнительно новым направлением в палеославистике. Тем не менее, определение “литературного” статуса этого языка находится в русле русской филологической традиции. Так, в 1891 г. А. И. Соболевский, относившийся к терминам “церковнославянский язык” и “старославянский язык” как к синонимам<sup>10</sup>, писал: “церковно-славянский язык в своем основании есть не что иное, как солунский говор древнего болгарского языка...” И далее: “церковно-славянский язык кирилло-мефодиевского перевода, сделавшийся после кончины первоучителей литературным языком в Болгарии, с самого начала своего литературного употребления был до известной степени отличен от живого болгарского языка и заключал в себе не весь грамматический (и, конечно, не весь словарный) материал, который находился в этом последнем”<sup>11</sup>.

Позднее определение старославянского языка как литературного было дано в “Тезисах” Пражского лингвистического кружка и поддержано затем рядом ученых<sup>12</sup>. “Старославянский язык с самого начала не был предназначен для использования его в качестве локального языка; он широко опирался на традиции литературного греческого языка и, как и последний, со временем принял на себя роль славянского *койнэ*. В таком языке можно а priori предположить наличие искусственных образований, заимствований, а также смешения самых различных по происхождению элементов. Можно полагать поэтому, что старославянский язык подчиняется законам развития, свойственным всем литературным языкам”<sup>13</sup>. В наше время на необходимости исследования старославянского в качестве литературного языка, с точки зрения “внутреннего рассмотрения” его как “структурного целого”, настаивает акад. Н. И. Толстой<sup>14</sup>.

Возникает вопрос: имеем ли мы право изучать старославянский язык как “литературный язык” в современном понимании этого термина – в отсутствие грамматик и словарей, в котором были бы закреплены его нормы. В дефиниции, данной в тезисах Пражского лингвистического кружка, справедливо делается акцент на *предназначении* старославянского языка быть литературным языком, его *функции*, его *роли*, а не на таких его признаках, как нормированность и кодифицированность (которые, согласно господствующим в настоящее время в науке представлениям, являются главными признаками литературного языка, отличающими его от нелитературного). Анализируя тенденции развития некоторых звеньев лексической и словообразовательной системы этого языка, мы будем исходить из посылки, что проявления нормирования и кодификации были свойственны и старославянскому языку, однако принимали особую форму. Как известно, старославянский язык возник и существовал в специфических условиях средневековья: чрезвычайно узкий круг древних книжников – не просто носителей литературного языка, но часто и его созидателей – стремился возможно более успешно донести с помощью нового литературного языка содержание Св. Писания и другой переводимой греческой литературы до гораздо более широкого круга “пассивных потребителей” – которым создаваемый язык был понятен, но которые активно им не пользовались. Нормированность старославянского языка проявлялась, как и в любых литературных

языках (как древних, так и современных), “равнением на авторитеты”. Однако, в отличие от ситуации с современными литературными языками, где равнение на авторитеты происходит опосредованно через составителей словарей и грамматик, языковая ситуация того времени и специфика “социальной базы” древнего литературного языка позволяли только непосредственное обращение древних книжников к авторитетам – или через институт учительства, или в виде подражания письменным образцам. Таким образом, нормирование языка существовало скорее как стремление к норме и допускало более свободы для ее развития, чем это предполагается понятием нормирования в современных литературных языках. Палеослависты уже отмечали эти особенности механизма нормирования языка в условиях средневековья. “Основият начин на кодифициране – пишет Е. Дограмаджиева – е следването на авторитетни писмени образци. А той предполага известна свобода в проявите. По този начин нормата съществува като тенденция, като различна степен на приближване до идеалния образец”<sup>15</sup>. Проявления нормы старославянского языка как языка литературного могут рассматриваться только с учетом специфики условий его существования, условий, отличающихся от условий существования современных литературных языков.

Проблема нормы лексической в старославянском языке оказалась к настоящему времени достаточно запутанной<sup>16</sup>. Различия в нормах словоупотребления, наблюдаемые даже в пределах круга так называемых “классических” старославянских (=древнеболгарских) рукописей X–XI вв., очевидны, но объясняются разными учеными по-разному. Р. М. Цейтлин в свое время даже высказывала мысли вообще об отсутствии лексической нормы в старославянском языке: “В СЯ (т. е. в старославянском языке – В.Е.) не было единой лексической нормы, если под нормой понимать совокупность словарных особенностей, характеризующей данный язык”, и далее: “То, что лексическая норма в СЯ находится в становлении, проявляется и в употреблении множества слов-вариантов с продуктивными суффиксами”<sup>17</sup>. В настоящее время наиболее распространено представление, что свои собственные литературно-языковые нормы были присущи письменным школам (для эпохи старославянского языка имеются в виду Кирилло-Мефодиевская, Охридская и Преславская)<sup>18</sup>. Вместе с тем большинство палеославистов сходится во мнении, что язык, которым пользовались

древнеболгарские книжники в разных письменных центрах, был единственным, причем тем самым языком, на котором были сделаны первые переводы Библии свв. солунскими братьями. Этого не отрицают и ученые, считающие, что письменным школам были присущи свои собственные нормы: “От метологическа гледна точка, – пишет Д. Иванова-Мирчева, – крайно важно е да се знае, че книжовноезиковите норми, съществували в различните школи (Кирило-Методиевата, Плисковско-Преславската и Охридската, а по-късно и Търновско-Атонската), не са резултат на “различни книжовни езици”. Става дума просто за предпочтение в употребата на определени езиково-стилни средства в рамките на единния български книжовен език, който се е изменял непрекъснато, направляван от процесите в говоримия български език”<sup>19</sup>.

Надо полагать, концепция, приписывающая свои собственные литературно-языковые нормы письменным школам в эпоху старославянского языка, видимо, недооценивает возможности имманентного развития старославянского языка в качестве литературного, сосредоточивая все внимание на влиянии на него локальных (диалектных) манифестаций народно-разговорного языка. Если старославянский язык являлся единой языковой системой, с точки зрения точности терминологии было бы неверно говорить о существовании нескольких литературно-языковых норм в пределах одной системы. Нет, кажется, оснований говорить о различных лексических нормах, якобы характеризовавших в эпоху старославянского языка разные письменные центры, и *по существу*, ибо это неизбежно приводит к противоречию в рассуждениях исследователей, принимающих вышеуказанную концепцию: “Събраните евангелски разночетения изключват всякакво противопоставяне между езика на Преславската и Охридска книжовна школа”, – пишет Т. Славова. И далее: “В никакъв случай не може да се говори за антитеза в езиковата практика на дейците от Преславското и Охридското средище, тъй като лексикалните норми на преславската школа не изключват лексикалните норми на Охридската школа, а съществуват успоредно с тях”<sup>20</sup>. Более того, в лексикологических исследованиях последних десятилетий накопились факты, свидетельствующие, что сдвиги в лексической норме в старославянском языке нельзя связывать только с деятельностью разных письменных школ. Еще в 60-х годах И. Гъльбов, исследуя лексику Клиmenta

Охридского, пришел к выводу, что противопоставление Охридской и Преславской школы в отношении лексики (а это – один из основных “китов” палеославистики до того времени) неправомерно<sup>21</sup>. Р. М. Цейтлин в своем известном труде по старославянской лексике в результате анализа лексического материала разделила отобранные ею 17 рукописей, как она пишет, “по нормам словоупотребления”, на две группы. Важно при этом, что разделение было проведено не по принципу отнесения к Охридскому либо Преславскому центрам, а по признакам, характеризующим развитие лексики старославянского языка вне зависимости от какой-либо школы: автор отмечает наличие мотивированных существительных, продуктивных моделей словообразования, калек греческих композит и т. д. В центре второй группы оказываются как Супрасльская рукопись (произведения сборника переведены или отредактированы в рамках Преславского центра), так и Синайский евхологий (содержащий тексты моравского происхождения)<sup>22</sup>.

Очевидно, что языковые явления, по разным поводам и в разное время обращавшие на себя внимание исследователей и связанные с функционированием лексической (и, добавим, словообразательной) нормы в старославянском языке, требуют нового подхода в их осмыслении. Необходимо разобраться, идет ли в данном случае речь о норме и ее динамике в рамках конкретной языковой системы как единого целого, или следует говорить о “динамике нормативного процесса, в ходе которого идет смена литературно-языковых идиомов, каждый из которых обладает своей нормой”, т. е. о “внешней”, “надлитературно-идиомной” динамике нормы<sup>23</sup>. Нами была предпринята попытка исследования в этом направлении на относительно небольшом, но “показательном” материале анализа употребления отадъективных наречий в определенном круге рукописей. При этом мы попробовали применить концепцию динамики нормы, разработанную Е. И. Деминой (см. ее статью в настоящем сборнике), рассматривая различные изменения и инновации в сфере лексики и словообразования под следующим углом зрения: являются ли эти изменения процессами, происходящими внутри одной языковой системы – старославянского языка, или они выходят за рамки единого структурного целого.

Выбор источников материала для исследований подобного рода в старославянском языке представляет собой чрезвычайно важную,

сложную, спорную и требующую решения проблему. В последние десятилетия в палеославистике утвердилось положение, что старославянский язык в своем “чистом” виде представлен в классических древнеболгарских рукописях X–XI вв. На первый взгляд кажется, что наиболее безопасным для исследователя (особенно приверженного идеи “синхронного” описания языка), было бы ограничить материал для изучения лексики и словообразования старославянского языка кругом этих рукописей X–XI вв.<sup>24</sup>. Однако и самые последовательные приверженцы такого подхода не могут отрицать, что в них зафиксирован лишь фрагмент существовавшей в то время языковой системы. “В СЯ (старославянском языке – *B.E.*) было слов во много раз больше, чем их зафиксировано в СП (старославянских памятниках – *B.E.*)”, – пишет Р. М. Цейтлин<sup>25</sup>. Поэтому при таком подходе исследование лексики или словообразования сводится к исследованию не столько лексики или словообразования *старославянского языка*, сколько к исследованию корпуса лексики случайно сохранившихся от X–XI вв. древнеболгарских рукописей. Рассматривая старославянский язык (=древнеболгарский литературный язык) в качестве раннего этапа единого древнеславянского литературного языка, нельзя не учитывать, что основная масса произведений древнеболгарских писателей дошла до нас в более поздних списках: древнейший список “Шестоднева” Иоанна Экзарха Болгарского – 1263 г. сербского извода, его же “Богословия” – XII/XIII вв. русского извода, “Учительного евангелия” Константина Преславского – XII в. русского извода (Синодальный список), “Беседы против богомилов” Козьмы Пресвитера – 1494 г. русского извода (так называемый Волоколамский список) и т. п. На практике исследователи просто обходят рассматриваемую проблему стороной и изучают “язык Иоанна Экзарха”, “язык Козьмы Пресвитера” по наиболее ранним спискам произведений Иоанна Экзарха, Козьмы Пресвитера и т. д., пренебрегая возможным искажением картины из-за инноваций, внесенных при переписывании писцами, и относят, как правило, языки изучаемых списков к старославянскому (или “староболгарскому”) языку<sup>26</sup>.

Вопрос о создании методики восстановления незафиксированной в древнеболгарских рукописях X–XI вв. старославянской лексики

был в центре внимания Р. М. Цейтлин еще в 70-х годах. Однако стремление в исследовании к чистой синхронии ориентировало автора на поиски доказательств внутри лексического материала древнеболгарских рукописей X–XI вв. “Возможность их (восстанавливаемых лексем – *B.E.*) употребления в СЯ (старославянском языке – *B.E.*), – писала Р. М. Цейтлин, – доказывается материалами СП (старославянских памятников – *B.E.*) – наличием однокоренных слов с общим семантическим знаменателем, с одной стороны, и данной модели образования слова, – с другой”<sup>27</sup>. В своей более поздней статье Р. М. Цейтлин хотя и упоминает, что “косвените източници (всичките езикови и културно-исторически данни) не са отразени непосредствено в езика на СтбР [староболгарские=древнеболгарские рукописи X–XI вв. – *B.E.*] в много случаи, подкрепяйки данните от СтбР, значительно увеличават степента на сигурност на възстановяването”, все же опять речь идет о методике восстановления на материале самих древнеболгарских рукописей X–XI вв. По мнению Р. М. Цейтлин, восстановление лексемы требует, чтобы она присутствовала в словарном корпусе “СтбР” в “связанном” виде, т. е. в “левом” ряду в парах “мотивирующее – мотивированное”, в то время как “правый” ряд не может дать достаточно надежных результатов<sup>28</sup>. На наш взгляд, однако, такое жесткое ограничение непосредственных источников материала (отсечение более поздних списков как “ненадежных” источников) в методике восстановления незафиксированных в древнеболгарских рукописях X–XI вв. старославянских лексем, на первый взгляд обеспечивающее, казалось бы, надежность выводов, может, наоборот, привести к ошибкам. Бряд ли, например, можно согласиться с Р. М. Цейтлин, что факта употребления в древнеболгарских рукописях X–XI вв. лексем **нравъ**, **зълонравънъ** и **подобонравънъ** достаточно для восстановления прилагательного **нравънъ**<sup>29</sup>, так как **зълонравънъ** и **подобонравънъ** могли быть образованы способом не чистого сложения, а сложением с суффиксацией. Более существенно в данном случае, что прил. **нравънъ** (**нравыны кржгъ**) встречается в Словах Григория Назианзина – русском списке XI в. с древнеболгарского оригинала (о чем Р. М. Цейтлин не упоминает), однако значение данного прилагательного в русском списке – ‘добродетельный’ – не вписывается в предполагаемые словообразовательные отношения мотивации:

\***нравынъ** ---> **зълонравынъ** 'дурного нрава, безнравственный',  
**правынъ** ---> **подобонравынъ** 'подобного образа жизни'.

В настоящее время в палеославистике все более ощущается потребность в создании методик использования данных более поздних рукописей для решения целого ряда проблем, связанных с деятельностью свв. Кирилла и Мефодия и их учеников, в том числе и проблемы "синхронного" изучения старославянского языка. "Дошло е време да се потърсят пътищата, - пишет Д. Иванова-Мирчева, - по които палеославистика ще се отърси от една изкуствено създадена бариера, коята се е наложила - противно на логиката - да не се използват късните паметници като източници за попълването на системата на старобългарския език"<sup>30</sup>. Особенно неправомерным было бы упускать возможности использования данных более поздних списков для изучения *лексической* и *словообразовательной* систем старославянского языка. "Как известно, - писал еще в 1900 г. А. И. Соболевский, - фонетические особенности с чрезвычайной быстротою и легкостью изменялись древними переписчиками... Ту же судьбу... имели и особенности морфологические. Материал, которому мы придаем значение, - словарь... За редкими исключениями, словарь списка совсем или почти совсем не отличается от словаря оригинала"<sup>31</sup>. К подобным заключениям приходит и современная исследовательница А. Минчева: "При това, подведені от явните изменения във фонетиката и правописа, от навлизането в преписите на някои по-нови морфологични явления, изследвачите се относят с недоверие към цялата езикова структура на запазения текст, без обърнат внимание, че в лексикално и синтактично отношение тя е по принцип устойчива и възпроизвежда облика на първоначалния превод, респективно на оригиналното старобългарско съчинение"<sup>32</sup>.

В начале 80-х годов Р. Павловой была предпринята попытка предложить методику использования древнерусских списков XI в. с утраченных древнеболгарских оригиналов для изучения лексики и словообразования старославянского (=древнеболгарского литературного) языка. Согласно этой методике, пласт древнеболгарской лексики в русских списках предлагается определять по четырем критериям: 1) выделение слов, однокоренных со словами, зафиксированными в древнеболгарских рукописях, с общим семантическим знаменателем, 2) выделение слов, принадлежащих к словообразовательным моделям, отмеченным в древнеболгарском

языке, 3) критерий сопоставления с лексикой среднеболгарских памятников и 4) учет данных современных диалектов, топонимики, фольклора, современных литературных языков<sup>33</sup>. Наиболее ценным в этой методике, на наш взгляд, является идея необходимости сопоставительных исследований – чисто лингвистических и текстолого-языковых. Эта идея просматривается в “третьем критерии”, но даже и “первый критерий”, приведенный со ссылкой на упоминавшуюся работу Р. М. Цейтлин 1977 г., принципиально отличается от предложенного Р. М. Цейтлин тем, что предполагается исследовать слова, реально зафиксированные древнерусскими рукописями XI в.

Постановка старославянского языка в перспективу единого древнеславянского литературного языка меняет угол зрения и на языковой материал “классических” старославянских, т. е. древнеболгарских, рукописей X–XI вв. Поставив перед собой задачу проследить тенденции развития выразительных возможностей литературного языка с момента его возникновения (т. е. с появления первых переводов, сделанных свв. Кириллом и Мефодием), необходимо иметь в виду, что все известные древнеболгарские рукописи X–XI вв. представляют собой списки, отстоящие по времени написания чаще всего на столетие и более от своего протографа (перевода) и содержат большее или меньшее количество сознательных редакционных правок (в том числе и чисто языковых правок) и спонтанных языковых изменений. Показательно, что в последнее время все больше появляется исследований, имеющих целью вскрыть “многослойность” лексического состава (с точки зрения его принадлежности к первоначальному переводу или результатам последующего редактирования) древнеболгарских рукописей<sup>34</sup>. Таким образом, соглашаясь с мнением акад. Н. И. Толстого, что “...в принципе, язык памятника следует стратиграфировать в соответствии с временем копирования, а не написания или перевода”<sup>35</sup>, приходится учитывать, что палеославист имеет дело со списками, в которых стадия развития языка, на котором был написан протограф (имеется в виду уровень развития его выразительных средств, а не фонетические или орфографические особенности), может быть отражена гораздо лучше, чем стадия развития языка, которой владел древний книжник – создатель данного списка, и это ставит на повестку дня вопрос об изучении материала не только более поздних, но и “классических” рукописей

Х–XI вв. не как данных “синхронного среза”, но и методами диахронического исследования<sup>36</sup>.

Не отрицая ценности данных древнеболгарских рукописей Х–XI вв. как данных наиболее надежных источников, мы полагаем, что при изучении процесса накопления выразительных возможностей первого литературного языка славян следует каким-то образом включать в анализ и лексический материал произведений древнеболгарских писателей, не сохранившихся в собственно древнеболгарских списках и не включаемый в наше время в “старославянский канон”. Пытаясь восстановить лексическую и словообразовательную системы старославянского языка (а при этом нельзя забывать и о процессе их интенсивного развития на протяжении IX–начала XI вв.), мы можем говорить лишь о *большой или меньшей степени вероятности* наличия в ней тех или иных звеньев. Использование двух первых критериев, указанных Р. Павловой (выделение слов, однокоренных со словами, зафиксированными в древнеболгарских рукописях, с общим семантическим знаменателем и выделение слов, принадлежащих к словообразовательным моделям, отмеченным в старославянском языке, см. выше), представляется необходимым, но оно должно быть дополнено сопоставительными исследованиями лексического материала возможно более широкого круга списков, восходящих к древнеболгарским оригиналам. Доказательства, повышающие степень надежности восстановления лексем как незафиксированных в древнеболгарских рукописях Х–XI вв. звеньев лексической системы старославянского языка или определения изменения продуктивности словообразовательной модели, могут быть добыты в результате сопоставительного текстологического и лексикологического изучения огромного и почти не исследованного рукописного наследия. *Наличие лексемы в разных местах более поздних списков разных произведений и, особенно, списков разных (русского, сербского, среднеболгарского) изводов уменьшает возможность рассматривать ее как внесенную в процессе движения текста по спискам и указывает на большую вероятность принадлежности ее к словарному корпусу старославянского языка.* Поставив перед собой пока относительно “скромную” цель: проследить изменения в употреблении в рукописях отадъективных наречий, т. е. лексем, образованных по определенным словообразовательным моделям – адввербализации форм ср. р., моделям с суффиксом *-ѣ* и с

суффиксом **-ы**, мы опирались прежде всего на материал собственно древнеболгарских рукописей X–XI вв.<sup>37</sup>, но использовали также и лексический материал рукописей сербского, русского и болгарского изводов – Шестоднева и Богословия Иоанна Экзарха, Учительного евангелия и Службы Мефодию Константина Преславского, Изборника 1073 г., Изборника 1076 г., Беседы против богомилов Козьмы Пресвитера, гомилии Епифания Кипрского и Мучения 40 мучеников в списке Германова сборника 1359 г., ряда древнейших списков Апостола<sup>38</sup>.

Минимальное количество отадъективных наречий находим в языке древнейших славянских Евангелий и Псалтыри. Как известно, старославянский евангельский и псалтырный текст хорошо представлен рукописями, входящими в круг “классических”. По данным древнеболгарских рукописей X–XI вв. – Зографского, Мариинского, Ассеманиева кодексов, Саввиной книги и Синайской Псалтыри – для языка Евангелий и Псалтыри было характерно употребление высокочастотных (по меркам старославянского языка) наречий с морфологической структурой, говорящей о древности этих образований. Большинство встречающихся в этих рукописях отадъективных наречий представляют собой адвербиализованные формы ср. р. ед. ч. непроизводных прилагательных или прилагательных с суффиксами, утратившими к IX–XI вв. свое словообразовательное значение. Это так называемые наречия на **-о** и на **-е**: **благо**, **добро**, **зъло**, **зѣло**, **лихо**, **мало**, **мъного**, **право**, **прісно**, **равъно**, **рано**, **скоро**, **чисто**, **часто**, **иѣдро**, **горъко**, **тѫжъко**, **свѣтъло**, **болѣк**, **вѣши**, **влѣче**, **горѣк**, **далѣче**, **лини**, **древлѣк**, **лоѹче**, **мънк**, **соѹк**, **тоѹк**, **օѹк**. Например: **рече рабоу своемоу . изиди иѣдро на распѣтии . стѣгны града** Л 14,21 **Мар**, **скоро** в Ас и Сав, в греческом оригинале – **ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ρύμας τῆς πόλεως**. Несколько наречий с суффиксом **-ѣ** соотносятся с безаффиксными прилагательными, либо восходят к именным основам только с этимологической точки зрения: **льзѣ**, **годѣ**, **поздѣ**, **трѣбѣ**, **добрѣ**, **зълѣ**, **лютѣ**, **мѣдрѣ**, **правѣ** (причем **льзѣ**, **годѣ**, **поздѣ**, **трѣбѣ** употребляются предикативно, например: **Въсъхвалж імѧ ба моего съ пѣснїк . възвеліч і въ хвалены . і годѣ бѫдетъ бѹ** паче тѣльца юна. Ps 68,32 Син, в греческом: ...**καὶ ἀρέσει** **τῷ θεῷ ὑπὲρ μόσχου νέον**). Очевидно, что такие формы, как **добро**, **добрѣ**, **зъло**, **зълѣ**, **лихо**, **право**, **правѣ** и др., объем основы которых не превышает объема индоевропейской основы, являются весьма

древними образованиями. Это говорит о том, что они не были созданы в процессе перевода греческих текстов, а взяты из народного разговорного языка.

Гораздо реже встречаются в евангельских кодексах и Псалтыри наречия, образованные от аффиксальных прилагательных. Еще меньше среди них наречий, которые можно было бы отнести к слою книжной лексики. В апракосных евангельских чтениях в соответствии с греческими наречиями на *-ως* нами отмечено всего четыре наречия, образованных от прилагательных с суффиксом *-ύν-*. Это так называемые наречия на *-ο*, все они употреблены только в одном чтении: **блаждъно** ‘беспутно’ в Л 15,13 в соответствии с *ἀσώτως*, **извѣстъно** ‘точно’ в Мф 2,8 в соответствии с *ἀκριβῶς*, **съмъсльно** ‘разумно’ в Мк 12,34 в соответствии с *νοοῦνεχῶς*, **тъщъно** ‘усердно, настойчиво’ в Л 7,9 в соответствии с *σπουδαίως*. Два наречия появляются в чтениях тетров: **прилежъно** ‘настойчиво’ в Л 15,8 в соответствии с *ἐπιμελῶς* и в Л 23,10 в соответствии с *εὐτόνως* и **съхранъно** ‘безопасно, надежно’ в соответствии с *ἀσφαλῶς*. В Синайской псалтыри встречаются также **дивъно** в соответствии с *θαυμαστῶς* (Ps 44,5; Ps 75,5), **миръно** в соответствии с *εἰρηνικῶς* (Ps 34,20), **разоумъно** в соответствии с *συνετῶς* (Ps 46,8). Как видно из приведенных греческих соответствий, эти наречия не являлись прямыми поморфемными кальками греческих лексем (за исключением, может быть, **при-лежъно** – *ἐπι-μελῶς* и **раз-оумъно** – *συν-ετῶς*). Ср.: **блаждъно** – *ἀ-σώτως*, **извѣстъно** – *ἀκρ-ιβῶς*, **съмъсльно** – *νοοῦ-εχῶς*, **съхранъно** – *ἀ-σφа-λῶς*. Хотя нельзя исключить возможность, что все эти наречия были созданы “по потребности” в процессе перевода греческого текста по известной славянскому народному разговорному языку модели (адвербилизация форм ср. р. ед. ч. прилагательных, но без прямого калькирования), “степень укоренения” их в языке оказалась различной: не все они одинаково часто встречаются в других рукописях и в других контекстах. Так, стало широко употребляться наречие **прилежъно** – находим его и в собственно древнеболгарских рукописях X–XI вв., и в списках с древнеболгарских оригиналами: три раза оно встречается в Синайском евхологии (68а 9; 82б 18 и 88а 24), четыре раза в Супрасльской рукописи (109,11; 530,23; 527,16; 538,12), Енинском апостоле (366 11), Рыльских листках

(IV<sup>1</sup> 4), в Учительном евангелии Константина Преславского (с. 189, с. 198, с. 229), в Изборнике 1076 г. (229об 4). Наречие **съмъсъльно** находим Синайском евхологии и Учительном евангелии (Евх 23в 8, УчЕ с. 189, 198, 229), **разоумъно** – в Супрасльской рукописи (665,5; 543,18), Изборнике 1073 г. (124г 24), Изборнике 1076 г. (255,4), **тъцъльно** – в Супрасльской рукописи (319,23), **дивъно** – в Клоцовом сборнике и Супрасльской рукописи (Клоц 12а 35, Супр 448,1, в известной гомилии Епифания Кипрского, о которой речь пойдет ниже), **извѣстъно** вне евангельского текста употребляется только предикативно – в Синайском евхологии (95б 4), а вне круга “классических” рукописей – в апостольском чтении Фил 3,1 (очевидно, древнейший вариант, сохранился в Слепч, Шиш; в Мат весье блажненія). Наречия **блаждъно**, **съхрънъно** и **миръно** не встречаются в других контекстах в кругу собственно древнеболгарских рукописей. **Блаждъно** отмечено нами в Учительном евангелии (с. 205) и Службе Мефодию Константина Преславского, но в Службе Мефодию в сочетании с тем же глаголом. Ср.:

Л 15,13: ὁ νεώτερος υἱὸς... διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως.

– **мыни си ... расточи имѣнъе свое живы блаждъно** Зогр, Мар, Ас, Сав;

– **блаждно живъ погуби** шкаанныи СМ, стр. 39.

Наречия **коупъно** ‘вместе’ и **равъно** ‘одинаково’, часто встречающиеся в древних рукописях, в том числе и в евангельских кодексах, хотя и образованы от прилагательных с суффиксом **-ън-**, возможно, не относятся к слою книжной лексики, что отчасти подтверждается и тем, что в евангельских чтениях и Псалтыри они переводят не греческие наречия на **-ως**, а греческие наречия и наречные выражения **ἄما**, **ἐπὶ τὸ αὐτό**, **τὰ ἵσα** и даже префикс **συν-**. Наречия **възможно**, **невъзможно**, **подобно** употребляются в евангельских чтениях достаточно часто, но только предикативно. Эти лексемы также соответствуют не наречиям на **-ως**, а греческим сочетаниям прилагательного со вспомогательным глаголом (**δύνατόν εἶστιν**, **ἀδύνατόν εἶστιν**, **ἀνένδεκτόν εἶστιν**, **πρέπον εἶστιν**) и глаголам **δύнаσθαι**, **ἐνδέχεσθαι**, **δεῖσθαι**.

Из наречий с суффиксом **-ъ** в евангельских чтениях встречается только наречие **малъ**, а также четыре наречия от

прилагательных с суффиксом *-ъск-* со значением отношения к какому-либо народу или языку: **еврѣскты** на месте греч. ἑβραιοῖστι, **грѣчъскты** на месте Ἑλληνοῖστι, **латинъскты** на месте ρωμαϊστὶ, **роумъскты** тоже на месте ρωμαϊστὶ<sup>39</sup>. Например: и εἴς написано еврѣскты грѣчъскты и латинъскты И 19,20 Мар, Зогр, Ас, роумъскты в Сав, в греческом оригинале – καὶ ἦν γεγραμμένον ‘Ἐβραιοῖστι, ‘Ρωμαϊστὶ, ‘Ἑλληνοῖστι.

Для языка древнейших славянских евангельских кодексов и Псалтыри характерна простота стиля. Та же простота стиля присуща, как известно, и их греческим оригиналам. Возможно, что отсутствием необходимости перевода большого числа отадъективных наречий в греческом оригинале объясняется незначительное количество отадъективных наречий в древнейших рукописях Евангелия и Псалтыри и, особенно, минимальное количество наречий, которые можно было бы отнести к слою книжной лексики. В греческом тексте Евангелий мы насчитываем всего 33 наречия на -ως (т. е. наречий, образованных от прилагательных по продуктивной модели). Не всегда и эти наречия (по нашим подсчетам, только 18 из них) передаются в славянском переводе отадъективными наречиями. Так, греч. наречие εὐθέως постоянно передается таким древним и высокочастотным (по меркам старославянского языка) наречием, как **абиκ** (видимо, это наречие представляет собой индоевропейское наследие в праславянском, а затем и в старославянском языке<sup>40</sup>), φανερῶς – наречием **иаѣѣ** (это наречие также, скорее всего, относится к индоевропейскому наследию<sup>41</sup>), ὅποιως – местоименным **такожде**, наречия δυσκόλως, ὄλως передаются архаичными наречиями на -ъ **неѹдовъ** и **отъиждъ**<sup>42</sup> соответственно, наречия δύτως, ὀληθῶς переводятся очень частотным в старославянских текстах наречием **въистинж**, δικαίως – наречием **въправьдј** (ср. в Сборнике Клоца 11а 1 на месте δικαίως – **правъдъно**), τρέως – наречием **въсласть** (ср. в Супрасльской рукописи [30,5; 403,12–13; 320,19] на месте τρέως – **сладъко**), περισσῶς – как наречием **лишє**, так и наречием **излиха**, ὑπερπερισσῶς – наречием **прѣизлиха**, наречие εὔκαιρως передается “описательно”, словосочетанием (видимо, свободным) **въ подобъно врѣма**.

Язык старославянских евангельских и псалтырных текстов мы должны отнести к начальному этапу в создании старославянского

языка. Иногда этот этап называют “византийским”, так как переводы Псалтыри и апракосных чтений Евангелия являются самыми первыми переводами на славянский с греческого языка и были сделаны Кириллом и Мефодием до их отъезда с миссионерскими целями в славянские земли<sup>43</sup>. Как видно из рассмотренного выше материала, этот начальный период старославянского языка характеризовался минимальным употреблением отадъективных наречий книжного характера, из трех словообразовательных моделей старославянских отадъективных наречий – адвербиализации форм ср.р., моделей с суффиксом **-ѣ** и с суффиксом **-ы** – в образовании книжных лексем участвовала только первая из них (образовывались так называемые наречия на **-о** от прилагательных с суффиксом **-ън-**), причем было образовано всего несколько наречий. Основная масса наречий бралась из народного разговорного языка (в данном случае есть основания думать в первую очередь о солунском диалекте, с которым свв. братья были знакомы до их приезда в Моравию).

Следующий этап в развитии старославянского языка связан с деятельностью свв. братьев и их учеников в Моравии и Паннонии. В кругу древнеболгарских рукописей X–XI вв. к протографам этого периода восходят тексты гомилий Клоцова сборника и тексты Синайского евхология<sup>44</sup>. Дальнейшее развитие старославянского языка характеризуется увеличением количества употребляемых отадъективных наречий, относящихся к слову книжной лексики. Очевидно, что поиск новых выразительных средств подталкивался необходимостью перевода более сложных по содержанию и стилю, чем Евангелия и Псалтырь, греческих текстов. Так, возьмем гомилию Епифания Кипрского о сошествии Иисуса Христа во ад. Эта гомилия сохранилась в двух древнеболгарских рукописях – в наиболее архаичном виде в Сборнике Клоца (неполный текст) и со следами относительно небольшой редакционной правки в Супрасльской рукописи (в ней гомилия сохранилась целиком и относится к так называемым “непреславским частям” Супрасльской рукописи). Усилиями Е. Благовой, изучавшей лексические и, особенно, синтаксические особенности гомилий Клоцова сборника, было доказано, что этот текст восходит к протографу моравского периода (и, скорее всего, относится к переводческой деятельности самого Мефодия)<sup>45</sup>. В сравнительно небольшом тексте той части гомилии, которая сохранилась в двух рукописях, находим сразу несколько наречий на

месте наречий на -ως греческого оригинала: **дивъно** (παραδόξως, Клоц 12а 35-36, Супр 448,1), **инодушъно** (προθύμως, Клоц 13б 18, Супр 450,25-26), **вѣръно** (πιστῶς, Клоц 14а 35, Супр 452,19), **вѣтъскы** (μυθικῶς, Клоц 14а 35, Супр 452,18). Из них только **дивъно** известно по Синайской псалтыри (см. выше), остальные наречия в евангельских и псалтырных текстах не встречаются.

Вместе с тем следует отметить относительную умеренность употребления отадъективных наречий книжного характера в переводе моравского периода, которая становится очевидной при сопоставлении его с преславским переводом. В списке Германова сборника 1359 г. сохранился текст этой гомилии, отражающий другой перевод, сделанный в Преславском центре (или следы очень сильной редакторской правки преславских книжников)<sup>46</sup>. При сопоставлении одних и тех же мест гомилии можно видеть, насколько авторы второго перевода стремились к точнейшей передаче отадъективных наречий греческого оригинала путем поморфемного калькирования. Ср.: **пара-дóξως** – **прѣ-славъно** Герм 1736 7, **дивъно** Клоц 12а 35-36, Супр 448,1; **δουλ-о-прѣпѣς** – **раб-о-лѣпъно** Герм 1976 4, **рабъскы** Супр 470,5, в Сборнике Клоца текст не сохранился. В переводе, восходящем к моравскому протографу, отадъективное наречие греческого оригинала может быть передано описательно (другим выражением) или вовсе опущено, тогда как во втором переводе наблюдается стремление к буквальной передаче греческих лексем. Ср., например:

ἢ καὶ τοὺς πόδας νεκροπρεπῶς καταδεσμεῖς

– **Еда и нозѣ мртвлѣпно влажени** Герм 183а 10;

– **или и нозѣ по закону мртвѣныи влажени** Супр 456,30;

или:

τῷ ἀστιγήτῳ αἰνουμένῳ ὑπὸ οὐράνιον στρατιᾶς

– **не млъчно хвалимомъ вѣсѣми нѣ<sup>’</sup>ными воинъствы** Герм 1836 8;

– **прикмыкштоуомоу** присно отъ **небесъскынъ** силь пѣсни Супр 457,14-15;

или:

ποιῶ τὰ **Хероуѣм** ѳеолрепѣ проискунїсаі се

– **творя сѣрафимоу бѣголѣпно покланѣті** с. Герм 1976 5;

– **сътворя херовимъ покланати ти са** Супр 470, 5-6.

Тексты, восходящие к моравскому периоду, отражают возрастание словообразовательной активности модели образования

наречий на **-о**. В сферу действия этой модели все больше вовлекаются в качестве мотивирующих аффиксальные прилагательные, а также и адъективированные причастия и сугубо книжные прилагательные-композиты. В Синайском евхологии (большая часть которого представляет собой списки с моравских протографов) насчитывается более трех десятков наречий на **-о**, образованных от такого рода прилагательных: **благолѣпъно** (56б 18), **благоволѣно** (13б 10), **издрѣдъно** (Треб 3б 7), **крѣпъко** (85б 24; 89б 21), **льгъко** (78б 22), **любъзъно** (17б 21), **мальчъко** (44а 24), **нензглаголанъно** (52а 16), **ненздрѣченъно** (52б 20), **незавидъно** (10б 17), **незамоудъно** (100б 23), **нелъжъно** (65б 11), **непоглоумъно** (80б 12), **неродъно** (91а 17), **неосажденьно** (20а 14; 22а 15), **непрѣстанъно** (68а 1–2; 81а 11; 93а 22–23), **областьно** (82б 6–7), **потгрѣбъно** (7б 12–13), **правовѣръно** (27б 1), **правъдъно** (102а 11), **прѣдоворо** (63а 20), **радостьно** (84б 8), **различъно** (8б 9), **разоумъно** (31а 22), **сильно** (64а 18–19), **спѣшъно** (85б 16; 98а 6), **странъно** (84а 11), **стѣнчъно** (67а 14), **оугодъно** (15б 22; 81а 8), **чѣстьно** (27а 22), **единомѣдръно** (86а 16). В недавно найденной на Синае части Синайского евхология в апостольском тексте встречаются еще три таких наречия: **благовѣръно** (Титу 2,12), **обильно** (Титу 3,6), **цѣломѣдръно** (Титу 2,12). Как правило, эти наречия соответствуют греческим наречиям на **-ѡς** (греческий оригинал подобран не ко всему тексту старославянской рукописи). Многие из них являются гапаксами (т. е. единожды употребленными лексемами) в кругу древнеболгарских рукописей, что является очень важным показателем “книжности” этой лексики, говорит о том, что эти лексемы создавались по продуктивной словообразовательной модели на базе славянских морфем “по потребности”, для перевода соответствующего греческого наречия. Среди них такие наречия, как **благолѣпъно** – калька греч. εὐπραγῶς, **ненздрѣченъно** – калька ἀνεκλαλήτως, **нензглаголанъно** в соответствии с греч. ἀφρήτως, **непоглоумъно** в соответствии с ἀμετεωρίστως, **благоволѣно** в соответствии с εὐαρέστως. Некоторые из этих лексем встречаются в других текстах – и в кругу древнеболгарских рукописей X–XI вв., и вне этого круга, т. е. они закрепились в языке и использовались древнеболгарскими книжниками при переводе других произведений. Так, в различных текстах встречаются наречия **издрѣдъно** (Супр 559,6; Изб 1073 75в 8, 160а 27–28, 204в 29 и др.), **любъзъно** (Супр 547,26; КПр 18,22;

20,8), **чъстъно** (Супр 114,22; КПр 31,12; 22,9), **непрѣстанъно** (Изб 1073 2186 24; Изб 1076 102об,11–12), **различъно** (Супр 193,5; УчЕ с. 231; СМ; Рим 12,6 Слепч, Толк 1220, Мат, Христ, Струм, Карп, Толст), **оутодъно** (Супр 547,18; УчЕ с. 183, с. 199; КПр 48,9). В тексте Памяти Иоанну Пустыннику в ЕНИНском апостоле находим наречие **незамоудъно** (236 10), в Супрасльской рукописи употреблены наречия **правовѣръно** (Супр 538,17), **разоумъно** (Супр 365,5; 543,18), **силъно** (Супр 343,5), в Изборнике 1073 г. встречается наречие **спѣшъно** (185в 28), в Службе Мефодио Константина Преславского находим наречие **ненздречено**, в “Беседе” Козьмы Пресвитера – **овнъно** (29,16). Другие наречия остались гапаксами или малоупотребительными лексемами.

Значительно расширяется сфера референции наречий, образованных по модели с суффиксом **-ы**. Если в евангельском тексте, как отмечалось выше, из наречий этой модели встречаются только наречие **малы**, а с суффиксом **-ъск-** только наречия со значением отношения к какому-либо народу или языку (**еврѣскы**, **грѣчъскы**, **латинъскы**, **роумъскы**), то в текстах, восходящих к моравским протографам, помимо наречия **правы** (употребленного в Сборнике Клоца, 46 24), появляется ряд наречий на **-ъскы**<sup>47</sup>. В Синайском евхологии нами отмечены наречия **ангельскы** (ἀγγελικῶς, 94б 14), **мѣжъскы** (ἀνδρείως, 88а 21), **плѣтьскы** (σωματικῶς, За 13). В упоминавшейся выше гомилии Епифания Кипрского о сошествии Иисуса Христа во ад появляются наречия **вѣтъскы** (μυθікῶς, Клоц 14а 36, Супр 452,18), **владѣчъскы** (δεσπотікѡς, δрапетобоўлѡς, Супр 463,7; 463,11; 465,11), **рабъскы** (δоулоπрѣпѡς, Супр 470,5), **храбръскы** (полемікѡς, Супр 463,11), **цѣсарьскы** (греческий текст не соответствует, Супр 464,24). Эти наречия, как и наречия на **-о**, переводят греческие наречия на **-ѡς**, но отличаются от них типом своей семантики, что объясняется различием в семантике мотивирующих старославянских прилагательных с суффиксами **-ын-** и **-ъск-**<sup>48</sup>. Семантически наречия наречия на **-ъскы** были мотивированы скорее существительными, чем прилагательными, ср.: **ангельскы** ‘как ангелы’, **владѣчъскы** ‘как владыка’, **мѣжъскы** ‘как подобает мужчине, мужественно’, **рабъскы** ‘как раб’, **цѣсарьскы** ‘как цесарь’. Двойная мотивация (прилагательным с суффиксом **-ъск-** и существительным) таких наречий способствовала формированию

комплекса **-ьскы** в качестве единого словообразовательного форманта.

Наречия **владычъскы**, **мѣжъскы**, **пльтьскы** закрепились в языке и использовались древнеболгарскими писателями. Ср.: **владычъскы** – в произведениях Иоанна Экзарха (Шест 248а 6; Неб сні); **мѣжъскы** – в Житии Феодора, Константина и др. (Супр 62,30), в Похвале 40 мученикам (Супр 86,2), в Житии Василия и Капитона Херсонских (Супр 532,30); **пльтьскы** – в Учительном евангелии Константина Преславского (с. 204), в “Богословии” Иоанна Экзарха (Неб 93а; 94а; **ра**; **рай**), в Изборнике 1073 г. (136 6; 157г 10). Наречия **ангельскы**, **вѣтъскы**, **цѣсаарьскы** в рассматриваемом круге рукописей нам не встречались, следовательно, они остались гапаксами или малоупотребительными лексемами.

Таким образом, в моравский период развития старославянского языка книжные лексемы среди отадъективных наречий образовывались по двум моделям: наречия на **-о** (адвербиализация прилагательных ср. р. ед. ч., главным образом, сложной структуры – аффиксальных, композит и адъективированных причастий) и наречия на **-ьскы** (от прилагательных с суффиксом **-ьск-**).

Тенденции расширения выразительных возможностей нового литературного языка за счет образования отадъективных наречий по этим моделям наблюдаются и в деятельности древнеболгарских книжников. В кругу древнеболгарских рукописей X–XI вв. доказательства тому предоставляет анализ языка Супрасльской рукописи, в состав которой входит 48 житий и гомилий. Большая часть этих произведений является либо переводами, сделанными в Преславском центре, либо списками с более ранних протографов, в большей или меньшей степени отредактированными преславскими книжниками<sup>49</sup>. Согласно нашим подсчетам, из 88 наречий **-о**, употребляемых в Супрасльской рукописи, 43 лексемы не встречаются в других древнеболгарских рукописях, причем только восемь из них образованы от непроизводных прилагательных, остальные – от прилагательных сложной структуры (аффиксальных, композит и адъективированных причастий): **безначально** (188,6), **беспльтьно** (330,6), **благовѣменно** (390,14), **благочѣстъно** (324,6), **боголѣпъно** (139,29; 463,10); **богочѣстъно** (314,12), **видимо** (вм. **невидимо**) (25,15), **виинъно** (406,11), **врачѣльно** (314,13), **вѣчно** (55,7), **добельно** (92,1), **извѣсто** (25,28; 242,13; 264,5; 500,21), **лѣпотъно** (54,22),

**лжавыно** (92,23), **мѣслъчно** (431,16), **нелѣпо** (87,2; 333,18), **неподобыно** (126,14), **непрѣмѣньно** (251,22), **опасыно** (356,3; 407,30), **печально** (330,21; 396,24), **пространо** (304,18; 314,18; 424,3), **пророчьско** (403,8), **протаљично** (113,13), **прѣзорыно** (1,13), **прѣмѣдро** (454,4), **разоумнично** (363,14), **разыно** (258,17; 317,10; 376,2; 478,11), **свраѣльно** (350,23), **славыно** (94,25; 538,5), **сладъко** (30,5; 320,19; 351,5; 351,11; 403,12), **съгласыно** (95,13), **таныно** (65,29), **храныно** (498,6), **цѣломѣдрьстъвыно** (478,10), **жродыно** (1,12). Среди них такие явно книжные образования, калькирующие греческие наречия на -ως: **без-началыно** – ἀν-ἀρχως, **вес-пльтино** – ἀ-σωμάτως, **благо-чъстъно** – εὐ-σεβῶς, **бого-лѣпъно** – θεο-πρεπῶς; **бого-чъстъно** – θεο-σεβῶς, **не-видимо** – ἀ-οράτως, **прѣ-зорыно** – ὑπερ-ηφάνως, **цѣломѣдрьстъвъно** – σω-φρόνως. Ряд наречий на -ъскы, отмеченных в Супрасльской рукописи, так же не встречается в других древнеболгарских рукописях. Хотя наречия этого типа гораздо менее многочисленны, они также употребляются в разных произведениях (главах рукописи): **градъскы** – явный неологизм, не имеющий соответствия в греческом оригинале<sup>50</sup> (ср.: и въ мнозѣхъ старѣшиныстѣхъ градъскы лѣпъствовавъшемъ – καὶ ἐν πολλαῖς ἀρχαῖς πολιτικαῖς διαπρεψάντων – Супр 278,22) – отмечен в Житии Иоанна Молчаливого, в гомилии № 28 – **пророчьскы** (Супр 322,2), **вражъскы** и **пъсьскы** – в Житии Анина (Супр 545,2 и Супр 560,7), в Житии Павла и Ульяны – **жродъскы** (Супр 3,19), **выселничъскы** – в гомилии № 42 (Супр 481,20). Наречие **выслачъскы** отмечено нами в трех главах: в Житии Конона и в гомилиях № 21 и № 36 (Супр 51,19; 245,27; 409,24).

Некоторые из перечисленных наречий закрепляются в языке древнеболгарских книжников, входят в его норму. Они встречаются в списках с других произведений древнеболгарских писателей, не сохранившихся в древнеболгарских рукописях X–XI вв. и потому не вошедших в “старославянский канон”. Так, в Изборнике 1073 г. находим наречия **бого-лѣпъно** (149в 25), **извѣсто** (24а 22; 119а 13; 257а 10–11), **непрѣмѣньно** (22а 20), в Изборнике 1076 г. – наречие **пространо** (41об 10–11). В произведениях Иоанна Экзарха встречаются наречия **владѣчъскы** (Шест 248а 6; Неб сні), **пророчьскы** (Неб спа), **пророчьскы** находим также и в Изборнике 1073 г. (149г 29). Наречие **выслачъскы** многократно употребляется как в произведениях Иоанна Экзарха (Шест 128а 18; Неб 20а; 31в; 55в;

70в–71а и др.), так и в Изборнике 1073 г. (22а 2; 52в 5–6; 173а 20). Однако большинство из этих наречий оставались, видимо, гапаксами или малоупотребительными лексемами.

Супрасльская рукопись отличается от других древнеболгарских рукописей X–XI вв. употреблением большого количества отадъективных наречий с суффиксом **-ѣ**, образованных от прилагательных сложной структуры (аффиксальных, композит и адъективированных причастий) – по нашим подсчетам, 45 лексем<sup>51</sup>. Эти наречия встречаются не во всех произведениях (главах) рукописи, а только в 27 из 48, причем их распределение по главам указывает на связь употребления наречий этого типа с переводческой и редакторской деятельностью преславских книжников. Так, более всего таких наречий содержит Житие Анина (глава № 48): **безаконънѣ** (Супр 554,2), **вестоудынѣ** (Супр 554,13), **горыцѣ** (Супр 551,11), **кротъцѣ** (Супр 549,29), **любъзынѣ** (Супр 543,14), **мъноголичынѣ** (Супр 566,29), **неподобынѣ** (Супр 554,3), **объчынѣ** (Супр 558,5), **прѣславынѣ** (Супр 565,11), **самовидынѣ** (Супр 560,5), **съврьшени** (Супр 563,9; 563,18; 567,20). Как известно, Житие Анина давно отмечено исследователями как произведение Супрасльской рукописи, наиболее ярко отражающее другие черты, характерные для языка преславских книжников<sup>52</sup>.

То, что употребление наречий на **-ѣ** связано с деятельностью преславских книжников, подтверждают наблюдения над употреблением отадъективных наречий в “Мучении 40 севастийских мучеников”. Это житие сохранилось как в Супрасльской рукописи, так и в списке Германова сборника 1359 г. По наблюдениям Д. Ивановой-Мирчевой, сопоставившей оба текста, в списке Германова сборника представлен более архаичный вариант текста, тогда как в Супрасльской рукописи текст носит следы работы преславских книжников<sup>53</sup>. В отношении употребления отадъективных наречий мы должны отметить явное предпочтение в Супрасльской рукописи типа наречий на **-ѣ** типу наречий на **-о**. Ср.:

καὶ πάντες οἱ εὐσεβῶς ζῶντες ἐν Χριστῷ – и вси живющіи **благовѣро** ω **χὲ** Герм 143б; и вси **благовѣрынѣ** жившти о **χѣ** Супр 68,26;  
**ζῶντες εὐσεβῶς** – живющи **благовѣро** Герм 144а; **живште благовѣрынѣ** Супр 69,5;

парағүеїләс 'Аұлаңғ тә капыклары **ағсағаләс** тәреїн аұтой – запрѣщъ аглаеви капыклары **хранно стрѣци** ж Герм 146а; запрѣтивъ аглаюи капыклары<sup>54</sup> **твърдѣ блости** ихъ Супр 72,3;

υομίως ἀθλήσατε – законо постражднте Герм 149а; законынѣ постражднте Супр 75,27–28.

В списках Апостола обнаруживаются следы аналогичных замен наречий на -ο наречиями на -ѣ. Текст Апостола (в отличие от текста Евангелия и Псалтыри) известен нам, в основном, по более поздним спискам (начиная с XII в.). Из собственно древнеболгарских списков сохранились только небольшие отрывки в Синайском евхологии (главным образом, в недавно найденной части Синайского евхология, фотографии с которой имеются в издании И. Тарнанидиса<sup>54</sup>) и в Енинском апостоле (рукопись принято считать древнеболгарской несмотря на то, что она датируется рубежом XI/XII вв.). Хотя все известные древнейшие списки Апостола в большей или меньшей степени носят на себе следы редактирования первоначального текста<sup>55</sup>, наиболее ярко результаты редакторской деятельности преславских книжников наблюдаются в Толстовском списке<sup>56</sup>. Чаще всего замены наречий на -ο наречиями на -ѣ встречаются именно в Толстовском списке, иногда – в Слепченском, Матичином, Карпинском, т. е. в таких списках, в которых исследователи отмечали отдельные части текста с характерной для преславских книжников лексикой<sup>57</sup> и которые, следовательно, подверглись влиянию списков преславского редактирования лишь частично. Ср.:

благообразъно в Ен, Охр, Толк, Струм, Карп, Христ – благообразънѣ в Толст (Рим 13,13; в соответствии с εὐσχημόνως);

благообразъно в Слепч, Толк, Карп, Мат – благообразънѣ в Толст, Христ (I Кор 14,40; в соответствии с εὐσχημόνως);

достонно в Евх, Церк, Слепч, Христ, Толк, Струм, Шиш – подобънѣ в Мат, Карп, Толст (Ефес 4,1; в соответствии с ἀξίως);

достонно в Слепч, Карп – достоннѣ в Мат, Христ, Толк, подобънѣ в Толст (Рим 16,2; в соответствии с ἀξίως);

недостонно в Толк, Мат, Христ – недостоннѣ в Слепч, Толст (I Кор 11, 27; в соответствии с ἀναξίως);

недостонно в Толк, Христ – недостоннѣ в Слепч, Мат, Толст (I Кор 11, 29; в соответствии с ἀναξίως);

безвѣстыно в Толк, Мат, Христ – съвѣдомѣ в Толст, Карп (I Кор 9,26; в соответствии с ἀδѣлѡс);

инодоушъно в Охр, Слепч, Карп, ѧдинодоушъно в Мат, Толк – ѧдинодоушънѣ в Толст (Рим 15,6; в соответствии с ὁμοθυμадόν);

оұзъко (въмѣщати сѧ)... оұзъко (въмѣщати сѧ) в Слепч, Толк, Мат, Христ, Шиш – оұзъцѣ (въмѣщати сѧ)... оұзъцѣ (въмѣщати сѧ) в Толст, ш азыцѣ (sic!) в Карп (2 Кор 6,12; в соответствии с стенохореїсѳаи);

многочество и многоразлично в Ен, Охр, Струм, Христ – многочество и многоразличи в Мат (Евр 1,1; в соответствии с полимербѣ каі польтропо).

Вне круга древнеболгарских рукописей X–XI вв. наречиями на -ѣ более всего насыщен язык списков с произведений Иоанна Экзарха Болгарского, причем как сербского, так и русского изводов. Почти все наречия, образованные от прилагательных сложной структуры – аффиксальных, композит, адъективированных причастий – как в “Шестодневе” Иоанна Экзарха (древнейший список 1263 г. сербского извода), так и в его же “Богословии” (древнейший список XII/XIII вв. русского извода) представляют собой наречия этого типа. В “Шестодневе” мы насчитываем 59 таких наречий, некоторые из них употреблены неоднократно: бесчъстънѣ (125d 5), боголѣпынѣ (248d 8–9), вѣдьнѣнѣ (86c 2), вѣсемошынѣ (48d 16–17), гладъцѣ (18b 25; 105c 19; 239d 11), глѣбоцѣ (241b 27–28), довѣльнѣ (87c 7–8; 116a 19–20; 224a 6), достони нѣ (37c 14; 16c 16; 124c 5; 206a 10–11; 206a 13–14; 250c 9), доброобразынѣ (34d 28–35a 1), доброчъстънѣ (259a 26–27), зѣловѣрнѣ (219d 8), зѣломыслынѣ (236c 3), изгрѣженѣ (236a 19), издрѣждынѣ (89a 20–21), искропытынѣ (249c 12–13; 249c 18–19), истиннынѣ (110d 1), ключакмѣ (76c 1–2), красынѣ (237d 9), кривостранынѣ (124a 8–9), кржговынѣ (54b 18), коупынѣ (28d 1; 49a 12; 93b 11; 93b 16), мѣдьнѣ (176d 1), матежынѣ (156a 17), недовѣдимѣ (53a 15–16; 54c 28–54d 1), недовѣдомѣ (55a 28; 259d 3), недомыслимѣ (48c 25), неподобынѣ (8d 12; 216a 9), несъмѣслынѣ (18c 24–25; 226b 1), отължченѣ (77c 14; 8d 15), отължчынѣ (141b 13), подобынѣ (238a 1; 241c 1; 81c 20; 17d 14; 35c 19), принчтынѣ (238c 2), прѣклоненѣ (240b 25–26), прѣмѣдрѣ (6a 20–21; 76c 3; 188a 8–9; 214c 22–23; 48d 16), поустошынѣ (236a 11–12), равынѣ (65b 8–9; 83b 16; 83b 27–28; 117b 6; 153a 20), различынѣ (224c 7), разлжчынѣ (141b 14), разоумынѣ (56c 25; 112d 4; 168d 14), самовластьнѣ (236c 17–18), самоѹмѹслынѣ (236c 17–18), свѣтъльѣ (219c 7), славынѣ (7d 19), сладъцѣ (160c 6; 177b 27), сложынѣ (28a 28), строни нѣ (239d 12; 49a 9–10; 49c 9; 62b 15–16; 124b 4; 127d 23–24), съврьшеннѣ (110c 23),

съмыслынѣ (57а 28–57б 1), съмжтынѣ (236а 18–19), сѫпостатьнѣ (92д 23), сѫпротивынѣ (62а 13; 128а 10), сѫщынѣ (215а 9), танинѣ (145б 27), тънъцѣ (70б 6–7), тажьцѣ (241с 2–3), хоулынѣ (39д 23), чоудынѣ (87д 9), шленѣ (209б 25), ѧдиногласынѣ (10д 28–11а 1). В “Богословии” нами отмечено более 40 таких наречий, некоторые из них употреблены неоднократно: безблазнынѣ (смс), благодѣтьнѣ (сгі), благовольнѣ (тдів), блаженѣ (ѹзі), боголѣпствынѣ (сз), божествынѣ (св), вѣдьнѣ (ѹзі), видимѣ (ма), виновнынѣ (тді), вѣсплатынѣ (66а), вѣгодынѣ (сд), добротынѣ (сз), доброчѣстьнѣ (43а), доуходынѣ (счин; тлав), довѣльнѣ (36а; ск), достонинѣ (рзд; сог; тоаб; тквв; ѹзі), жестоцѣ (4б), истинынѣ (тобв), исходынѣ (84а; тді), коупынѣ (рпд; ткд; тмн), маловѣменынѣ (саі), мѣдынѣ (тпгв), напраснѣ (тмг), неотъпадынѣ (ркѣ), неподобынѣ (ѹві), иаждынѣ (ѹві), пальтынѣ (93а), подобынѣ (рзд; тѣв–тѣз), праздынѣ (сквв), прилоучынѣ (совв; ткг), прилѣжынѣ (тѣв), прѣмѣдрѣ (рлив), равынѣ (12а; св; са), разложынѣ (90б), своковразынѣ (тлдв), свѣтылѣ (рдб), съставынѣ (ркѣ), скверынынѣ (ѹзі), соынѣ (тлдв), спѣшишынѣ (тѣв), сѫпротивынѣ (сшв), танбынѣ (ткгв), оудобынѣ (ѹзі), частынѣ (ткдб), иѣстѣствынѣ (саі; сдів; совв). О том, что если не все, то по крайней мере большинство этих наречий принадлежало оригиналам, т. е. перу самого Иоанна Экзарха, а не представляло собой позднейшие инновации переписчиков, говорит употребление ряда наречий в обоих произведениях (к тому же дошедших до нас в списках разных изводов): вѣдьнѣ, достонинѣ, доброчѣстьнѣ, довѣльнѣ, истинынѣ, коупынѣ, мѣдынѣ, неподобынѣ, подобынѣ, прѣмѣдрѣ, разлоучынѣ, равынѣ, свѣтылѣ, сѫпротивынѣ. Ряд наречий находим в других произведениях, восходящих к оригиналам Преславской школы, в том числе и в Супрасльской рукописи: достонинѣ (Супр 293,24–25), доброобразынѣ (Изб 1073 546 24), доуходынѣ (КПр 64,13), издрадынѣ (Изб 1073 15в 6, 46г 5, 132а 21), искропытынѣ (Супр 284,19), истинынѣ (Супр 271,26; Изб 1073 бг 10;132а 20), коупынѣ (Супр), неподобынѣ (Супр 554,3; КПр 25,4), отължченѣ (Изб 1073 12г 19–20; 12г 25), подобынѣ (Зогр-лл, Изб 1073 10г 2; 12в 23; 15а 24 и др., КПр 3,8–9), различынѣ (Супр 12,6–7), славынѣ (Супр 262,2; Изб 1073 258а 21, Изб 1076 130а 5), сладъцѣ (Супр 213,12–13; 215,11; 267,11; 431,13), стронинѣ (КПр 44,5 не стронинѣ), съврьшемѣ (Супр 265,24; 522,26; 563,9; 563,18; 567,20), сѫпротивынѣ (Изб 1073 58а 9; 129в 19; 146г 3–4);

120г 6), **таникъ** (Супр 276,7), **тъньцъ** (Изб 1073 118г 12), **тажьцъ** (Супр 334,23; 22,23), **иавленкъ** (Супр 437,1).

Многие из наречий на **-ъ** были, очевидно, созданы Иоанном Экзархом в процессе перевода греческих текстов для пополнения выразительных средств, недостававших в старославянском языке. Однако некоторые наречия, созданные “по новому образцу”, представляют собой дублеты к наречиям других типов и употребляются Иоанном Экзархом наряду с ними. Например, к общеупотребительному наречию древней структуры **въспатъ** в “Богословии” находим дублет-гапакс **въспатънъ** (Неб 66а), в “Шестодневе” – дублет-гапакс **сѫпротивънъ** (Шест 128а 10), к обычному для языка Иоанна Экзарха и Супрасльской рукописи наречию **въ поустошь** в “Шестодневе” находим дублет-гапакс **поустошънъ** (Шест 236а 11–12). Часто встречаются дублеты к уже введенным в язык более ранними переводами наречиям на **-о** с той же основой. Ср.: **боголѣпъно** (Супр) – **боголѣпънъ** (Шест); **бѣдъно** (Супр, Зогр-лл) – **бѣдънъ** (Шест, Неб); **довѣльно** (Супр, Ен) – **довѣльнъ** (Шест, Неб); **достонно** (Евх, Клоц, Супр) – **достоннъ** (Шест, Неб); **издрадъно** (Евх, Супр) – **издрадънъ** (Шест); **коѹпъно** (Зогр, Мар, Ас, Унд, Син, Клоц, Евх, Супр) – **коѹпънъ** (Шест, Неб); **напрасно** (Супр) – **напраснъ** (Неб); **подобъно** (Евх; Супр) – **подобънъ** (Шест; Неб); **прилежъно** (Зогр, Мар, Сав, Супр, Ен) – **прилежънъ** (Неб); **прѣмѣждро** (Супр) – **прѣмѣждро** (Шест); **равъно** (Зогр, Мар, Ас, Сав, Евх, Супр, Хил) – **равънъ** (Шест, Неб); **различъно** (Евх, Супр) – **различънъ** (Шест); **разоумъно** (Син, Евх, Супр) – **разоумънъ** (Шест); **славъно** (Супр) – **славънъ** (Шест); **сладъко** (Супр) – **сладъцъ** (Шест); **спѣшъно** (Евх) – **спѣшънъ** (Неб). Особенно интересны дублеты к поморфемным калькам с типично “преславской” первой частью сложений **добро-**. Ср.:

**εὐστεβᾶς** – **благовѣрно** в Синайском евхологии (Титу 2,12), **доброчѣстьнъ** в Шестодневе (259а 26–27);

**εὐσχημόνως** – **благообразно** в Енинском апостоле (Рим 13,13), **доброеобразънъ** в Шестодневе (34d 28–35а 1).

Следует отметить, что для языка произведений Иоанна Экзарха характерен также ряд наречий на **-ъ**, образованных от безаффиксных прилагательных, которые среди древнеболгарских рукописей не встречаются нигде, кроме Супрасльской. Ср.: **грѣдъ** (Шест 87d 5 – Супр 105,13), **дрѣзъ** (Шест 219d 8 – Супр 88,11),

крѣпѣ (Шест 179с 6 – Супр 58,16), острѣ (Шест 16б 4 – Супр 54,26), простѣ (Шест 363д 25; Неб совѣ – Супр 176,19–20; 443,5); твѣрдѣ (Шест 24д 27; 62с 17; 177б 22 – Супр 72,3; 236,14–15; 269,9), чистѣ (Шест 106с 25; 155с 11; Неб наѣ – Супр 58,16; 116,4 и др.); ласнѣ (Шест 17а 26; 21д 14; 156а 15; 247б 27; 247с 5 – Супр 562,19; 562,21; 562,23). Наречия грѣхѣ (Шест 63с 20; 76б 8; 203с 7; 203с 14; 216а 27), кривѣ (Шест 203с 6; 207б 13; 262д 27), обѣлѣ (Неб рѣсѣ), приснѣ (Шест 252б 5), хоудѣ (Шест 26д 27; 36а 3–4; 62с 19; 72д 8; 80б 26; 81с 28; 88б 20; 98с 1; 117д 2 и др.; Неб тчдѣ), хытрѣ (Шест 7д 18; 24б 16; 63а 17; 63б 1; 74а 16; 115с 15; 116б 18; 210д 19–20), не встречаются и в Супрасльской рукописи, но грѣхѣ, приснѣ и хытрѣ отмечены нами в Изборнике 1073 г. (56 3–4; 74а 24; 576 26; 57в 19; 118г 6; 144г 22–23; 1856 10).

На основании сопоставления языка ряда рукописей, восходящих к древнеболгарским оригиналам (хотя пока число просмотренных нами памятников не очень велико), мы считаем возможным высказать предположение о влиянии “образца” языка Иоанна Экзарха в употреблении наречий на других древнеболгарских книжников Преславской школы. Если наше предположение верно и будет подтверждено дальнейшими исследованиями рукописного наследия, оно вполне соответствует представлению о механизме нормирования средневекового литературного языка, определенного спецификой условий его существования, когда нормирование заключалось в непосредственном (без грамматик и словарей) равнением на авторитеты и манифестировалось скорее как стремление к норме. Это выявляется при сопоставлении феноменов употребления наречий на -о и на -ѣ в языке Иоанна Экзарха и в языке других древнеболгарских писателей. Если в языке произведений самого Иоанна Экзарха доминирование модели с суффиксом -ѣ при образовании отадъективных наречий совершенно бесспорно, в других произведениях преславских книжников отадъективные наречия с суффиксом -ѣ употребляются наряду с наречиями на -о, при этом наречия с той же мотивирующей основой часто имеют те же значения. Так, в Супрасльской рукописи в упоминавшемся выше Житии Анина наряду с любъзнѣ ‘с любовью’<sup>58</sup>, ‘ласково, приятно, милостиво, любезно’<sup>59</sup> встречаем любъзно ‘с любовью’<sup>60</sup>, ‘ласково, приятно, милостиво, любезно’<sup>61</sup>. Ср.: Пришъдъ любъзнѣ. къ просвѣщенню твокго размышилага . ш болюб'че... положихъ скростникъ коньчати... от(ът)ъ твѣ ми възвѣщениага Супр 543,14 и

многаши же въсж алчъбл **и** дѣни . **любъзно** безъ ѹди и питниа прѣбывааста Супр 547,26. Наряду с **бестоудынѣ** (554,12), **безаконынѣ** (Супр 554,2), **горьцѣ** (Супр 551,11), **кrottъцѣ** (Супр 549,29), **мъноголичынѣ** (566,28), **неподобынѣ** (Супр 554,3), **обтычынѣ** (Супр 558,5), **прѣславынѣ** (Супр 565,11), **самовидынѣ** (Супр 560,5), **съврьшенѣ** (Супр 563,9; 563,18; 567,20) в Житии Анина находим **издрадыно** (Супр 559,6), **кrottъко** (Супр 565,9), **коупльно** (Супр 543,18), **напрасно** (Супр 552,22; 554,7; 570,7), **тъчыно** (Супр 557,13), **оугодыно** (Супр 547,18). Такая же картина и в других “преславских” частях Супрасльской рукописи. Например, в Житии Василия и Капитона Херсонских наряду с **благочестивѣ** (Супр 539,20), **нелнцемѣрынѣ** (Супр 541,11) употребляется **правовѣрьно** (Супр 538,17) и т. п. В Изборнике 1073 г. наряду с наречиями на -ѣ **безврѣменынѣ**, **безоумынѣ**, **бесплѣтынѣ**, **благочѣстьнѣ**, **боголѣпѣ**, **болѣзнынѣ**, **вѣрьнѣ**, **горьцѣ**, **гржеѣ**, **доброгодынѣ**, **доброеобразынѣ**, **добропокаязынѣ**, **добропажтынѣ**, **доброразоумнѣ**, **доброчинынѣ**, **достоинынѣ**, **дрѣзѣ**, **доуходынѣ**, **издрадынѣ**, **инорѣчынѣ**, **истиннынѣ**, **истовѣ**, **исходынѣ**, **которынѣ**, **кrottъцѣ**, **коупльноименынѣ**, **коупльно-съгласынѣ**, **льгъцѣ**, **мъногогообразынѣ**, **невидимѣ**, **недостоинѣ**, **недостоиннынѣ**, **неиздреченынѣ**, **неизмѣжтынѣ**, **неотъдѣльнѣ**, **неправдынѣ**, **неприрочынѣ**, **непрѣмѣнынѣ**, **непрѣподобынѣ**, **нераздѣльнѣ**, **неразоумынѣ**, **несъвратынѣ**, **несѣлианѣ**, **несѣмъыслынѣ**, **неоудобынѣ**, **нечѣстивѣ**, **ноуждьнѣ**, **обильнѣ**, **опытынѣ**, **особынѣ**, **отължченѣ**, **подобынѣ**, **покошынѣ**, **пользынѣ**, **протрѣбенѣ**, **правовѣрьнѣ**, **правдынѣ**, **присносжитынѣ**, **пръвообразынѣ**, **равыночѣстьнѣ**, **разгласынѣ**, **разздѣльнѣ**, **разздѣленї**, **раснлынѣ**, **расждынѣ**, **самохотынѣ**, **свободынѣ**, **свонтынѣ**, **своиксобыствынѣ**, **снлынѣ**, **скврьнынѣ**, **скрѣбенѣ**, **славынѣ**, **сладъцѣ**, **собыствынѣ**, **съгласынѣ**, **сълнсанѣ**, **сѫпротивынѣ**, **сѫштынѣ**, **танинѣ**, **тьнъцѣ**, **оудобынѣ**, **оусрьдынѣ**, **хждожѣ**, **чоудынѣ**, **кѣстъствынѣ** употребляются наречия на -о **бездоушыно**, **бештннно**, **благодарыно**, **блнзньно**, **боголѣпъно**, **вѣдъно**, **вѣлико**, **вѣгодыно**, **вѣисоко**, **глоумъно**, **гноусыно**, **годыно**, **горъко**, **доброразоумыно**, **довѣльно**, **достоинныно**, **извѣсто**, **издрадыно**, **истиннно**, **крѣпъко**, **коупльно**, **лѣннво**, **моштыно**, **напрасно**, **недомыслыно**, **недоразоумыно**, **нензмѣнно**, **немоштыно**, **неподобыно**, **непользыно**, **неправдыно**, **непрѣложыно**, **непрѣмѣнно**, **непрѣстаныно**, **несѣлигано**, **ноуждьно**, **образыно**, **подобыно**, **покошыно**, **пользыно**, **правдыно**, **прѣславыно**, **равыно**, **разоумыно**, **рѣдъко**, **славыно**, **спѣшино**, **стронно**, **съгласыно**, **сѫштыно**, **тврьдо**, **тъчыно**, **тажъко**, **оудобыно**, **шнроко**<sup>62</sup>. В Изборнике 1076 (в тексте XI в.) наречия

вестъдънѣ (216об,7–8), недостоннѣ (122,11–12; 122,2–3 I Кор 11,27), опасънѣ (96об,3), славънѣ (130,5), оусръдънѣ (218об 11–12) употребляются наряду с наречиями вѣрно (229 об,5), истиинно (31,11; 31об,3), любъвно (30,7), мъдъльно (25об,13–26,1), невидимо (256об,7), непрѣстанно (102об,11–12), недостонно (230,8–9), прилѣжъно (229 об,4), пространо (41об,10–11), разоумъно (25об,7; 255,4). В “Беседе” Козмы Пресвитера наречия на -ѣ доуходънѣ (64,13), неподобънѣ (25,4), недостоннѣ (9,15; 9,17), нестроннѣ (44,5), противънѣ (13,13), подобънѣ (3,8–9), чистънѣ (55,15) встречаются наряду с наречиями на -о любъзъно (20,8), незаконъно (22,18), пользъно (49,5–6), обильно (29,16), неподобъно (22,11), чистъно (22,9). В цитатах из Апостола у Козмы Пресвитера так же встречаются как наречия на -ѣ, так и наречия на -о, т. е. в представлении этого писателя оба типа наречий равно входили в языковую норму и не требовали исправления, замены наречиями какого-либо одного типа. Ср.:

I Кор 11,27: “Ωστε ὃς ἀν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον ἢ πίνῃ τὸ ποτήριον τοῦ κυρίου ἀναξίως ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ κυρίου

— тѣмъ<sup>\*</sup> иже аще єсть хлѣбъ съ . и піеть чашию гню недостоннѣ. грѣшънѣ есть тѣлъ и крови гнї КПр 9,15;

II Тим 2,5: εὰν δὲ καὶ ἀθλῆ τις, οὐ στεφανοῦται εὰν μὴ νομίως ἀθλήσῃ

— аще те и стражетъ кто не вѣнцаеть<sup>с</sup> аще незаконно постраждѣть КПр 22,18.

Как видно из приведенных выше списков, наречия на -ѣ “нового образца” употребляются наряду с наречиями на -о от той же основы, многие из которых известны по более ранним переводам. Ср. в Изборнике 1073 г.: издрадъно и издрадънѣ, истиинно и истииннѣ, непрѣмѣнно и непрѣмѣннѣ, неправъдно и неправъднѣ, ноуждъно и ноуждънѣ, подобно и подобънѣ, пользъно и пользънѣ, правъдно и правъдънѣ, славъно и славънѣ, съгласъно и съгласънѣ, сѫщъно и сѫщънѣ, оудобно и оудобънѣ, в Изборнике 1076 г.: недостонно и недостоннѣ, в “Беседе” Козмы Пресвитера: неподобъно (в предикативной функции) и неподобънѣ, чистъно и чистънѣ.

На первый взгляд такое распространение наречий на -ѣ в ряде произведений древнеболгарских книжников, связанных с Преславской школой письменности, кажется избыточным для языка. Хотя в рукописях и существуют некоторые отличия в синтак-

сическом употреблении типов наречий на **-θ** и на **-ο** (синтаксические функции наречий на **-ο**, как правило, шире), а в некоторых редких случаях и различия в оттенках значений, что мы уже отмечали в статье 1991 г., имеется достаточно фактов, подтверждающих, что такие пары наречий принципиально могли переводить одно и то же греческое наречие<sup>63</sup>. Таким образом, необходимо признать, что в рассматриваемую эпоху наречия с суффиксом **-θ** “нового образца” вошли в язык как истинные синонимы к уже существовавшим наречиям других типов, в том числе и к наречиям на **-ο**, образованным от той же основы. Новые наречия сосуществовали с наречиями, закрепившимися в языке ранее и ранее вошедшими в его норму, и в терминах современной теории варианологии эти пары наречий с одинаковыми или почти одинаковыми лексическими значениями должны быть классифицированы как ситуативно совместимые варианты<sup>64</sup>.

Впервые, видимо, на “параллельность” типов наречий на **-ο** и на **-θ** и как бы “избыточность” типа наречий на **-θ** обратил внимание А. Вайан. “Этот тип, – отмечал А. Вайан – ограниченный в своем употреблении в древних текстах (в евангелии, псалтири, требнике, Клоцовом сборнике), широко распространяется в позднейших текстах и церковнославянских сборниках, что может объясняться или различием между древнемакедонским и древнеболгарским языками, или, скорее, стремлением придать наречию признаки, свойственные греческим наречиям на **-θς...**”<sup>65</sup>. Мы можем предположить, что введение в норму языка образования наречий книжного типа (а это были наречия от аффиксальных прилагательных, адъективированных причастий и прилагательных-композит) по модели с суффиксом **-θ** было связано с авторитетом Иоанна Экзарха, который сам пользовался исключительно этой моделью. Знаменательно, что для языка Константина Преславского – другой крупнейшей фигуры Преславской школы, но, так сказать, “более старшего поколения” – тип наречий на **-θ** совершенно не был характерен. В целом употребление отадъективных наречий в языке Константина Преславского сходно с их употреблением в Синайском евхологии. Константин Преславский широко использовал наречия на **-ο**, образованные от суффиксальных прилагательных и прилагательных-композит, но не употреблял наречия на **-θ** от прилагательных той же структуры. Так, в изданной архим. Антонием

части Учительного евангелия по древнейшему списку XII в. мы насчитали три десятка таких наречий на -о, многие из которых употреблены неоднократно: **боголѣпъно** – θεοπρεπῶς с. 181, с. 227; **ѹгодъно** – συμμέτρως с. 183, πρεπόντως с. 199; **съмъсльно** – συνετῶς с. 189, νουνεχῶς с. 198; **ѣмфронъно** – ἐμφρόνως с. 229; **испѣтыно** – ἀκριβῶς с. 216, ἀκριβέστερον с. 243; **самовольно** – βίᾳ с. 186; **прѣславъно** – παραδόξως с. 202; **тъщеславъно** с. 241 и др. Встретились также и наречия на -ъскы: **юнотьскы** – νεανικῶς с. 204; **пальтъскы** – с. 204; **скотъскы же** паче и **звѣръскы** – κτηνοπρεπῶς δὲ μᾶλλον – с. 222; **выселичъскы** – παντὶ ποι с. 251. Наречия же с суффиксом -ѣ – только от непроизводных прилагательных: **добрѣ** с. 196, с. 217, с. 265; **правѣ** с. 263; **лѣпѣ** с. 205. В относительно небольшом тексте Службы Мефодию 3 раза встречается наречие **достонно**, 4 раза – **непрѣстанъно**, а также наречия **блѣдъно**, **коупльно**, **чѣстъно**, **славъно**, **нениздреченьно**. Из наречий же с суффиксом -ѣ – только образованное от непроизводного прилагательного и встречающееся и в евангельском тексте наречие **лютѣ**<sup>66</sup>.

Исходя из рассмотренного выше материала, тенденции развития первого литературного языка славян за счет употребления отадъективных наречий предстают следующим образом. На начальном этапе формирования старославянского языка в основном использовались наречия, взятые из народно-разговорного языка. Лишь несколько наречий книжного характера было образовано по наиболее распространенной славянской словообразовательной модели – адвербиализации форм прилагательных ср. р. ед. ч. (так называемые наречия на -о от прилагательных с суффиксом -ън-), причем прямое поморфемное калькирование избегалось. По мере необходимости перевода более сложных, чем Евангелие и Псалтырь, текстов (гомилитических, агиографических, онтологических и т. п.) нарастало количество употребляемых отадъективных наречий. Изменяются характеристики способов словообразования и словообразовательных типов. Расширяется сфера референции наречий словообразовательного типа с суффиксом -ы, захватившая значения отношений к одушевленным существам или к неодушевленным предметам. При этом мотивирующими становятся прилагательные с суффиксом -ъск-, которые в силу своей семантики во многих случаях обеспечивают двойную мотивацию (прилагательным и существительным) наречий. Значительно повышается словообразовательная активность модели

адвербиализации форм прилагательных ср. р. ед. ч., в сферу действия которой все больше вовлекаются в качестве мотивирующих аффиксальные прилагательные, адъективированные причастия и прилагательные-композиты (образование так называемых наречий на -о). Поморфемное калькирование наречий, весьма умеренно применявшиеся в среде кирилло-мефодиевской школы, получает распространение в практике древнеболгарских книжников. В рамках Преславской школы инициируется словообразовательная активность модели наречий с суффиксом -ѣ – возможно, под влиянием “образца” языка Иоанна Эзарха Болгарского. Основная масса отадъективных наречий создавалась “по потребности” в процессе перевода греческих текстов. Мы можем судить об этом по тому факту, что далеко не все наречия закреплялись в языке, многие оставались гапаксами или малоупотребительными лексемами.

Эти процессы протекали в рамках единой языковой системы, в силу экстравариистических факторов (необходимость перевода текстов, написанных на чрезвычайно богатом своими выразительными возможностями греческом языке) в высшей степени открытой для всевозможных инноваций, особенно в сфере лексики и словообразования. При этом все словообразовательные модели отадъективных наречий были известны народно-разговорному языку и изначально присутствовали в старославянском языке. Наречия с суффиксом -ѣ “нового образца”, массированно вошедшие в язык в рамках Преславской школы, представляли собой во многих случаях истинные синонимы, а иногда и текстологические дублеты к уже существовавшим в языке наречиям других типов (т. е. ситуативно совместимые варианты), однако образовывались по известной языку модели. Таким образом, лексические и словообразовательные инновации в сфере употребления наречий развивали отдельные звенья языковой системы. Введение в литературный язык новых вариантов не разрушало нормы и не создавало новой нормы, но в то же время предполагало ее динамику, направленную в сторону большей свободы. Рассматриваемые в работе языковые процессы могут быть охарактеризованы как относящиеся к *внутренней динамике нормы* (термин Е. И. Деминой), т. е. динамики нормы в пределах одной языковой системы, когда сдвиги в нормах словоупотребления “существенным образом не сказываются на характере системных отношений в субстанции и структуре данного идиома”<sup>67</sup>.

О дальнейшей судьбе отадъективных наречий в истории древнеславянского литературного языка нам известно пока не очень много. В немногочисленных работах по наречию вопросы нормы и конкуренции словообразовательных моделей, как правило, не поднимаются<sup>68</sup>. Некоторые исследования как будто свидетельствуют, что в дальнейшем развитии языка, вне пределов рассматриваемой эпохи, происходила дифференциация наречий-вариантов по значению и стилистической принадлежности. Так, И. Харалампиев, сопоставив употребление наречий на -ѣ и на -о в произведениях Евфимия Тырновского, пришел к выводу, что значения наречий на -ѣ в языке этого писателя отличались большей элятивностью<sup>69</sup>. По наблюдениям Н. В. Чурмаевой над употреблением наречий на -ѣ и на -о в древнерусских памятниках, в XI–XIV вв. количество наречий на -ѣ убывало от века к веку. В XV–XVII вв. наречия на -ѣ начинают употребляться “в целях стилизации, сопровождая, как правило, книжную торжественность слога”<sup>70</sup>.

<sup>1</sup> См., например, дискуссию в ряде авторитетных отечественных и болгарских научных журналов в конце 80-х годов: *Жуковская Л. П.* Еще раз о старославянском языке по поводу книг И. Тота и Р. М. Цейтлин // Научные доклады высшей школы. Серия литературы и языка. Т. 46. 1987, № 1, с. 79–85; *Живов В. М.* Проблемы формирования русской редакции церковнославянского языка на начальном этапе (По поводу книги И. Тота “Русская редакция древнеболгарского языка в конце XI – начале XII вв.”. София, 1985. 358 с.) // “Вопросы языкознания”, 1987, № 1, с. 46–65; *Супрун А. Е.* Рец. на: Цейтлин Р. М. Лексика древнеболгарских рукописей X–XI вв. Болгарская академия наук. Институт болгарского языка. Отв. ред. Д. Иванова-Мирчева. София, БАН, 1986, 355 с. // *Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 46, 1987, № 3, с. 277–279; Хабургаев Г. А.* К вопросу о терминологическом обозначении объекта палеославистики // “Вопросы языкознания”, 1987, № 4, с. 59–68; Цейтлин Р. М. О содержании термина “старославянский язык” // “Вопросы языкознания”, 1987, № 4, с. 43–58; *Иванова-Мирчева Д.* Отново за терминологията и за още нещо [по повод на две статии на Л. П. Жуковска и В. М. Живов] // “Български език”, 1987, № 3, с. 179–189; *Дунков Д., Станков Р.* К вопросу об основных положениях становления и развития древне-болгарского литературно-письменного языка и его изводов // “Palaeobulgaria”, 1988, № 1, с. 9–28; *Дограмаджиева Е.* Новая гипотеза об этнической принадлежности древнеболгарского (старославянского, древнечерковнославянского) языка // “Palaeobulgaria”, 1988, № 2, с. 8–14; *Филкова П.* К вопросу о древнеболгарской основе первого письменно-литературного

языка славянских народов // "Palaeobulgarica", 1989, № 2, с. 23–40.

<sup>2</sup> Толстой Н. И. История и структура славянских литературных языков. М., 1988, с. 34–52, особенно с. 47.

<sup>3</sup> Этую традицию можно проследить от "классических" грамматик до некоторых современных работ, особенно опубликованных за рубежом (см.: *Leskien A.* Handbuch der altblugarischen (althkirchenslavischen) Sprache. Weimar, 1910; *Leskien A.* Grammatik der altblugarischen (althkirchenslavischen) Sprache. Heidelberg, 1919; *Doritsch A.* Gebrauch der altblugarischen Adverbia. Leipzig, 1910; *Aitzetmüller R.* Altblugarische Grammatik als Einführung in die slavische Sprachwissenschaft. Freiburg im Breisgau, 1978 и мн. др.).

<sup>4</sup> Дограмаджиева Е., Костова Кр. Проблемы дефиниции древнеболгарского языка на основе определений других древних славянских языков // Славянска филология, т. 19. София, 1988, с. 19–28, особенно с. 21; Кочев И. Старобългарските диалектни явления и понятието с о л у н с к и г о в о р // "Български език", 1987, № 3, с. 167; Минчева А. Диалектът на Кирил и Методий и балканализмите // "Български език", 1987, № 1–2, с. 23–24 и др. В таких случаях большие усилия прилагаются для доказательства чуть ли не идентичности старославянского языка народному болгарскому языку того времени – доказывается якобы тождество старославянской лексики и болгарской диалектной лексики, на основе данных диалектологии об использовании в современных болгарских говорах ряда словообразовательных моделей, типичных для образования старославянской книжной лексики – в частности, образования композит – утверждается "народный" характер старославянской книжной лексики и т. п. См.: Иванова-Мирчева Д. Характерни особености на лексиката на старобългарските паметници // Славянска филология, т. 19. София, 1988, с. 29–35; Кочев И., Кочева Е., Домусчева Л. За народната основа на словообразувателните модели на сложните съществителни в старо-българския език // Славянска филология, т. 19. София, 1988, с. 46–63; Мъжлекова М. Речник на старобългарски думи в днешните български говори. София, 1990 и др.

<sup>5</sup> Предпринимаемые время от времени попытки опровергнуть это положение несостоятельны: см., например, разбор Б. Н. Флорей монографии Ф. Загибы в статье "К оценке исторического значения славянской письменности в Великой Моравии" (Великая Моравия, ее историческое и культурное значение. М., 1985, с. 195–217).

<sup>6</sup> Об отношении первого письменного языка славян к его диалектной основе существует обширная литература. Упомянем только некоторые из работ: Цонев Б. Кои новобългарски говори стоят нализу до старобългарски в лексикално отношение // Сб. БАН, т. XI, 1915, с. 1–32; Кульбакин С. М. Охридская рукопись апостола конца XII века. Введение // Български

старини, кн. III, София, 1907; *Кабасанов Ст.* За някои характерни старинни черти на тихомирския говор, Кърджалийско // "Език и литература", 1963, № 1, с. 11–26; *Sławski F.* Z badań nad słownictwem języka Konstantyna-Cyryla i Metodego // *Studia palaeoslovenica*. Praha, 1971, s. 329–334; *Велчева Б.* Праславянски и старобългарски фонологически изменения. София, 1980; *Кочев И.* За основните проблеми на българска диалектология // "Български език", 1984, № 2, с. 97–109; *Кочев И.* Старобългарските диалектни явления и понятието *Солунски говор* // "Български език", 1987, № 3, с. 167–178; *Дограмаджиева Е.* За дублетите в книжовния старобългарски език // Сб. В чест на академик Вл. Георгиев. София, 1980, с. 423–424; *Иванова-Мирчева Д.* Въпроси на българския книжовен език до Възраждането IX–Х до XVIII век. София, 1987, с. 20–21 и др.

<sup>7</sup> *Jagic V.* Zum Entstehungsgrschichte der kirchenslavischen Sprache // "Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe", Bd. 46. Wien, 1902, S. 68.

<sup>8</sup> *Верещагин Е. М.* У истоков славянской философской терминологии: ментализация как прием терминотворчества // "Вопросы языкоznания", 1982, № 6; *Он же.* Великоморавский этап развития первого литературного языка славян: становление терминологической лексики // *Великая Моравия, ее историческое и культурное значение*. М., 1985, с. 217–238; *Он же.* Две линии в языковторчестве Кирилла и Мефодия и их последователей: формирование терминологии, создание поэтической традиции // *Славянское языкоznание. X Межд. съезд славистов*. М., 1988; *Он же.* Терминотворчество Кирилла и Мефодия // "Вопросы языкоznания", 1988, № 2 и др.

<sup>9</sup> *Bernstein B.* Class, Codes and Control. V. 1. London, 1974, s. 77, 101–115, 126.

<sup>10</sup> Ср.: "Церковно-славянский, или старо-славянский, или древнеболгарский язык – тот язык, на который славянские первоучители свв. Кирилл и Мефодий перевели с греческого книги священного писания и богослужебные и который, после их кончины, сделался литературным языком болгар, сербов и русских" (*Соболевский А. И.* Древний церковнославянский язык. Фонетика. М., 1891, с. 3).

<sup>11</sup> Там же, с. 10, с. 11.

<sup>12</sup> Так, Н. Дурново в резюме своей работы "Мысли и предположения о происхождении старославянского языка и славянских алфавитов" писал следующее: "1. Старославянским языком следует называть не тот или иной народный славянский говор, вскрываемый нами при изучении так называемых старославянских памятников, а известные нормы литературного языка. 2. Из определения старославянского языка как литературного, вытекает положение, что он мог и не совпадать ни с одним из живых (народных) славянских говоров" (*Durnovo N.* Мысли и предположения о

происхождении старославянского языка и славянских алфавитов // "Byzantinoslavica", 1929, № 1, с. 82).

<sup>13</sup> Тезисы Пражского лингвистического кружка. Цит. по: Пражский лингвистический кружок. Сборник статей. М., 1967, с. 32.

<sup>14</sup> Голстий Н. И. История и структура славянских литературных языков. М., 1988, с. 34–52, особенно с. 35–36, с. 46.

<sup>15</sup> Дограмаджиева Е. Книжовната норма при морфологичните дублети в старобългарския език // "Palaeobulgaria", 1984, № 2, с. 64.

<sup>16</sup> Положение осложняется еще и тем, что лексические нормы, тем более на раннем этапе формирования литературных языков, действуют гораздо мягче, чем грамматические, фонетические, орографические, что уже отмечалось палеославистами (Хютль-Ворт Г. К проблематике норм языка древнерусских летописей // Проблемы нормы в славянских литературных языках в синхронном и диахронном аспектах. М., 1976, с. 175).

<sup>17</sup> Цейтлин Р. М. Характеристика лексических и словообразовательных средств старославянского языка // Славянское языкознание. VII Межд. съезд славистов. Варшава. М., 1973, с. 419, 425.

<sup>18</sup> См., например, *Večerka R. K charakteristice jazykové normy starobulgarského literárneho centra prešlavského* // "Slavia", 1992, roč. 61, seš. 4, s. 375–381, многие работы Д. Ивановой-Мирчевой и др. Эта концепция имеет давнюю традицию и восходит к концу прошлого века, т. е. ко времени, когда только начали появляться первые наблюдения, свидетельствующие о наличии различных письменных школ в эпоху старославянского языка. Так, в 1897 г., в своем известном исследовании Книги пророка Исаии И. Е. Евсеев писал: "Толковые Пророки представляют ту неустановившуюся еще стадию языка, на которой как бы подвергаются пробе многочисленные языковые средства и нет еще определенной литературной нормы... В Паримийнике – вместе со сходным с ним переводом Евангелия и Апостола древнейшей редакции – мы видим, так сказать, норму языка уже достаточно окрепшую, в Толковых Пророчествах – нечто особое от этой нормы". И далее: "Все эти пункты различия... находят себе полное соответствие в словарном материале той и другой редакции...", при этом отмечается использование слов местного ареала: *поѹштати* вм. *постылати*, *страна* вм. *языкъ*, в том числе в замене грецизмов: *трѣбеникъ* вм. *алтарь*, *жрыцъ* вм. *иерей* (Евсеев И. Е. Книга пророка Исаии в древнеславянской переводе. Спб., 1897, с. 77, с. 78). Как видно из приведенной выше цитаты, Е. И. Евсеев полагал, что в Преславской школе складывалась новая, своя собственная литературная норма, во всяком случае норма, сложившаяся в процессе первых кирилло-мефодиевских переводов, была разрушена.

<sup>19</sup> Иванова-Мирчева Д. Въпроси на българския книжовен език до Възраждането IX–X до XVIII век. София, 1987, с. 24–25.

- <sup>20</sup> Славова Т. Преславска редакция на Кирило-Методиевия старобългарски евангелски превод // Кирило-Методиевки студии, кн. 6. София, 1989, с. 119.
- <sup>21</sup> Гъльбов И. Климент Охридски и ранните школы на стария български книжовен език // "Български език", 1966, № 5, с. 440–456, особенно с. 455–456. Справедливость высказанных тогда идей подтверждается и современными исследованиями. См.: Станков Р. Локализация древнеболгарских переводных текстов в свете так называемой "охридской" и "преславской" лексики // "Palaeobulgarica", 1991, № 4, с. 83–91.
- <sup>22</sup> Цейтлин Р. М. Лексика старославянского языка. Опыт анализа мотивированных слов по данным древнеболгарских рукописей X–XI вв. М., 1977, с. 289–290.
- <sup>23</sup> Демина Е. И. Проблема динамики литературно-языковой нормы // Традиция и новые тенденции в развитии славянских литературных языков: проблема динамики нормы. М., 1994, с. 7.
- <sup>24</sup> Самый "строгий" отбор – 17 рукописей – находим в работах Р. М. Цейтлина: Цейтлин Р. М. Лексика старославянского языка. Опыт анализа мотивированных слов по данным древнеболгарских рукописей X–XI вв. М., 1977; Она же. Лексика древнеболгарских рукописей X–XI вв. София, 1986 и др.; ср. выбор 20 рукописей в известном словаре Л. Садник и Р. Айцетмюллера: Sadnik L., Aitzetmüller R. Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten. Heidelberg, 1955; 18 рукописей в недавно изданном "Старославянском словаре" – Старославянский словарь (по рукописям X–XI вв.). М., 1994.
- <sup>25</sup> Цейтлин Р. М. Лексика старославянского языка... М., 1977, с. 31.
- <sup>26</sup> Давидов А. Глаголна синонимия в "Беседа против богомилите" от Презвитер Козма // Славянска филология, т. 15. София, 1978, с. 329–338; Он же. Речникът на "Беседи против Богомилите" от Презвитер Козма и Супраслският сборник // Проучвания върху Супраслския сборник. София, 1980, с. 137–145; Он же. Шестодневът на Йоан Екзарх и старобългарската лексика // Славянска филология, т. 19. София, 1988, с. 90–98; Он же. Към характеристиката на сложните думи в "Шестоднева" на Йоан Екзарх // Filologia e letteratura nei paesi slavi. Roma, 1990, р. 3–8; Благова Э. Лексика Супрасльской рукописи и лексика Иоанна Ексарха // Проучвания върху Супрасълския сборник – старобългарски паметник от X век. София, 1980, с. 117–126 и др.
- <sup>27</sup> Цейтлин Р. М. Лексика старославянского языка... М., 1977, с. 21.
- <sup>28</sup> Цейтлин Р. М. Възстановяване на незасвидетелствувани старобългарски думи (спосobi и методи) // "Български език", 1986, № 2, с. 114.
- <sup>29</sup> Цейтлин Р. М. Възстановяване на незасвидетелствувани старобългарски думи (спосobi и методи)..., с. 116.
- <sup>30</sup> Иванова-Мирчева Д. Синтактичните архаизми в Германовия сборник в

светлина на филологическото проучване на паметника // "Български език", 1989, № 4, с. 318. Идея о необходимости использования данных более поздних списков для изучения старославянского = древнеболгарского литературного языка время от времени высказывалась рядом ученых: Дурново Н. Русские рукописи XI и XII вв. как памятники старославянского языка // Южнословенски филолог, повремени спис на словенску филологју и лингвистику, кн. IV. Београд, 1924; кн. V, 1925–1926, кн. VI, 1926–1927; Бернштейн С. Б. Главни проблеми на историята на българския език // Изследвания върху историята и диалектите на българския език. София, 1979, с. 47–49 и др.

<sup>31</sup> Соболевский А. И. Церковнославянские тексты моравского происхождения // "Русский филологический вестник", т. XLIII, 1900, с. 154.

<sup>32</sup> Минчева А. Архаизмы и нови черти в езика на преславската книжнина // Славянска филология, т. 19. София, 1988, с. 137. А. Минчева ссылается на наблюдения А. А. Алексеева, что спонтанные синонимические субSTITУции в лексике при переписывании текстов очень невелики и составляют в среднем около 5% от всех изменений.

<sup>33</sup> Павлова Р. Некоторые проблемы изучения языковых взаимодействий болгар и русских (Х–XIV вв) // Славянска филология, т. 17. София, 1983, с. 38.

<sup>34</sup> Например, в отношении Савиной книги И. Добрев уже в статье 1983 г. убедительно показал, что эта рукопись местами содержит более древние варианты перевода (которые следует отнести к Кирилло-Мефодиевскому переводу), чем соответствующие места Зографского, Мариинского и Ассеманиева списков (Добрев И. Кои старобългарски текстове са най-близко до Кирило-Методиевия евангельски превод // "Старобългарска литература", т. 14. София, 1983, с. 3–9). В то же время, в другой своей работе, И. Добрев отмечал, например, употребление в Савиной книге такой лексемы, характерной для преславских книжников, как наречия **издалеча** вместо **издалече** (Добрев И. Текстът на Добромировото евангелие и втората редакция на старобългарските богослужебни книги // "Български език", 1979, № 1, с. 16). Позднее Е. Дограмаджиева в своем исследовании Савиной книги вскрыла неоднородность ее текста в отношении к редактированию первоначального перевода и в том числе выявила следы преславской правки, особенно в блоке чтений на страстную неделю (Дограмаджиева Е. За предисторията на Савина книга // "Palaeobulgarica", 1991, № 1, с. 25–33). В отношении знаменитого глаголического списка евангелия, называемого Зографским и в целом отражающего достаточно хорошо язык первоначального перевода, сейчас можно считать доказанным – как по свидетельству системы правописания, так и по наличию вкраплений типичных "преславизмов" – что он был создан (переписан) в Преславском центре и имеет лексические инновации-преславизмы

(Велчева Б. Старите български ръкописи и техният език. София, 1983, с. 55; Она же. Старобългарски шт, жд и буквата в в глаголицата // "Palaeobulgarica", 1988, № 1, с. 34–35; Славова Т. Към локализацията на Зографското евангелие – старобългарски паметник от X–XI в. // "Palaeobulgarica", 1989, № 1, с. 33–45; Велчева Б. Глаголица в Преславската школа // Доклад на научной конференции "Великопреславски научен събор" в Преславле (Болгария) 16 сентября 1993 г.). В Супрасльской рукописи более, чем в других классических старославянских рукописях, отражены черты, характерные для языка преславских книжников. Однако и здесь палеослависты еще с начала XX в. выделяют произведения, почти не затронутые (или очень мало затронутые) редакторской правкой при переписывании в Преславском центре, сохраняющие язык своих протографов – так называемые "непреславские" части Супрасльской рукописи (*Margulić A. Der altkirchenslavische Codex Suprasliensis*. Heidelberg, 1927; *Van Wijk N. [rec.]*: A. Margulić. Der altkirchenslavische Codex Suprasliensis. Heidelberg, 1927 // "Zeitschrift für slavische Philologie", Bd. 4, Hft. 3–4, 1927, S. 475–485; Благова Э. Лексика Супрасльской рукописи и лексика Иоанна Ексарха // Проучвания върху Супрасълския сборник – старобългарски паметник от X век. София, 1980, с. 117–126 и др.).

<sup>35</sup> Толстой Н. И. История и структура славянских литературных языков. М., 1988, примечание на с. 50.

<sup>36</sup> См., например, Дуриданов И. Старобългарският език в синхрония и диахрония // Славянска филология, т. 19. София, 1988, с. 5–18.

<sup>37</sup> Зографское евангелие (Зогр) – изд.: *Jagić V. Quattuor evangeliorum codex glagoliticum dim Zographensis nunc Petropolitanus*. Berolini, 1879; Мариинское евангелие (Мар) – изд.: Ягич И. В. Мариинское четвероевангелие. Graz, 1960; Асsemаниево евангелие (Ас) – изд.: *Kurz J. Evangeliař Assemanuv*. Praha, 1955; Саввина книга (Сав) – изд.: Щепкин В. Н. Саввина книга. Памятники старославянского языка. Т. II, вып. 2. СПб, 1903; Синайская псалтырь (Син) – изд.: Северьянов С. Н. Синайская псалтырь. Graz, 1954; Клоцов сборник (Клоц) – изд.: *Dostal A. Clozianus*. Praha, 1959; Синайский евхологий (Евх) – изд.: *Nahtigal R. Euchologium Sinaiticum*. D. 2. Ljubljana, 1942; *Tarnanidis I. The Slavonic Manuscripts Discovered in 1975 at St. Catherine's Monastery on Mount Sinai*. Thessaloniki, 1988, p. 219–247; греческий текст по: *Frček J. Euchologium Sinaiticum. In 2 t.* Paris, 1933–1939; Супрасльская рукопись (Супр) – изд.: Заимов Й, Капалдо М. Супрасълски или Ретков сборник. В 2 т. София, 1982–1983; Зографские листки (Зогр лл) – изд.: Минчева А. Старобългарски кирилски откъслеци. София, 1978, с. 39–45; Рыльские листки (Рыл) – изд.: Гошев И. Рилски глаголически листове. София, 1956; Енинский апостол (Ен) – изд.: Мирчев К., Кодов Хр. Енинский апостол. Старобългарски паметник от XI век. София, 1965.

<sup>38</sup> Шестоднев Иоанна Экзарха Болгарского (Шест) – изд.: *Aitzetmüller R. Das Hexaemeron des Exarchen Joannes // Editiones monumentorum slavi-corum veteris dialecti.* Т. I–VII. Graz, 1958–1975; Богословие (Небеса) Иоанна Экзарха Болгарского (Неб) – изд.: *Sadnik L. Des Hl. Johannes von Damaskus "Εκθεσις ἀκριβῆς τῆς ὄφθοδόξου πίστεως in der Übersetzung des Exarchen Johannes // Monumenta linguae slavicae.* Т. V. Wiesbaden, 1967 (издано 49 листов из 210); лл. 50–210 по изд.: *Бодянский О. М. Богословие Иоанна, ексарха Болгарского // Чтения в Обществе истории и древностей российских. Кн. 4. М., 1877;* Учительное евангелие Константина Преславского (УчЕ) – изд.: *Архим. Антоний.* Из истории христианской проповеди. Очерки и исследования Антония, епископа Выборгского, ректора С.-Петербургской Духовной академии. 2-е изд. Спб., 1895 (текст по Синодальному списку XII в. русского извода – с. 178–266); Служба Мефодию Константина Преславского (СМ) – использовалось изд.: *Иванов Й. Български старини из Македония. София, 1970, с. 300–305;* отрывки в изд.: *Magna Moraviae fontes histirici. D. 2. Brno, 1967, s. 322–324;* Изборник 1073 г. (Изб 1073) – в отличие от других памятников, расписанных непосредственно по текстам, в данном случае мы воспользовались индексом: Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.). Под ред. П. Динекова. Т. 2. Речник-индекс. София, 1993; Изборник 1076 г. (Изб 1076) – изд.: *Голышенко В. С., Дубровина В. Ф., Демьянов В. Г., Нефедов Г. Ф. Изборник 1076 года. М., 1965;* Беседа против богомилов Козьмы Пресвитера (КПр) – изд.: *Попруженко М. Г. Козма Пресвитер. Болгарский писатель X века // Български старини. Кн. XII. София, 1936;* Германов сборник, список 1359 г. (Герм) – изд.: *Иванова-Мирчева Д. Непознат вариант от старобългарския превод на Μαρτύριον τῶν ἀγίων καὶ ἐνδόξων τεσσαράκοντα μαρτύρων τῶν ἐν Σεβαστείᾳ μαρτυρησάντων // "Известия на Института за български език", кн. XVII. София, 1969, с. 52–60;* *Иванова-Мирчева Д., Икономова Ж. Хомилията на Епифаний за слизаните в ада (неизвестен старобългарски превод). София, 1975;* Охридский апостол (Охр) – изд.: *Кульбакин С. М. Охридская рукопись апостола конца XII века. Български старини. Кн. III. София, 1907;* Слепченский апостол (Слепч) – изд.: *Ильинский Г. А. Слепченский апостол XII века. М., 1912;* Толковый апостол 1220 г. (Толк) – изд.: *Воскресенский Г. А. Древнеславянский апостол. Послания святого апостола Павла. Вып. 1. Сергиев Посад, 1892, вып. 2, 1906, вып. 3–5, 1908;* Церколезский апостол (Церк) – изд.: *Богданович Д., Велчева Б., Наумов А. Болгарский апостол XIII века: рукопись Дечани-Црколез 2. София, 1986 (микрокарточки);* Матичин апостол (Мат) – изд.: *Ковачевич Р.*

Стефановић Д., Богдановић Д. Матичин апостол (XIII век). Београд, 1979; Карпински апостол (Карп) – изд.: Архим. Амфилохий. Карпински апостол. Т. I. М., 1886, т. II, ч. 1. М., 1885, т. II, ч. 2. М., 1886; Струмицки апостол (Струм) – изд.: Блахова Е. Хауптова З. Струмички (Македонски) апостол. Кирилски споменик од XIII век. Скопје, 1990; Шишатовацкий апостол (Шиш) – изд.: Miklosich F. Apostolus e codice monasterii Sišatovac palaeoslovenice. Vindebonae, 1853; Христинопольский апостол (Христ) – изд.: Kalužniacki E. Actus epistolaeque apostolorum palaeoslovenice ad fidem codicis Christopolitani. Vindebonae, 1896; Толстовский апостол (Толст) – изд.: Воскресенский Г. А. Древнеславянский апостол. Послания святого апостола Павла. Вып. 1. Сергиев Посад, 1892, вып. 2, 1906, вып. 3–5, 1908.

<sup>39</sup> При этом, возможно, наречие *роумьскы* – греч. ῥωμαϊστί, встречающееся только в Саввиной книге в чтении И 19,20 (в остальных кодексах – *латиньскы*), является позднейшей инновацией в евангельском тексте, возможно, “преславизмом”. Ср. употребление этого наречия также в Супрасльской рукописи (Супр 140,22; 142,21).

<sup>40</sup> Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I. М., 1986, с. 56; Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1959, S. 2; Sadnik L., Aitzetmüller R. Handwörterbuch zu den altkirchen Slavischen Texten. Heidelberg, 1955, S. 211.

<sup>41</sup> Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1. М., 1974, с. 93–94.

<sup>42</sup> Об архаичности этого типа наречий см.: Stang Ch. S. Slavische indeklinable Adjektiva auf -ъ // “Norsk Tidsskrift for sprogvitenskap”, 1939, Bd. 11, S. 99–103; Idem. Sur la mutation en -i- dans la formation des noms en slave et en baltique // “Norwegian journal of linguistics”, 1973, v. 27, p. 77–84.

<sup>43</sup> Обычно к числу этих первых переводов относят и переводы апракосных чтений Апостола, однако, кажется, лишь на основании чисто логических умозаключений такого типа: если в Византии было переведено Евангелие-апракос, то тогда же должен был бы быть переведен и Апостол-апракос (Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 1. София, 1985, с. 95–96). Не все ученые разделяют такое допущение. Свидетельство XV главы Жития Мефодия, на которую обычно при этом ссылаются, можно трактовать по-разному, особенно в отношении объема и конкретного набора выбранных для перевода чтений (во всяком случае уникальность выбора чтений на дни недели, несовпадающего с известными церковными уставами, в недавно открытой части Синайского евхология наводит на размышления). Нам кажется более правдоподобным мнение Р. Вечерки, считающего, что Апостол-апракос был переведен в Моравии (Вечерка Р. Письменность Великой Моравии // Великая Моравия, ее историческое и культурное

значение. М., 1985, с. 179–180). Возможно, в “византийский” период были переведены лишь самые минимальные отрывки из Апостола, определенные самим св. Кириллом как необходимые для совершения богослужений.

<sup>44</sup> См., например: Дограмаджиева Е. Своеобразие этапов книжного староболгарского языка // “Palaeobulgaria”, 1981, кн. 1, с. 55–61; Вечерка Р. Письменность Великой Моравии // Великая Моравия, ее историческое и культурное значение. М., 1985, с. 181 и др.

<sup>45</sup> Blahová E. Homilie Clozianu a homilia Če Mihanovičova // “Slavia”, 1963, гоč. 32, seš. 1, с. 1–2; Eadem. K otázce “otъčьskychъ кънгъ” // “Slavia”, 1969, гоč. 38, seš. 4, с. 587.

<sup>46</sup> Иванова-Мирчева Д., Икономова Ж. Хомилията на Епифаний за слизанито в ада (неизвестен старобългарски превод). София, 1975, с. 39.

<sup>47</sup> С этимологической точки зрения к этому типу относится еще несколько старославянских наречий. Это наречия **пакы** и **опакы** (хотя Г. Шелезникер считает наречия **пакы** и **опакы** восходящими к древнему локативу субстантивных *a*-основ, см.: Schelesniker H. Aksl. (въ) прѣкъ “ēnaat̄iōv” // “Studia slavica” Akademiae scientiarum Hungaricae, t. 25. 1979, S. 355). А. Вайан также восстанавливает наречие **вълы** в первоначальном тексте Жития Кодрата в Супрасльской рукописи (Супр 110,4), см.: Vaillant A. Notes etymologiques // Славянская филология. IV Межд. съезд славистов. М., 1958, с. 71–73.

<sup>48</sup> По справедливому замечанию Г. Кирхнера, в отличие от относительных прилагательных с суффиксом **-ън-**, отражавших не просто отношение к предмету, но нечто, имеющее отношение к его внутреннему содержанию – природу, свойство, качество предмета, старославянские относительные прилагательные с суффиксом **-ъск-** называли отношение к предмету как к таковому, взятыму в целостности – см.: Kirchner G. Die russischen Adjektivadverbien auf *-i*. Berlin, 1981, S. 18. Этим обусловлен сравнительный оттенок в значениях некоторых наречий на **-ты**.

<sup>49</sup> По наблюдениям Д. Дункова, следы редактирования преславских книжников наблюдаются во всех произведениях (главах) рукописи, но присутствуют там в различной степени. См.: Дунков Д. Супрасльският сборник и етапите в развитието на преславската редакция на старобългарските книги // “Език и литература”, 1985, № 5, с. 11–20.

<sup>50</sup> Указанные в словарях толкования ‘граждански, публично’ и ‘публично’, а также соответствие **πολιτικός** не представляются бесспорными. См.: Slovník jazyka staroslověnského. Praha, 1968–1998. Т. I, с. 432; Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков). М., 1994, с. 177.

<sup>51</sup> По два таких наречия отмечено нами еще в двух древнеболгарских рукописях – Зографских листках и Хиландарских листках.

<sup>52</sup> Подробнее о распределении наречий на **-ѣ** в произведениях Супрасльской рукописи и вообще об этом типе наречий см.: Ефимова В. С.

Старославянские отадъективные наречия с суффиксом **-ѣ** // "Советское славяноведение", 1991, № 3, с. 71–80.

<sup>53</sup> Иванова-Мирчева Д. Непознат вариант от старобългарския превод на Мартýрюон тѡн ἀγίων καὶ ἐνδόξων τεσσαράκοντα мартýров тѡн ἐν Σεβαστείᾳ мартýрησάντων // "Известия на Института за български език", кн. XVII. София, 1969, с. 51–103, особенно с. 102.

<sup>54</sup> Tarnanidis I. The Slavonic Manuscripts Discovered in 1975 at St. Catherine's Monastery on Mount Sinai. Thessaloniki, 1988, p. 231–247.

<sup>55</sup> Подробнее см.: Ефимова В. С. Об апостольских чтениях в составе Синайского евхология (в связи с последними открытиями в монастыре св. Екатерины на Синае) // МАИРСК. Информационный бюллетень. Вып. 26. М., 1992, с. 8–12.

<sup>56</sup> См., например: Добрев И. Апостолските цитати в Беседата на Презвитер Козма и преславската редакция на Кирило-Методиевия превод на Апостол // Кирило-Методиевски студии, кн. 1. София, 1984, с. 44–62. Как известно, Г. А. Воскресенский в своих исследованиях Апостола выбрал этот список в качестве основного для своей "второй редакции": Воскресенский Г. А. Древний славянский перевод Апостола и его судьбы до XV в. М., 1879; Он же. Древнеславянский апостол. Послания святого апостола Павла. Вып. 1. Сергиев Посад, 1892, вып. 2, 1906, вып. 3–5, 1908. Наши наблюдения сделаны по изданной Г. А. Воскресенским части рукописи, т. е. по тексту Посланий апостола Павла к Римлянам, 1-му и 2-му к Коринфянам, Галатам и Ефесянам.

<sup>57</sup> Велчева Б. Езикът на Църколежкия апостол // Богданович Д., Велчева Б., Наумов А. Болгарский апостол XIII века: рукопись Дечани-Црклез 2. София, 1986, с. 33–80.

<sup>58</sup> Старославянский словарь (по рукописям X–XI вв.). М., 1994, с. 317.

<sup>59</sup> Slovník jazyka staroslověnského. Praha, 1968–1998. Т. II, с. 164.

<sup>60</sup> Старославянский словарь (по рукописям X–XI вв.). М., 1994, с. 317.

<sup>61</sup> Slovník jazyka staroslověnského. Praha, 1968–1998. Т. II, с. 164.

<sup>62</sup> Данные Индекса: Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.). Под ред. П. Динекова. Т. 2. Речник-индекс. София, 1993.

<sup>63</sup> Ефимова В. С. Старославянские отадъективные наречия с суффиксом **-ѣ** // "Советское славяноведение", 1991, № 3, с. 72–80, особенно с. 77–79.

<sup>64</sup> Подробнее о ситуативной совместимости вариантов как необходимого признака вариативности языковой системы см.: Калнынь Л. Э., Масленникова Л. И. Изучение вариативности в славянских диалектах. Исследования по славянской диалектологии. Вып. 3. М., 1996, с. 8–33, особенно с. 10.

<sup>65</sup> Вайан А. Руководство по старославянскому языку. М., 1952, с. 239.

<sup>66</sup> Сохранившийся в двух списках XIII в. болгарского извода текст Службы Мефодию с достаточным основанием приписывается Константину Преслав-

скому – см.: *Kostić D. Bugarski episkop Konstantin, pisac službe sv. Metodiju* // “Byzantinoslavica”, roč. 7. Praha, 1937–1938, s. 189–211, особенно с. 203–211. Интересно отметить, что, когда работа над настоящей статьей уже была закончена, Л. В. Мошковой и А. А. Туриловым был найден еще один, ранее неизвестный, текст Службы Мефодию, сочиненный, по предположению авторов открытия, одним из учеников Мефодия сразу после их изгнания из Моравии. В любезно предоставленном нам тексте этой Службы мы так же обнаружили ряд наречий на -о, образованных от аффиксальных и сложных прилагательных, но не на -ѣ. Статья Л. В. Мошковой и А. А. Турилова об открытии этого текста будет опубликована в № 4 ж. “Славяноведение” за 1998 г.

<sup>67</sup> Демина Е. И. Проблема динамики литературно-языковой нормы // Традиция и новые тенденции в развитии славянских литературных языков: проблема динамики нормы. Тезисы докладов международной научной конференции. Москва, 24–26 мая 1994 г. М., 1994, с. 6.

<sup>68</sup> См., например, Янович Е. И. Наречие в истории русского языка. Минск, 1978.

<sup>68</sup> Харалампиев И. Качествените наречия на -о и -ѣ в произведенията на Евтимий Търновски // “Трудове на Великотърновския ун-т «Кирил и Методий», т. 15, кн. 2. София, 1980, с. 11–135.

<sup>70</sup> Чурмаева Н. В. История наречий в русском языке. М., 1989, с. 97.

## *Глава 3*

### **ТРАДИЦИОННОЕ И НОВОЕ В ОПЫТАХ КОДИФИКАЦИИ НОРМ ЛИТЕРАТУРНОГО СЛОВАЦКОГО ЯЗЫКА ПЕРИОДА ЕГО СТАНОВЛЕНИЯ**

1. Возникновение и начальное развитие литературного словацкого языка, базирующегося на основе народно-разговорной речи, является характерной чертой эпохи словацкого национального возрождения (конец XVIII в. – середина XIX в.). Это было время смены общественно-экономического уклада, перехода от феодализма к капитализму, формирования словацкой нации, развития национальной идеологии и культуры словаков. Существенные сдвиги в общественно-политической, историко-культурной и социолингвистической ситуации оказали определяющее влияние на процесс формирования литературного словацкого языка, на становление и эволюцию его норм. Важную роль в этом процессе сыграл также субъективный фактор – нормализаторская и кодификаторская деятельность словацких "будителей", видных представителей словацкого национально-возрожденческого движения, которые вносили существенный вклад в отбор, обработку, употребление и закрепление в общественно-культурной практике относительно стабильных и унифицированных средств литературного словацкого языка<sup>1</sup>.

В хронологических рамках данной эпохи были последовательно разработаны и осуществлены три опыта кодификации литературных норм словацкого языка, связанные с именами А. Бернолака, Л. Штура, М. М. Годжи и М. Гатталы. В бернолаковской, штурковской и годжовско-гатталовской кодификациях можно проследить сложное переплетение и разное соотношение традиции и новаторства как в исходных принципах узаконения литературного языка словаков, так и в предлагаемых кодификаторами системах норм и правил орфографии, орфоэпии, фонетики и грамматики, а также в нормализаторских установках, касающихся развития и обогащения словарного состава литературного словацкого языка.

2. Прежде чем характеризовать основные вехи истории литературного словацкого языка и опыты его кодификации, относящиеся

к эпохе национального возрождения; следует хотя бы кратко осветить ситуацию со словацкой письменностью в предшествующий период.

Как известно, формирование и развитие словацкой народности и нации происходило в рамках Венгерского королевства как составной части Австрийской империи. До конца XVIII в. словаки не имели кодифицированной литературной формы родного языка. До этого они пользовались в письменности латынью (которая была в средневековой Венгрии официальным языком), чешским, немецким и венгерским языками (в Вост. Словакии спорадически применялся и польский язык). Особое положение при этом занимал чешский литературный язык<sup>2</sup>. С XV в. он выступал в роли литературно-письменного языка словаков<sup>3</sup>. В силу генетической и структурной близости словацким диалектам он был более понятен и доступен местному словацкому населению, чем неславянские письменные языки. Он успешно конкурировал с латынью в деловой и административно-правовой письменности, на нем публиковались также произведения религиозного, научного и литературно-художественного характера. С XVI в. чешский язык обретает еще одну важную функцию: в связи с реформацией он становится литургическим языком словацких протестантов и используется ими не только в письменной, но и в устной форме (напр. при совершении некоторых религиозных обрядов). Вместе с тем он все же не стал разговорным языком словаков. В повседневном общении простой народ и другие слои словацкого общества использовали главным образом местную диалектную речь, а также словацкие интердиалектные (наддиалектные) формации.

Характерной чертой эволюции языковой ситуации в Словакии в долилитературный (докодификационный) период было то, что наряду с другими языками (в том числе и с чешским) словаки применяли в письменности и родную речь. Это были разного рода попытки использовать словацкий язык без строгого кодифицированных норм в церковно-религиозной и светской литературе, в деловых документах и т. п. Например, в Вост. Словакии в 1750–1758 гг. словацкие кальвинисты опубликовали на местном земплинском диалекте (с применением венгерской орфографии) несколько церковных книг<sup>4</sup>; в середине XVIII в. монахами камалдульского ордена был сделан перевод Библии на словацкий язык; в Зап. Словакии католический священник Й. Й. Байза издал первый словацкий роман "Юноши

"Ренэ приключений и испытания" (1783) и др. На словацком языке издавна развивалось также устное народное творчество.

Важную роль в развитии языка и письменности словаков играли стихийно формирующиеся, начиная с XVI в., специфические наддиалектные словацкие идиомы, которые возникали в результате взаимодействия местных словацких говоров и чешского литературного языка и занимали между ними своего рода переходную ступень. По своим структурным признакам и функциональному назначению они уже не совпадали с простой диалектной речью. В устной и отчасти письменной форме ими пользовались образованные представители средних слоев словацкого общества (духовная и светская интеллигенция, мещане, мелкопоместное дворянство и др.) не только в повседневном общении, но и в более высоких сферах социальной коммуникации. В работах словацких лингвистов, а также в трудах несловацких ученых, посвященных проблемам истории литературного словацкого языка, для обозначения подобных формаций используется, как правило, термин "культурный язык" (Э. Паулини, К. Габовштикова, И. Котулич, Р. Крайчович, Я. Складана, Р. Оти, Н. А. Кондрашов и др.). По мнению Паулини, с XVI в. в Словакии стихийно формировался местный культурный язык как общесловацкое средство общения<sup>5</sup>. Он не обладал устойчивыми нормами, но тем не менее использовался в различных функциях и жанрах (административно-деловая письменность, религиозная сфера, литературано-художественное творчество и др.). В XVII–XVIII вв. он обретает в печатных изданиях относительно единую форму. Заметим, однако, что в научной литературе по этому вопросу дается обычно описание не единой системы общесловацкого культурного языка, а двух или трех его разновидностей: западнословацкого, среднесловацкого и восточнословацкого культурных языков. Мы предпочитаем называть указанные формации "культурными интердиалектами"<sup>6</sup>.

Следует подчеркнуть, что чешский литературный язык, используемый словаками, с самого начала испытывал на себе воздействие местной диалектной среды. В письменные памятники на чешском языке проникали словацкие языковые элементы – "словакизмы", происходила своеобразная словакизация чешского литературного языка, расшатывались его нормы (напр. заменялись типично чешские графемы ſ, ě; не было последовательной реализации

чешских перегласовок 'а > е, 'и > и; в глагольных формах презенса в 1 л. ед. числа нередко встречалось характерное словацкое окончание -т и т. п.<sup>7</sup>). Степень словакизации в разных письменных памятниках была неодинаковой<sup>8</sup>. Иногда она достигала довольно высокого уровня и "чешский язык постепенно становился каким-то внешним одеянием" словацкой языковой системы, проявляющейся на всех своих уровнях<sup>9</sup>. В ряде памятников с преобладающей чешской основой возникала модифицированная языковая форма смешанного характера, называемая обычно "словакизированным чешским языком" (*slovakizovaná čeština* или *poslovenčená čeština*)<sup>10</sup>.

Таким образом, если отвлечься от текстов на латыни, немецком и венгерском языках и иметь в виду только коммуникативные формации, тесно связанные со словацким этническим коллективом, то и в этом случае приходится констатировать наличие довольно широкого диапазона разновидностей словацкой письменности предвозрожденческого периода: от печатных книг и рукописей на чешском литературном языке до разного рода письменных памятников на культурном языке (культурном интердиалекте) или местном словацком диалекте. Между этими двумя полюсами располагались смешанные тексты с преобладающей чешской или словацкой языковой основой. Естественно, что в предвозрожденческий период, когда все более отчетливо проявлялось осознание частью словацкой интеллигенции национально-этнической самобытности своего народа, подобные "смешения" могли быть не только объективно-стихийным результатом многовековых контактов двух близкородственных языков, но и следствием сознательной деятельности, направленной на словакизацию письменности, на создание самостоятельного литературного словацкого языка.

В долилитературный (докодификационный) период истории словацкого языка в развитии языковой ситуации в Словакии прослеживаются две противоположные тенденции: с одной стороны, стремление к сохранению традиционного чешского литературного языка, с другой стороны, поиск путей формирования самостоятельного литературного языка, основанного на народно-разговорной речи словаков. Это было обусловлено влиянием существенного экстралингвистического фактора – разделением словацкого социума на два подсоциума по конфессиональному признаку: протестантский (евангелический) и католический. Между

словацкими протестантами и католиками в тот период существовало расхождение не только в вероисповедных, но и этно-культурных позициях.

В среде словацких протестантов получило распространение представление об этнической общности словаков и чехов, об их литературно-письменном единстве. В немалой степени этому способствовала длительная и прочная традиция использования словацкими протестантами чешского языка в литургической функции, что определяло их особый пиетет к этому языку. Если до XVII в. в текстах протестантских авторов еще были заметны следы спонтанной словакизации, то в процессе контрреформации (XVII в. – середина XVIII в.) ситуация меняется. Протестанты выступают за упрочение позиций чешского литературного языка в Словакии, за удержание его традиционных норм, восходящих к нормам, которые были зафиксированы в изданной чешскими протестантами "Кралицкой библии" (1579–1593). Поскольку, однако, процесс словацизации письменности был уже реальностью, с которой приходилось считаться, в их среде в начале XVIII в. зарождается концепция так наз. "словацко-чешского языка" (*lingua Slavico-Bohemica*)<sup>11</sup>. В этом плане весьма показательным является труд П. Долежала – *Grammatica Slavico-Bohemica* (Posonii, 1746). По мнению Э. Йоны, это была "систематическая грамматика литературного языка словаков"<sup>12</sup>. В ней автор стремился описать и в определенном смысле узаконить (кодифицировать) язык, который в первой половине XVIII в. образованные словаки, живущие в Венгрии, употребляли как свой в литературе и общественной жизни<sup>13</sup>. Фактически это был литературный чешский язык или, может быть, точнее, словацкий вариант этого языка. Несмотря на некоторые изменения, он, в сущности, сохранялся в том виде, в каком функционировал в эпоху так наз. "золотого века" чешской литературы и непосредственно после неё (например, в "Кралицкой библии", в сочинениях Д. А. Велеславина, Я. А. Коменского)<sup>14</sup>. В последнее время словацкие лингвисты уделяют значительное внимание анализу языка, описанного в грамматике Долежала, пытаясь точнее определить, какое место в ней занимают элементы словацкого языка<sup>15</sup>. Как утверждает Л. Дюрович, в рамках "словацко-чешского языка" как некоторой абстрактной модели Долежал различал и кодифицировал два "диалекта": чешский и словацкий (при этом имелся в виду чешский литературный язык и

культурный язык образованных словаков)<sup>16</sup>. Все же, что касается содержания понятия и термина "словацко-чешский язык", которые были предложены в первой половине XVIII в. видными культурными деятелями-протестантами (помимо Долежала, их употребляли М. Бел, Д. Крман), то здесь многое до сих пор является дискуссионным. Открытым остается, как нам представляется, и вопрос о роли постулированного ими "словацко-чешского языка" в истории словацкого литературного языка<sup>17</sup>. Так или иначе, идея общего литературного языка чехов и словаков получила широкое признание и у последующего поколения словацкой интеллигенции евангелического вероисповедания (И. Палкович, Я. Коллар, П. Й. Шафарик и др.).

Словацкие католики, в свою очередь, в большей мере ориентировались на признание этнокультурной самобытности словаков и выступали за применение в письменности родного языка (Г. Гавлович, Й. Й. Байза, Р. Гадбавни и др.). В их среде развитие идет в направлении создания самостоятельного словацкого литературного языка. Важной вехой на этом пути явился западнословакский культурный интердиалект (западнословакский культурный язык). Он использовался в устной и письменной форме и постепенно проникал в сферу католической литературы, особенно в таких культурных центрах, как Трнава и Братислава. Процесс словакизации (не только спонтанный, но и целенаправленный) зашел здесь так далеко, что в середине XVIII в. в католической письменности был представлен, как отмечал Э. Паулини, достаточно нормализованный словацкий язык, "который из-за существенных отклонений от чешского языка уже нельзя назвать лишь словакизированным чешским языком"<sup>18</sup>. Данный культурный идиом являлся в долiterатурный период существенным показателем этнической самобытности словаков и занимал в иерархии разновидностей словацкого языка самую высокую ступень. Иначе говоря, в соотнесении со словацкой народно-разговорной (диалектной) речью он был поднят на тот же уровень, что и чешский литературный язык у словацких протестантов<sup>19</sup>. О его функциональной значимости свидетельствует и тот факт, что он получил распространение и за пределами западнословакской диалектной области. Одним из ярких примеров его применения в письменной сфере может служить рукописный текст перевода Библии на

словацкий язык, осуществленный в 1750–1760 гг. монахами камалдульского ордена из Червеного Клаштора (на словацко-польском пограничье) – *Swaté Biblia Slowénské aneb Pjsma Swatého častka*, I.–II.<sup>20</sup>. Язык данного перевода определялся исследователями по-разному, однако в настоящее время признается, что это был культурный западнословацкий язык. Авторы и точное место перевода еще окончательно не установлены. Предполагается, что одним из переводчиков мог быть приор Ромуальд Гадбавни (1714–1780), автор рукописного латинско-словацкого словаря (*Syllabus dictionarii latino-slavorum...*, 1763)<sup>21</sup>. Во введении к этому словарю была помещена краткая грамматика, в которой описывались некоторые особенности словацкого языка. Письменные памятники камалдульских монахов явились "попыткой кодифицировать культурный западнословацкий язык и относятся к числу наиболее значительных проявлений сознательного формирования этого культурного языка"<sup>22</sup>. В целом, однако, его нормы еще не были кодифицированы<sup>23</sup>.

3. По мере роста национального самосознания словаков ими все более ощущалась и осознавалась потребность в литературном языке на основе родной речи. Эта социально-культурная потребность была реализована в эпоху национального возрождения. В течение относительно короткого исторического периода шел интенсивный процесс формирования самостоятельного литературного языка словаков. Правда, путь становления и поисков единых национальных литературно-языковых норм оказался сложным, непрямолинейным, порой внутренне противоречивым.

В эпоху национального возрождения произошли существенные изменения в макросистеме словацкого языка: наряду с диалектной речью, интердиалектными (наддиалектными) культурными идиомами зародилась и стала быстро развиваться новая разновидность – национальный *литературный* язык как особый социолингвистический и историко-культурный феномен. Именно тогда начинается история литературного словацкого языка в собственном смысле слова (в отличие от его предыстории, кратко охарактеризованной выше). В рассматриваемую эпоху в процессе "приближения" к *единым* нормам литературного словацкого языка возникали и функционировали, конкурируя и сменяя друг друга, разные словацкие литературные идиомы. В этом отношении применительно к истории литературного словацкого языка можно говорить о

"внешней" динамике нормы в понимании, предложенном Е. И. Деминой. По ее мнению, понятие "динамика нормы" может охватывать "не только эволюционные преобразования нормы в рамках конкретного литературно-языкового идиома, но и соотношение норм отдельных литературно-языковых идиомов как реальных коммуникативных единиц"<sup>24</sup>.

В аспекте "внешней" динамики нормы несомненный интерес представляет анализ соотношения бернолаковской, штурновской и годжовско-гатталовской кодификаций норм литературного словацкого языка. При изучении этой проблемы важно выяснить характер связи кодифицируемых словацких литературно-языковых норм с нормами и узусом предшествующей словацкой письменной традиции (прежде всего с нормами чешского литературного языка, употребляемого словаками, и с узусом западнословацкого культурного интердиалекта), а также соотношение традиционного и нового уже в рамках феномена "литературный словацкий язык".

С начальным этапом словацкого национального возрождения органически связана языковая реформа известного словацкого просветителя, католического священника Антона Бернолака (1762–1813), который разработал и практически осуществил первую научно обоснованную программу кодификации норм литературного словацкого языка. Эта реформа явилась закономерным продолжением стремлений словаков создавать и развивать литературу на своем родном языке. Бернолаку принадлежит целая серия лингвистических трудов, которая свидетельствует о его последовательных усилиях поднять словацкую речь до уровня литературного языка.

В 1787 г. он, опираясь на поддержку молодых коллег, анонимно издает свой первый труд "Филологическо-критическое рассуждение о славянских письменах"<sup>25</sup> с приложением краткого наставления по словацкой орфографии. В том же году орфография вышла отдельным изданием<sup>26</sup>. В 1790 г. была опубликована его "Словацкая грамматика"<sup>27</sup>, которая хотя и была задумана как учебное пособие, фактически явилась первой систематической грамматикой словацкого литературного языка. Проблемам словообразования был посвящен следующий труд Бернолака – "Этимология словацких слов"<sup>28</sup>. В этих работах Бернолак обосновал настоятельную необходимость самостоятельного словацкого литературного языка для дальнейшего развития

национальной культуры словаков, для просвещения народа и узаконил орфографические, орфоэпические и грамматические нормы этого языка. Большие усилия Бернолак прилагал также для сбора и нормативной лексикографической обработки словарного состава словацкого языка. Итогом его самоотверженного многолетнего труда в этой области стал шеститомный пятиязычный "Словацкий, чешско-латинско-немецко-венгерский словарь"<sup>29</sup>, изданный через двенадцать лет после смерти автора.

Таким образом, в трудах Бернолака была воплощена широкая программа кодификации норм литературного словацкого языка ("бернолаковщины"), охватывающая все ярусы его структуры<sup>30</sup>. В узаконенных им нормах, как будет показано ниже, нашли отражение и традиционные, и новые элементы.

В интересующем нас аспекте, пожалуй, наиболее показательны установки Бернолака в орфографии. Он хорошо понимал, как важно для литературного языка "неопределенный и неясный способ написания... свести к верно установленным правилам"<sup>31</sup>. Предпринятая Бернолаком реформа словацкой орфографии не означала полного отказа от предшествующей традиции: в значительной мере он упорядочил, систематизировал и унифицировал те черты и особенности правописания, которые были свойственны словацкой письменности (где отражались как "достаточно свободный и неунифицированный узус западнословацкого культурного языка"<sup>32</sup>, так и нормы – чистые или модифицированные – чешского литературного языка). Разрабатывая свои рекомендации в области орфографии, Бернолак, естественно, учитывал предшествующую грамматическую литературу, прежде всего чешскую и словацкую, но также и иноязычную<sup>33</sup>. Вместе с тем по ряду вопросов он занимал самостоятельную позицию, выступал как новатор и вдумчивый кодификатор.

Это проявилось уже в главных исходных принципах правописания<sup>34</sup> или, говоря его словами, в "общем и основном принципе всей орфографии"<sup>35</sup>. Бернолак отверг бытовавший тогда историко-этимологический принцип правописания и ввел принцип фонетический. Он считал, что правила правописания нужно выводить из произношения "образованных и ученых мужей". Поэтому в своей кодификации он опирался главным образом на принятый в то время в среде словацкой интеллигенции Трнавского культурного центра разговорный язык. Обращение к разговорной

речи помогло ему лучше выявить особенности словацкого языка по сравнению с чешским. Второй важный принцип бернолаковской кодификации орфографических правил заключался в стремлении каждый звук обозначать по возможности одной буквой. Наконец, следует отметить характерные для Бернолака черты рационализма, опору на здравый смысл при обосновании им вводимых изменений в области словацкой орфографии.

К числу основных характерных признаков бернолаковщины в сфере правописания относятся следующие:

Последовательное устранение из орфографической системы буквы *u* и употребление вместо нее буквы *i*. В "Филологико-критическом рассуждении о славянских письменах" Бернолак дает развернутую аргументацию в пользу этого нововведения. По его мнению, *u* и *i* обозначают в словацком языке один и тот же звук, поэтому нужно оставить лишь букву *i*, например, следует писать *Riba* (вм. *Ryba*), *pekní* (вм. *pekný*) и т. п. В западнословацкой письменности предшествующего периода подобное написание тоже встречалось, но оно было редким и непоследовательным, в частности, в произведениях Байзы использовались обе буквы, ср.: *wicwiačený, častý* и др.

Обозначение мягкости согласных *t*, *d*, *n*, *l* перед гласными *e* и *i* посредством диакритических значков над этими буквами: *t'e*, *d'e*, *še*, *t'i*, *d'i*, *ši*, *l'i*. Это была очень существенная орфографическая черта бернолаковской кодификации. В предшествующей западнословацкой письменности для передали мягкости согласных в подобных сочетаниях использовались разные способы, ср.: *ti/ty*, *t'/t*, *di/dy*, *d'/d* и т. п. Унифицированного, последовательно реализуемого написания тогда не было. В некоторых текстах в слогах *de*, *te*, *ne*, *le* мягкость согласного вообще не обозначалась особым диакритическим знаком<sup>36</sup>. Введенное Бернолаком правило могло свидетельствовать о том, что он в своей кодификации учитывал и некоторые характерные черты среднесловацких диалектов<sup>37</sup>.

Устранение иноязычных букв *q*, *x* и замена их сочетаниями согласных *kw* и *ks*, что соответствовало словацкому произношению, напр. *Kwintus* (вм. *Quintus*), *Ksenofon* (вм. *Xenophon*), ср. также *Kwartír*, *Kwetancia*, *Kserkses*. В этом отношении Бернолак мог

опереться на некоторые более ранние словацкие пособия по правописанию<sup>38</sup>.

Отказ от написания буквы **v** в начале слова или слога на месте произносимого закрытого *u* (так наз. *v-clausum*, характерного для письменности на чешском языке) и последовательное употребление в подобных случаях буквы *u*, напр. *učení* (вм. *učený*), *umrel* (вм. *umrel*), *neumrel* (вм. *neumrel*) и т. п. Подобное написание также спорадически встречалось в западнословацких печатных и рукописных памятниках (например, в произведениях Байзы, Гавловича и др.), но не было узаконено.

Отказ от ряда других традиционных богемизмов, бытовавших в западнословацкой письменности XVII–XVIII вв. Из графической системы словацкого языка были выведены буквы ě, ū, ſ, вместо них рекомендовалось писать e, ú, ſ. Буква j, употреблявшаяся для обозначения долгого *i*, была заменена написанием í, напр. *barví* (вм. *barwíj*), *číňi* (вм. *činj*) и т. п. Бернолак отверг также au на месте долгого *u*, в этой позиции он узаконил написание ú, напр. *múdrí* (вм. *maudrý*), *Lúka* (вм. *Lauka*) и др.

В соответствии с произношением различалось написание предлога *s* и префикса *s* как глухого или звонкого согласного, напр. *s kúpcom*, *s Pawlom*, *spísat'*, но *z Adamom*, *z otcom*, *z Olegom*, *Zber* и т. п.

Орфографическая система Бернолака содержала и некоторые традиционные элементы, характерные для чешского правописания и орфографического узуза словацкой письменности докодификационного периода. Так, было сохранено написание имен существительных, а также других частей речи, если они обозначали признаки лица, прописными буквами, напр. *Král*, *Telo*, *Dwere*, *Uct'iwi*, *Omi* и т. п.; обозначение звука [g] буквой ġ, напр. *ǵazda*, *ǵróf*, *drǵnút'* и др. В ряде случаев Бернолак, не порывая с традицией, упрощал и совершенствовал отдельные пункты системы словацкого правописания. В частности, это относится к правилу передачи звука [j] (йот) буквой g, напр. *gakobi*, *Gan*, *Gazik*, *geden*, *Góref*. Подобное написание встречалось и в чешских текстах (правда, непоследовательно, так как [j] передавался и при помощи буквы u, ср.: ау, еу, оу, цу), и в западнословацких письменных памятниках, где "йот" наряду с буквой g обозначался также буквами j и u.

Таким образом, разрабатывая и отстаивая свои рекомендации и правила в области орфографии литературного словацкого языка, Бернолак стремился устранить колебания, непоследовательность и чрезмерную усложненность, типичные для словацкой письменности предшествующего периода; упростить, унифицировать и стабилизировать орфографические нормы словацкого языка; в большей мере приспособить их к произношению образованных словаков; выявить и показать отличительные черты словацкого правописания по сравнению с чешским. При этом в предложенной им орфографической системе сочетались новые и традиционные.

Взаимодействие и переплетение традиционных и новых черт наблюдается также в кодификаторских установках Бернолака в сфере фонетики и грамматики. Вопросы фонетического строя литературного словацкого языка наиболее детально были разработаны Бернолаком в "Словацкой грамматике". В целом фонетическая система бернолаковщины характеризовалась западнословакскими диалектными признаками (уже в силу этого в ней наблюдалось и определенное сходство с фонетической системой чешского языка), что было особенно заметно в системе вокализма. В ней Бернолак отмечает пять гласных, которые могли быть краткими и долгими: *a* (á), *o* (ó), *e* (é), *i* (í). Характерными признаками бернолаковской кодификации являются отсутствие дифтонгов *ia*, *ie*, *uo* и специфического гласного á (широкого открытого e), типичных для среднесловакских говоров. На месте дифтонга *ia* выступают гласные á, a, напр. *čárka*, *trásť*, *Pradza* и др. или é, i, напр. в окончаниях им. п. мн. числа имен существительных муж. рода: *Sluhowé*, *Učit'elé*, *Kazat'eli*, *Učit'eli* (при этом формы на -i Бернолак считал более словацкими). Дифтонгу ie соответствуют гласные í, é и e, напр. *bídni*, *Cíť*, *wím* (примечательно, что в "Словаре" он признает их чешскими<sup>39</sup>), *Dérka*, *Strébro*, *rozséwat'*, *Okenko*, *Polewka* и т. п. Признавая, что дифтонг *uo* является характерным для произношения многих словаков, Бернолак все же не вводит его в нормативный комплекс, считая его неэстетичным. На месте этого дифтонга в бернолаковщине выступают гласные ó или o, напр. *Bóh*, *mág*, *rotost'*, *možet* и т. п.

В установленной Бернолаком фонетической норме гласному á соответствует гласный a, напр. *dewat'*, *pat'*, *swatí*, значительно реже гласный e, напр. *watší* и *wetší* (то есть здесь допускались варианты).

В системе консонантизма наряду с традиционными западнословацкими чертами, среди которых отметим, в частности, сочетание согласных šč (в отличие от среднесловацкого št'), напр. *ešče*, *Meščan*, *púščat'*, *ščedrí* и т. п., были представлены и характерные особенности среднесловацкого диалектного типа. К ним обычно относят рефлекс *dz* на месте праславянского \**dj*, напр. *cudzí*, *hrádza*, *medza* (ср. чеш. *cizí*, *hráz*, *mez*) и наличие мягких согласных *d'*, *t'*, *ň*, *l'*, напр. *Ded'ina*, *Med'*, *Oťec*, *Nebo*, *Bázeň*, *Misel'*, *ležat'*, *pal'it'*, *Pond'ełek* и др. Они были фактически впервые кодифицированы Бернолаком как элементы литературной нормы словацкого языка. Среднесловацкими по своему характеру были и узаконенные Бернолаком "полугласные" *r* и *l*, выступавшие в качестве слогообразующих, напр. *Hrst'*, *Smrt'*, *Wrch*, *mlčanliwí*, *Plt*, *Wlna*, *žltí*. В последнем случае Бернолак допускал вариантность нормы, признавая литературными и слова, в которых *l* выступал в сочетании с гласным, ср.: *Blcha* и *Blecha*, *Blucha*, *Čln* и *Člun*, *Slnce* и *Slunce*. Можно отметить, что в этом пункте он по-прежнему придерживался традиции западнословацкой письменности и чешского литературного языка.

Что касается кодификации грамматических норм, то здесь Бернолак в значительной мере учитывал традиционные установки и правила, зафиксированные в предшествующей чешской, словацкой и немецкой<sup>40</sup> грамматической литературе. Однако и в этой области Бернолак был достаточно самостоятелен. Он не всегда механически следовал принятым в предшествующих грамматиках правилам и образцам. В ряде случаев он вносил определенные исправления, уточнения и дополнения, стремясь выявить и подчеркнуть особенности грамматического строя словацкого языка.

В кодифицированной Бернолаком морфологической системе отчетливо просматривается западнословацкая диалектная основа. Заметно в ней и влияние чешского языка. Наряду с этим по отдельным грамматическим явлениям все же можно обнаружить черты среднесловацкого типа.

Из двенадцати образцов склонения имен существительных, описанных в "Словацкой грамматике", восемь представлены в чешских грамматиках предшественников Бернолака<sup>41</sup>. Во всех парадигмах имен существительных, в том числе и неодушевленных, Бернолак в соответствии с традицией приводит формы Зв.п., напр. *Slnko*, *Pane*, *Owco*, *Dube* и т. п. Западнословакими признаками

являются, в частности, окончания *-i* в Мест. п. ед. числа существительных муж. и сред. родов (а не *-e*, характерное для среднесловацких диалектов), напр. *w Klášteri, na Nosi, na Žel'ezi; -ú* в Твор. п. ед. числа существительных жен. рода. (ср. среднесловацкое *-ou*), напр. *Čnóst'ú, Osobú, Owsú*; краткое *-a* в окончаниях Им. и Вин. падежей существительных сред. рода типа *Kurata, Srdca* (оно было представлено в чешском языке, в добернолаковской западнословацкой письменности, а также в родном сланицком говоре Бернолака<sup>42</sup>). Среди традиционных чешских элементов отметим и форму Дат. и Мест. падежей ед. числа существительных жен. рода с характерным чередованием *h/z, ch/s, k/c*, напр. *Noha – Noze, Mucha – Muše, Láska – Lásce*, а также форму Зв. п. ед. числа существительных муж. рода, напр. *Odplat'it'eli! Spasit'el'i!* Зависимость от чешской грамматической традиции проявляется в кодифицированных Бернолаком формах деепричастий прошедшего времени, напр. *biwši, trhawši* (ед. число), *biwše, trhawše* (мн. число) и причастий настоящего времени, напр. *čítičí, milugicí, wolagicí*, которые практически не употреблялись в живой словацкой речи, и в ряде других явлений.

Отходом от традиции явилось узаконение Бернолаком морфологических черт общесловацкого или среднесловацкого типа. В именной системе к их числу можно отнести следующие:

окончание *-owi* в Дат. и Мест. п. ед. числа одушевленных существительных муж. рода, напр. *Pánowi, Sluhowi, Sudcowi*;

окончание *-och* в Мест. п. мн. числа существительных муж. рода, напр. *o Pánoch, o Sluhoch, o Sudcoch, na Duboch*;

окончание *-ot* в тв. п. ед. числа существительных муж. и сред. рода, напр. *Pápot, Sluhom, Sudcom, Dubom*;

окончание *-ow* в Род. п. мн. числа существительных муж. и сред. рода, напр. *Pánow, Sluhow, Sudcow, Dubow* и некоторые другие.

В отдельных типах склонения наблюдается взаимосвязь традиционных (чешских и западнословацких) и новых (сближающихся со среднесловацкими) окончаний. Так, в парадигме существительных сред. рода типа *Stawať* наряду с традиционным окончанием *-í* в качестве допустимых вариантов приводятся формы с окончаниями *-a* и *-i*, ср. в Им., Род., Дат., Вин. и Зв. падежах ед. числа *Stawať* и *Stawaña*, а в Дат.п. ед. числа *Stawať* и *Stawaći*. В данном случае

вариативные формы отличаются от среднесловацких диалектных форм (соответственно *stavanja*, *stavanju*) лишь фонетическим обликом, обусловленным отсутствием в бернолаковщине дифтонгов. Иногда, наоборот, в качестве вариативных указывались традиционные западнословацкие формы, напр. у имен прилагательных муж. и сред. рода в Мест. п. ед. числа наряду с основным нормативным окончанием *-ot* приводится окончание *-étm*, ср. *na reknom* и *na reknétm*, *na rápošom* и *na rápošétm*.

В кодифицированной Бернолаком системе спряжения также можно обнаружить некоторые черты среднесловацкого типа. Прежде всего это окончание *-m* в формах 1 лица ед. числа настоящего времени, которое было зафиксировано во всех шести выделенных в грамматике типах спряжения, ср.: *wolám*, *pláčem*, *sliším*, *segem*, *pígem*, *milugem*. Иначе говоря, ни в одном из типов спряжения не отмечается старые традиционные окончания *-u/-i*. В этом плане показательно также среднесловацкое окончание *-ú* в формах 3 лица мн. числа настоящего времени (на месте традиционного *-i*), напр. *wolagú*, *plačú*, *segú*, *pígú*, *milugú*. Только в третьем типе спряжения выступает окончание *-á*: *slišá*. К среднесловацким признакам можно отнести глагольные формы прошедшего времени с вставным *-o-*, напр. *gedol*, *kradol*, *pékol*, *trásol*, *wédol* и т. п.

Сочетание традиционного и нового прявилось и в "Словаре" Бернолака. В нем фактически впервые был реализован нормативный подход к описанию лексики литературного словацкого языка, что нашло отражение в отборе слов, в составе словарника и в разработке словарных статей<sup>43</sup>. Стремясь показать отличие словацкого языка от чешского и в области словарного состава, Бернолак вводит в данный лексикографический труд широкие пласти лексики из западнословацких диалектов и западнословацкого культурного интердиалекта, а также, правда в меньшей мере, среднесловацкую диалектную лексику. Но, конечно, не мог он отказаться и от лексического богатства развитого литературного чешского языка. При этом Бернолак включал в "Словарь" богемизмы не только прямо из чешских источников (словарей и текстов), но опосредованно также из западнословацкого культурного интердиалекта (западнословацкого культурного языка), который, как замечает К. Габовштакова, служил своеобразным фильтром для чешских слов, проникших в бернолаковщину<sup>44</sup>. Однако далеко не все чешские

слова, указанные в "Словаре", относились Бернолаком к нормативному корпусу. Как и собственно словацкие слова, они разграничивались по признаку литературное/нелитературное. Заметим, что стилистическая квалификация давалась им только нелитературным словам и выражениям. Значительное число богемизмов не имеет в "Словаре" никаких помет, следовательно, они оценивались Бернолаком как литературные. К этой группе относится прежде всего культурная лексика, которая активно употреблялась в западнословацкой письменности еще до реформы Бернолака, напр. *Cit*, *Doklad*, *Trída*, *mluwit'*, *pospíchat'*, *Zmisel* и т. п., ряд грамматических терминов, напр. *Dobromluwnost'*, *Počet*, *Prísłowo*, *Spúsob* и др., некоторые союзы, напр. *aneb(o)*, *kdiž* и др. Нелитературные чешские слова сопровождаются в "Словаре" пометой *boh.* (богемизм), которая ставилась перед чешским синонимом заглавного словацкого слова, напр. *Cinter*, *boh. Krchow*, *Hrbitow*; *Stádo*, *boh. Skot*; *rozséwat'*, *boh. rozsiwat'i* или значком + перед заглавным словом – богемизмом, напр. + *Barwa* v. (то есть см. – Л.С.) *Farba*; + *Krew* v. *Krw*, + *Misliwec* v. *Gajer*, *Lowec*, *Poł'owňik* и т. п.

Кодифицированная Бернолаком система норм явилась ярким отражением начального этапа формирования литературного словацкого языка. По своим характерным признакам она представляет собой систему западнословацкого типа. По признанию многих исследователей, её диалектной базой был западнословацкий культурный интердиалект (западнословацкий культурный язык). Бернолак узаконил первый вариант ( первую модель) литературных норм словацкого языка – бернолаковщину.

В кодификации Бернолака, как было показано, сочетались и взаимодействовали традиционные и новые элементы. Как справедливо подчеркивает В. Бланар, эта кодификация была "качественно новым явлением"<sup>45</sup> в развитии литературного языка в Словакии. Как показали новейшие исследования, бернолаковский литературный язык – это "нечто большее, чем только кодификация долитературного узуса"<sup>46</sup>, как утверждали в свое время Й. Влчек, С. Цамбель и др. Нормы, узаконенные Бернолаком, отличались от этого узуса. Иначе говоря, он не только фиксировал и описывал его, но и фактически создавал и предписывал свои нормы и правила. Не случайно некоторые лингвисты считают, что бернолаковская кодификация имела прескриптивный характер<sup>47</sup>.

Бернолаковщина, хотя и была задумана как единый литературный язык словаков, получила признание лишь в рядах словацких католиков. Протестанты продолжали пользоваться чешским литературным языком. Тем не менее первый вариант литературного словацкого языка постепенно входил в разные сферы общественно-культурной жизни. Бернолаковщина выступала прежде всего как книжно-письменный язык, на ней публиковалась религиозно-церковная и светская литература. Кроме того, до 50-х годов XIX в. она использовалась в качестве языка обучения в католических школах. В практическом пользовании бернолаковщины просуществовала около шестидесяти лет, став важным отправным пунктом дальнейшего развития литературного словацкого языка.

В сороковых годах XIX в. на кульмиационном этапе словацкого национально-возрожденческого движения был осуществлен второй опыт кодификации литературных норм словацкого языка. Группа молодых протестантов во главе с Людовитом Штуром (1815–1856) – политиком, литератором и языковедом – с целью преодоления существовавшего тогда разделения словаков "на две партии по отношению к языку"<sup>48</sup> провела новую языковую реформу. В общественно-культурную жизнь Словакии был введен новый вариант литературных норм словацкого языка – "штуровщина". Концепция нового литературного словацкого языка, обоснованная в научных и публицистических работах Штура и его соратников, явилась неотъемлемой частью общей программы борьбы прогрессивной словацкой интеллигенции за национально-культурное пробуждение родного народа, за его социальные и национальные права<sup>49</sup>. По замыслу Штура, новый литературный язык должен был стать решающим фактором национальной консолидации словаков. Развернутую аргументацию назревшей языковой реформы Штур изложил в опубликованной в 1846 г. книге "Словацкое наречие или необходимость писать на этом наречии"<sup>50</sup>.

Система литературно-языковых норм, базирующихся на живой народно-разговорной речи словаков, детальное научное описание грамматического строя нового литературного языка представлены в книге Штура "Наука словацкого языка"<sup>51</sup>.

Как и Бернолак, Штур стремился показать самостоятельность и самобытность словацкого языка в кругу славянских языков, его отличие даже от близкородственного чешского языка. Вместе с тем в штуровской кодификации неизбежно должно было проявиться

отношение не только к чешскому литературному языку, но и к той форме литературного словацкого языка – бернолаковщине, которая использовалась словацкими католиками. Следует подчеркнуть, что Штур положительно оценивал роль бернолаковщины и неоднократно отмечал, что в принципиальном плане он продолжает линию Бернолака. Однако он считал, что узаконенный Бернолаком литературный язык, опирающийся на западнословацкую диалектную основу, не имеет перспективы, поскольку не отражает "чистой" словацкой речи, представленной среднесловацкими диалектами. Штур рассматривал бернолаковщину как переходное связующее звено между чешским литературным языком и новым литературным словацким языком.

Сравнивая штуровскую и бернолаковскую кодификации, анализируя в первой элементы традиционного и нового, мы должны учитывать при этом две оппозиции: словацкое/чешское и словацкое/словацкое. Если говорить о первой оппозиции, то штуровская система норм отличается несомненно более последовательным расхождением с нормами чешского литературного языка, чем бернолаковская. Что касается второй оппозиции, то здесь, как будет показано ниже, между двумя словацкими литературными идиомами наблюдаются определенные сходства и различия.

Расхождение между бернолаковской и штуровской кодификациями было обусловлено тем, что они имели разные исходные диалектные базы. В эпоху национального возрождения в процессе становления литературных норм словацкого языка произошла смена диалектной основы литературного языка. В отличие от бернолаковщины штуровщина основывалась главным образом на среднесловацком культурном интердиалекте (среднесловацком культурном языке<sup>52</sup>). Выбор диалектной основы, сделанный Штуром, был не случайным. С одной стороны, в этом проявилось его романтическое представление о среднесловацких говорах как наиболее древних и самых чистых. С другой стороны, он мог опереться и на определенные объективные данные: наблюдения показывали, что среднесловацкие говоры занимают самую значительную часть словацкой территории, они наиболее употребительны и устойчивы. Некоторые среднесловацкие языковые элементы распространялись за пределы своей диалектной области, проникали в западнословацкие и восточнословацкие говоры. Другой причиной расхождения двух рассматриваемых кодификаций было

различие научно-лингвистических позиций Бернолака и Штура. Если Бернолак руководствовался идеями и принципами просветительского рационализма и опирался на опыт грамматистов XVII– XVIII вв., то Штур вдохновлялся идеологией романтизма и учитывал новые веяния в современной философии (в частности, диалектический метод Гегеля) и в науке о языке. Поэтому он проявлял себя и как языковед-романтик, подчеркивающий эмоционально-эстетические характеристики родной речи, сохранившей, по его мнению, в чистоте и свежести словацкий и славянский дух, необычайно полнозвучной и красочной<sup>53</sup>, и как строгий аналитик, делающий акцент на системное описание языка, на выявление его внутренних закономерностей. Новаторским был по преимуществу синхронный подход Штура к описанию языковой системы, его ориентация на живые продуктивные элементы языка<sup>54</sup>.

В целом кодификация Штура опиралась на основные среднесловацкие и общесловацкие языковые признаки. Наиболее подробно система норм штуровщины описана в книге Н. А. Кондрашова<sup>55</sup>. Мы отметим лишь некоторые типичные черты штуровской кодификации.

Вслед за Бернолаком Штур отстаивал фонетический принцип правописания<sup>56</sup>. Поэтому и он исключил из орфографической системы литературного словацкого языка букву *у*. "В нашем языке нет никакого *у*", подчеркивал Штур<sup>57</sup>. На месте этимологического *у*, *ý* он предлагал писать *i*, *í*, напр. *bit'* (а не *byt'*), *chiba* (а не *chyba*), *kívat'* (а не *kývat'*) и т. п.

Штур узаконил последовательное обозначение мягкости согласных *n*, *t*, *d* не только перед гласными *a*, *o*, *u*, *i*, *e*, но и перед дифтонгами *ja*, *je*, напр. *tňa*, *t'a*, *lud'om*, *nápadňík*, *raňe*, *t'i*, *ot'ec*, *úd'el* и *reňazmi*, *ňje len*, *host'ja* и т. п. Это дало возможность зафиксировать на письме характерное для среднесловацкой диалектной области противопоставление указанных согласных по твердости – мягкости.

Штур впервые узаконил обозначение долготы плавных "полугласных" *l*, *r*, выполняющих в словацком языке слогообразующую функцию. Выступая в позиции между согласными они могли быть краткими и долгими, напр. *hlbokí*, *vlk*, *prskota*, *klzat' sa*, *břkat'* и т. п.

Вместо букв *w*, *g*, *ȝ*, принятых в бернолаковщине, Штур кодифицировал соответственно буквы *v*, *g*.

В фонетической системе штуровщины были представлены пять кратких гласных *a*, *i*, *u*, *e*, *o* и соотносительные с ними долгие звуки. При этом кратким гласным *a*, *i*, *u*, как и в бернолаковской системе, соответствовали долгие *á*, *í*, *ú*, а кратким *o*, *e*, как правило, дифтонги *uo*, *ie* (в написании *uo*, *je*). Чешские и бернолаковские *ó*, *é* Штур считал ненормативными, неподходящими для словацкого языка, они допускались им в иностранных словах, напр. *trón*, *chór* и в нескольких словацких, ср. *céra*, *léka*. С кратким *a* кроме долгого *á* в штуровской норме мог соотноситься дифтонг *ia* (в написании *ja*). Таким образом, в отличие от Бернолака Штур кодифицировал типичные среднесловацкие дифтонги *ia*, *ie*, *uo*, напр. *vid'ja*, *prjat'el*, *mljeko*, *pject'*, *kuoň*, *tiuožete*. Наряду с этим он не признавал дифтонг *ü*, на его месте в штуровской кодификации находим долгое *ú*, напр. *božú*, *gnatetú*.

Примечательно, что в штуровской системе вокализма (как и в бернолаковской) не оказалось характерного для некоторых среднесловацких говоров звука *ä* (широкого открытого *e*, ср. нормативное произношение в современном словацком литературном языке: *mäso*, *pät'*, *vädnút'*, *žriebä*). Штур считал его "неистинным" дифтонгом и полагал, что он имеет тенденцию к исчезновению. На его месте в штуровщине выступали звуки *a* или *e*, напр. *svatí*, *zavazuje*, *najte*, *vegeň* (ср. совр. *sväti*, *zaväzuje*, *najmä*, *väzeň*).

В системе консонантизма Штур особо выделял аффрикаты *dz* и *dž*, подчеркивая отличие в этом пункте словацкого языка от чешского, ср.: *hádzat'*, *hádžem* и чеш. *házet*, *házejí*; *chuodza* и чеш. *chůze*.

В отличие от бернолаковщины и современного словацкого литературного языка в штуровщине отсутствовал типично среднесловацкий звук – мягкое *l* (*l'*). Считая его неэстетичным, "неприятным", недостаточно распространенным среди словаков, Штур полагал, что в "чистом словацком языке" его лучше избегать<sup>58</sup>. Характерной чертой штуровской литературной нормы было произношение *u* в глагольных формах прошедшего времени типа *buu*, *tau*, *volauu*, *robiu*. Правда, здесь допускались вариативные формы *bol*, *mal*, *volal*, *robil*.

Несомненной заслугой Штура было установление ритмического закона сокращения долгот, по которому в слове не могут следовать

друг за другом два долгих слога. Штур писал: "В чистом словацком языке нигде не встречаются два долгих слога, и даже если один из слогов по своему характеру должен быть долгим, он сокращается, когда ему предшествует долгий слог"<sup>59</sup>. Это правило, столь типичное для среднесловацких говоров, в бернолаковщине не действовало, зато в штуровском литературном языке оно имело достаточно последовательную реализацию, напр. *hádžu* (а не *hádžú*), *vjažu* (а не *vjažú*), *krásni* (а не *krásní*), *pjati* (а не *pjatí*). В этом пункте Штур также подчеркивал отличие словацкого языка от чешского.

В книге "Наука словацкого языка" особенно заметно стремление кодификатора к *синхронному* рассмотрению морфологических категорий и форм. Принимая во внимание предшествующую грамматическую традицию, опираясь прежде всего на труды чешских и словацких авторов (П. Долежала, Й. Добровского, А. Бернолака, В. Ганки, П. Й. Шафарика и др.), Штур вместе с тем при описании многих фрагментов грамматического строя занимал самостоятельную позицию и принимал вполне оригинальные решения. В этом отношении ему удалось выявить и впервые ввести в нормативный комплекс литературного словацкого языка ряд характерных признаков живой народно-разговорной словацкой речи. В целом узаконенная им система морфологических норм во многом совпадает с нормами современного словацкого литературного языка. Однако она имеет и ряд отличительных черт, подчеркивающих ее специфический характер. К их числу относятся, в частности, следующие:

Окончание *-ja* в Им. и Вин. падежах ед. числа имен существительных сред. рода, напр. *lámaňja*, *nárečja*, *svedomja*, *zdravja*.

Окончание *-mí*, *-amí* в Твор. п. мн. числа имен существительных, напр. *dveramí*, *medved'mí* и *medved'amí*, *prjat'elamí*, *rukamí*, *susedmí*, *volmí* и *volamí*. В случае действия ритмического закона конечный гласный сокращался, напр. *pánmi*.

Окончание *-ú* в Дат.п. ед. числа имен существительных сред. рода, напр. *staveňú*, *gnatetýú*. Как уже отмечалось выше, эта форма в качестве вариативной фиксировалась и Бернолаком.

Окончание *-io* в Им. и Вин. падежах ед. числа имен прилагательных, напр. *dobruo*, *potrebnuo*.

Дифтонг *je* в окончаниях косвенных падежей имен прилагательных, напр. *dobrjeho*, *dobrjetu*, *každ'jeho*, *ka žd'jetu*.

Формы инфинитива на *-uvat'*, напр. *obetuvat'*, *považiuvat'*, *ukaziuvat'*.

Указанные морфологические черты отличали штурровскую кодификацию от бернолаковской. Не совпадают они и с соответствующими формами современного словацкого литературного языка.

Можно было бы продолжить перечень сходных и отличительных черт штурровской и бернолаковской кодификаций, однако, как нам представляется, и рассмотренные выше свидетельствуют о том, что Штур, с одной стороны, в ряде пунктов поддерживал и развивал традицию бернолаковщины, а с другой стороны, своими новациями открывал пути дальнейшего развития норм литературного словацкого языка, способствовал их сближению с народно-разговорной речью словаков. Штуру удалось в большей степени, чем Бернолаку, показать специфику словацкого языка по сравнению с чешским. Как отмечал Э. Паулини, штурровские нормы в области правописания, фонетики и морфологии резко отличались от соответствующих норм чешского литературного языка<sup>60</sup>.

Следует, однако, подчеркнуть, что и в штурровщине сохранялась определенная связь с чешской литературно-письменной традицией. Наиболее заметно это проявилось в сфере лексики и терминологии. В словацких литературных текстах штурровского периода встречается немало лексических богемизмов, напр. *dělník*, *mluva*, *otázka* и т. п. Это определялось не только близостью словарного состава двух взаимодействующих языков, но и сознательными нормализаторскими установками Штура. Он, хотя и доказывал лексическое своеобразие словацкого языка (в частности, много примеров расхождений между словацким и чешским языками в словах и фразеологизмах приведено в его книге "Словацкое наречие..."), вместе с тем считал возможным и даже необходимым заимствовать и осваивать чешские слова, прежде всего те, которым в словацком языке не было соответствия. Например, Штур узаконил употребление таких чешских грамматических терминов, как *mluvnica*, *předložka*, *príslovka*, *sloveso*, *spojka*.

Словацкая научная терминология других областей знания также испытала заметное влияние чешского литературного языка<sup>61</sup>. В значительной мере это относится и к формированию в штурровский период словацкой абстрактной лексики. В качестве иллюстрации приведем следующие распространенные в словацком литературном

языке слова: *časopis, dejepis, dojem, kyslík, národopis, názor, nerast, pojem, pornatok, predstava, rozbor, sústava, účel, veda, výsledok, zámer, životopis*.

Кодификация Штура, как и кодификация Бернолака, носила прескриптивный характер<sup>62</sup>. В своей нормализаторской деятельности Штур еще не мог опираться на достаточно широкий корпус текстов на литературном языке среднесловацкого типа. Правда, еще до выхода в свет лингвистических трудов Штура, в которых были воплощены нормы нового литературного словацкого языка, уже были опубликованы первые произведения на этом языке (стихотворение Яна Францисци-Римавского "Своим сверстникам на память"<sup>63</sup> и второй том альманаха "Нитра", издаваемого Йозефом Мирославом Гурбаном<sup>64</sup>).

Языковая реформа Штура, узаконенная им система литературных норм словацкого языка были встречены современниками далеко неоднозначно<sup>65</sup>. Резко отрицательную реакцию штуровское нововведение вызвало со стороны многих чешских деятелей, обвинявших Штура и его соратников в разрыве традиционного чешско-словацкого литературно-языкового единства. Негативной была и позиция лидеров венгерского национально-освободительного движения, которые усматривали в языковой реформе Штура проявление панславистских тенденций, подрыв идеологии единой венгерской нации и угрозу венгерской государственности. По вопросу о новом литературном языке не было единогласия в рядах словацкой интеллигенции католического вероисповедания. Некоторые католики, правда, поддержали штуровское начинание, но значительная их часть по-прежнему выступала за применение бернолаковщины. Наконец, даже в лагере словацких протестантов реформа Штура не получила общей поддержки. Против ее выступили некоторые видные деятели старшего поколения (Я. Коллар, П. Й. Шафарик и др.). Восторженно приняла реформу протестантская молодежь, которая активно проводила ее в жизнь.

Применение штуровщины на практике, ее проникновение в различные общественно-культурные сферы сопровождалось острыми дискуссиями в отношении конкретных норм нового литературного языка, которые велись и в кругу ближайших сподвижников Штура. Некоторые из них, одобряя и принимая его реформу в принципе, не соглашались с ним по ряду пунктов кодификации.

Существенными расхождениями со взглядами Штура характеризовалась, в частности, позиция М. М. Годжи<sup>66</sup>. В своих опубликованных трудах он, горячо отстаивая принцип самостоятельности литературного словацкого языка и защищая от нападок штуровское нововведение, тем не менее оспаривал некоторые аргументы и кодификаторские установки Штура и предлагал свое решение ряда спорных вопросов правописания и морфологии<sup>67</sup>. Уже в первой книге "Потомок словацкий", изданной в 1847 г. еще на латинском языке, Годжа выступил как реформатор словацкого правописания, основываясь, в отличие от Бернолака и Штура, не на фонетическом, а на историко-этимологическом принципе. В трактовке ряда вопросов орфографии и фонетики он большое значение придавал фактам истории словацкого языка, а также сравнению словацкого языка с другими славянскими языками (прежде всего со старославянским, поскольку считал словацкий язык "дочерью старославянского кириллического языка"<sup>68</sup>). Естественно, все это сказывалось и на его рекомендациях, относящихся к ряду конкретных норм. В частности, Годжа считал необходимым восстановить написание *у* после твердых согласных (напр. *byt'* 'быть', но *bit'* 'бить'); включить в фонетическую систему литературного словацкого языка характерный для среднесловацких диалектов звук *ä*, напр. *patätáme, sebä, vätšina* и т. п. По вопросу о мягком *l* позиция Годжи совпала с бернолаковской, то есть он рекомендовал писать *Pol'ak, l'udsík, vuol'a* и т. п. Далее, в отличие от Штура он выступал за написание глагольных форм прошедшего времени с конечным *-l*, напр. *bol, dal, mal*. Правда, в его собственной литературной практике встречались и формы штуровского типа, напр. в книге "Доброе слово словакам..." (1847) находим формы *boi raujau, neutratiu, povedau, vistjevau sa* и др. Указанные предложения Гаджи впоследствии были приняты и стали составной частью системы норм литературного словацкого языка. Ряд других рекомендаций Годжи не нашел признания (в частности, использовать графему *ě* для обозначения мягкости предшествующей согласной, напр. *dělí sa, něho, tělo* и др., восстановить графему *w*, напр. *w našej wlasti*) и не получил отражения в последующих кодификациях. Мы отметили некоторые расхождения между Годжей и Штуром. Наряду с этим по многим пунктам Годжа придерживался штуровской кодификации, напр. при обозначении мягкости

согласных *n*, *t*, *d*: *kōňečňe*, *ňikdo*, *ňjekdo*, *pre umeňja*, *ešťe*, *prot'i*, *duch krest'anstva*, *d'ed'ič*, *vid'jet'* и т. п.

Отдавая приоритет идеи внутрисловацкой национальной интеграции на базе единого литературного языка, Штур допускал возможность изменения, уточнения и дополнения отдельных конкретных положений своей кодификации. При решении некоторых дискуссионных вопросов (особенно в сфере правописания) он стремился опираться на согласованное коллективное мнение, проявляя готовность идти на компромисс. В 1847 г. на заседании культурно-просветительного общества "Татрин" была достигнута принципиальная договоренность между словацкими протестантами и католиками по вопросу о едином литературном словацком языке. И хотя некоторые вопросы орфографии оставались открытыми (предполагалось, что они будут решены с учетом предложений Годжи, М. Гатталы и других участников дискуссии), создались реальные предпосылки для превращения штуровщины в общенациональный литературный язык словаков. Однако реализовать принятное решение и воплотить его в кодификаторских трудах удалось лишь после буржуазной революции 1848–1849 гг., когда была осуществлена новая попытка узаконения литературных норм словацкого языка, называемая обычно реформой М. М. Годжи – М. Гатталы<sup>69</sup>.

Эта реформа была предпринята в новой общественно-политической и языковой ситуации, в очень сложное для развития словацкого общества время. Особенно тяжелым было первое десятилетие после революции, которое по имени австрийского министра внутренних дел А. Баха называется баходским периодом. В словацких областях империи насаждалась суровая военная диктатура. Стремление центральных австрийских и местных венгерских властей помешать дальнейшему развитию словацкого национально-освободительного движения отчетливо проявлялось и в культурно-языковой сфере. Общим государственным языком был объявлен немецкий язык. Значительно усилились позиции венгерского языка, который в качестве официального использовался в административных органах, в школе и т. п. Вместе с тем в среде словацких протестантов продолжал употребляться традиционный чешский язык, а в некоторых католических школах использовалась бернолаковщина. Все это вело к тому, что сфера употребления

штуровщины заметно сокращалась. Ситуация еще больше осложнилась, когда в 1850 г. по рекомендации Я. Коллара – в то время доверенного лица венского двора – в словацких областях в качестве языка администрации, прессы и школьного обучения был введен так наз. "старословацкий язык" (*staroslovenčina*). Фактически это был традиционный чешский литературный язык, строй которого был несколько модифицирован за счет ряда фонетических, морфологических и словообразовательных словакизмов, напр. *ú* на месте чешского *ou*: *súdce*, *prúd*; приставка превосходной степени *paj-* вместо чешской *nej-*: *pajrěknější*, *pajšíce*; суффиксы абстрактных имён существительных *-stwo*, *-ctwo* вместо чешских *-ství*, *-ctví*: *biskupstwo*, *samopanstwo*, *rozkolnictwo* и др. На этом языке, который стал конкурентом штуровщины, издавались газета и журнал, публиковались официальные распоряжения и документы, велось обучение в ряде народных школ и гимназий. В 1850 г. вышло из печати учебное пособие по "старословацкому языку"<sup>70</sup>, содержащее описание орфографических и грамматических правил.

В этих крайне неблагоприятных условиях судьба штуровщины буквально висела на волоске, какое-то время даже казалось, что "штуровский литературный язык" означал лишь краткий эпизод в истории литературного языка<sup>71</sup>. В словацкой письменности в рассматриваемый период трудно было выявить достаточно устоявшийся литературный узус, поскольку в текстах, даже относящихся к одному определенному литературному идиому, наблюдались широкая вариативность, колебания и непоследовательность "норм". Ряд изданий неоднократно менял свой языковой "облик", появляясь на свет то на штуровщине, то на "старословацком языке", то снова на штуровщине, но несколько видоизмененной. Неудивительно, что в этих обстоятельствах с новой силой встал вопрос о едином литературном словацком языке, особенно актуальной стала задача преодоления разногласий по этому вопросу. Выработка компромиссной позиции в отношении литературных норм словацкого языка все больше осознавалась как историческая необходимость.

Патриотически настроенная словацкая интеллигенция обеих конфессий предприняла решительные шаги по преодолению существующей литературно-письменной "разноголосицы", по узаконению единых норм литературного словацкого языка, по восстановлению его коммуникативной и общественно-культурной роли.

В октябре 1851 г. в Братиславе на совещании ведущих представителей протестантского и католического течений национально-возрожденческого движения были обсуждены и официально утверждены единые литературные нормы словацкого языка. Было принято решение вернуться к историко-этимологическому принципу правописания и внести определенные конкретные поправки к штурковской кодификации. В начале 1852 г. была анонимно издана "Краткая словацкая грамматика"<sup>72</sup>, которая узаконила принятые на совещании нормы. Ее автором был католический священник, теолог и филолог – Мартин Гаттала (1821 –1903), который наряду с А. Бернолаком и Л. Штуром занимает достойное место в истории литературного словацкого языка и признается одним из видных кодификаторов его норм во второй половине XIX века<sup>73</sup>. Предисловие к его грамматике подписали, документируя достигнутое согласие, представители протестантов и католиков (М. М. Годжа, Й. М. Гурбан, Л. Штур, Я. Паларик, О. Радлинский и Шт. Заводник).

"Краткая словацкая грамматика" зафиксировала результаты так наз. годжовско-гатталовской языковой реформы. Несомненной заслугой Гатталы является то, что она носила ярко выраженный нормативный характер. В ней, естественно, отразились его общелингвистические взгляды, а также понимание им путей дальнейшего развития литературного словацкого языка.

Свои представления о фонетике и грамматическом строе словацкого языка, о словацкой орфографии Гаттала изложил несколько ранее в сравнительной грамматике словацкого и чешского языка, изданной на латыни в 1850 году<sup>74</sup>. Уже тогда он полемизировал со Штуром, не соглашался с рядом конкретных предписаний и правил его кодификации, признавал некоторые предложения Годжи, высказывал свои дополнения и уточнения. При этом он пытался показать, что отстаиваемый им "облик" литературного языка отличается как от чешского и "старословацкого" языка, так и от бернолаковщины и штурковщины. Подобная позиция Гаттала нашла свое отражение и в "Краткой словацкой грамматике". В ней наблюдается сложное переплетение традиционных и новых элементов кодификации. Она позволяет говорить о том, что Гаттала отказался от радикализма Штура и сознательно пошел на "вторичное" сближение с традиционными нормами чешского литературного языка. В его грамматике проявляется и преемственность по отношению к некоторым особенностям бернолаковщины.

Для гатталовской кодификации показательны следующие признаки:

Восстановление историко-этимологического принципа правописания. Это отличает кодификацию Гаттала от кодификаций Бернолака и Штура и сближает узаконенную им систему словацкого правописания с чешской орфографической системой.

Гаттала вновь ввел графему *y*. Он считал, что Бернолак допустил ошибку, исключив из словацкой азбуки букву *y*, и что Штур не исправил эту ошибку<sup>75</sup>. В "Краткой словацкой грамматике" были довольно четко определены позиции употребления *y* (практически как в чешском языке) и тем самым восстановлено традиционное соотношение графем *i*, *í* и *y*, *ý*.

На месте штуровских дифтонгов *ja*, *je* было узаконено написание *ia*, *ie*. Вместо дифтонга *uo* предписывалась графема *ó* (при этом, правда, допускалось двоякое произношение: как долгого ó и как дифтонга *uo*, напр. *móžem*, *kóň* и *miogétem*, *kuoň*).

Были восстановлены некоторые бернолаковские предписания: включение в фонетическую и орфографическую системы литературного словацкого языка мягкого *l* (*l'*); узаконение глагольных форм прошедшего времени на *-l*, напр. *mal*, *robil*, *volal* (то есть были отменены формы на *-u*, характерные для штуровской кодификации).

Вместо штуровских среднесловацких окончаний в склонении имен прилагательных *-io*, *-jeho*, *-jeti* и т. д. снова были кодифицированы окончания *-é*, *-ého*, *-éti...*, восходящие к чешскому языку и бернолаковщине, напр. *dobré*, *dobrého*, *dobrému* и т. п.

Характерное для штуровщины окончание *-ja* в Им. п. ед. числа существительных сред. рода было заменено окончанием *-ie*, напр. *nárečie*, *utenie*.

В парадигме склонения имен существительных были узаконены традиционные формы Зв. п., напр. *Chlape!* *Dube!*

В форме Им. п. ед. числа существительных сред. рода фиксировались вариативные окончания *-a* и *-á*, напр. *dela*/*delá*, *krosna*/*krošná*.

В форме Мест. п. мн. числа имен существительных параллельно с основным окончанием *-och* (напр. *chlapoch*, *duboch*) допускалось окончание *-iech* с чередованием конечного задненебного согласного (напр. *mnich* – *o mnisiech*, *potok* – *o potociech*).

Кроме того, грамматика Гатталы узаконила ряд новых положений и правил. В частности, впервые в фонетическую и орфографическую норму литературного словацкого языка были введены звук и буква *ä* (напр. *päť*, *svätý*, *naďtä*), чего не было ни в бернолаковской, ни в штурковской кодификации, но на чем настаивал, как отмечалось выше, Годжа.

Наконец, следует подчеркнуть, что в системе норм, узаконенных Гатталой, нашли подтверждение многие пункты штурковской кодификации.

Годжовско-гатталовская реформа не означала отказа от штурковского литературного языка, она была направлена на исправление, модификацию некоторых его норм, главным образом в сфере правописания и отчасти в области фонетики и грамматики. В целом она не поколебала среднесловацкую основу штуровщины, но, благодаря принятым "исправлениям", (в научной литературе в связи с этим иногда используется термин "исправленная штуровщина"), привела к заметному сближению литературного словацкого языка с чешским, а также с предшествующей словацкой письменной традицией, в том числе и с письменностью на бернолаковщине.

По поводу гатталовской кодификации в литературе высказывались и высказываются разные точки зрения. Одни авторы считают, что она представляет собой синтез бернолаковщины и штуровщины, другие полагают, что в данном случае следует говорить о синтезе штуровщины и чешского языка или о синтезе штуровщины, бернолаковщины и "старословацкого" языка.

Как бы ни трактовать суть гатталовской кодификации, несомненно одно: она не была столь последовательной в плане верности единому подходу, как это ярко проявлялось в кодификации Штура. Синхронное описание в ней сочетается с элементами диахронии. Последнее обусловлено лингвистическими взглядами Гатталы и Годжи, характерной для них исторической и сравнительно-исторической ориентацией (ведь введение в систему вокализма звука [ä] в значительной мере определялось стремлением найти словацкое соответствие русскому "я"). В ряде пунктов гатталовская кодификация свидетельствует о принятии предложений компромиссного плана, удовлетворяющих сторонников разных направлений словацкого национального движения. В этом случае на передний план выступали не требования целостности системы кодификации, а

импульсы экстравербальные – необходимость учета сложившейся общественно-политической, социокультурной и языковой ситуации, желание добиться в этих условиях единства словаков по вопросу о национальном литературном языке. Не случайно в кодификации Гаттала заметно сближение норм "исправленного" литературного словацкого языка не только с нормами бернолаковщины, но и с нормами традиционного чешского литературного языка. Сближение с чешским языком проводилось вполне сознательно и мотивировалось, в частности, тем, что в древности чешский и словацкий языки фактически представляли одно целое, что словаки и чехи в течение ряда веков использовали общий литературно-письменный язык. Гаттала, конечно, понимал, что вернуться к такому состоянию уже нельзя, но он считал важным и необходимым по-возможности приблизить литературный словацкий язык к чешскому.

Следует также учитывать, что в своей кодификаторской деятельности Гаттала в большей мере, чем Бернолак и Штур, мог опираться на существующий словацкий литературно-письменный узус, который, правда, в силу отмеченных выше обстоятельств не был достаточно унифицированным. Иначе говоря, многие свои решения он принимал в результате анализа реальной литературной практики. В этом смысле его кодификация была не столько прескриптивной (как Бернолака и Штура), сколько дескриптивной.

Кодификация Гаттала на многие годы определила основное направление дальнейшего развития литературного словацкого языка. Многие из узаконенных им норм и правил сохранились и в современном словацком литературном языке.

4. Одной из характерных особенностей истории словацкого языка является формирование в эпоху национального возрождения качественно новой его разновидности – *литературного* идиома. В рассмотренных выше кодификационных опытах А. Бернолака, Л. Штура, М. М. Годжи и М. Гаттала ярко отразилась внешняя динамика норм этого идиома, поскольку они были представителями конкретных форм (моделей) национального литературного языка словаков, которые возникали, функционировали и конкурировали в процессе становления его единых литературных норм.

Как показал сравнительный анализ трех кодификационных систем, в них по-разному складывалось соотношение традиционных и инновационных элементов. Учитывая специфические условия

формирования словацкого литературного языка, при изучении данного вопроса рассматривались два взаимосвязанных аспекта: во-первых, выяснялись связь и степень преемственности кодифицируемых словацких литературных норм с нормами и узусом словацкой письменности долитературного (докодификационного) периода (прежде всего с нормами чешского литературного языка, который с XV в. функционировал у словаков в качестве литературно-письменного средства, а также с узусом западнословацкого культурного интердиалекта); во-вторых, выявлялось соотношение традиционного и нового уже в рамках эволюции феномена "литературный словацкий язык".

Во всех трех кодификациях обнаруживается определенная связь с нормами чешского литературного языка. Словацкие кодификаторы, с одной стороны, стремились "оттолкнуться" от его норм, выявить и подчеркнуть специфику словацкого языка, с другой стороны, для некоторых из них чешские литературно-языковые нормы являлись своеобразным отправным пунктом, образцом или моделью<sup>76</sup>.

Языковая реформа Бернолака была первой целенаправленной попыткой перейти в литературно-письменной сфере с чешского языка на самостоятельный словацкий литературный язык. Однако в узаконенной им системе литературных норм (бернолаковщине), несмотря на сознательный отказ от явных черт и признаков чешского языка, все же наблюдалась несомненная связь с его нормами и с чешской грамматической традицией. Бернолаковщина характеризовалась также преемственной связью с узусом предшествующей западнословацкой письменности, поскольку ее опорной базой был западнословацкий культурный интердиалект. Все это определяло ряд традиционных черт и признаков в нормативной системе, узаконенной Бернолаком. Вместе с тем, и в исходных принципах кодификации, и в описании многих конкретных норм и правил он выступал как новатор.

Кодификация Штура, которая базировалась на среднесловацком культурном интердиалекте, явилась репрезентантом нового варианта (новой модели) литературных норм словацкого языка (штуровщины). Она характеризовалась более глубоким расхождением с нормами чешского литературного языка (в правописании, фонетике и морфологии). В ней в большей мере были отражены специфические черты словацкого литературного языка. В этом плане система норм, узаконенных Штуром, отличалась рядом новых

оригинальных элементов. Однако в сфере нормативной лексики и особенно терминологии и в штуровщине сохранялась определенная связь с чешским литературным языком. Вместе с тем применительно к штуровской кодификации можно говорить о соотношении традиционного и нового уже в аспекте эволюции норм литературного словацкого языка. Несмотря на закономерные расхождения между бернолаковской и штуровской кодификациями, обусловленные сменой диалектной основы литературного языка, между ними была и определенная преемственность. Штур вслед за Бернолаком утверждал фонетический принцип правописания, принял и развил ряд его конкретных нормативных установок. Наряду с этим по сравнению с бернолаковской кодификацией в узаконенной Штуром системе литературного словацкого языка было немало новых элементов, что обуславливалось не только иной диалектной основой, но и более строгой и последовательной ориентацией на синхронное описание норм.

Годжа и Гаттала поддержали в принципиальном плане штуровское нововведение, но выступили против некоторых его исходных теоретических принципов и против ряда узаконенных им норм и правил. В системе литературных норм, кодифицированных Гатталой в "Краткой словацкой грамматике", была представлена так наз. "исправленная" штуровщина. По некоторым параметрам она означала отход от радикальных и поледовательных кодификаторских установок Штура и знаменовала "вторичное" сближение с традиционными нормами чешского литературного языка. Кроме того, в гатталовской кодификации наблюдалась значительная связь с кодификацией Бернолака. Гаттала восстановил ряд конкретных норм бернолаковщины, отвергнутых ранее Штуром. Тем не менее Гаттала поддержал основные пункты штуровской кодификации, сохранив ее среднесловацкую диалектную базу. В узаконенной им системе норм были также некоторые новые и традиционные положения и звенья, отсутствовавшие в кодификациях Бернолака и Штура (в частности, в отличие от них он, снова ввел традиционный историко-этимологический принцип правописания). Таким образом, в гатталовской кодификации было представлено более сложное переплетение традиционных и новых черт, отражавшее ее компромиссный характер.

В целом рассмотренные выше опыты кодификации литературных норм словацкого языка, предпринятые в эпоху нацио-

нального возрождения, отражали сложный, порой внутренне противоречивый, процесс постепенного становления норм единого литературного словацкого языка.

<sup>1</sup> Подробнее об этом см.: Смирнов Л. Н. Формирование словацкого литературного языка в эпоху национального возрождения // Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М., 1978, с. 86–157.

<sup>2</sup> См., в частности: Pauliny E. Čeština a jej význam pri rozvoji slovenského spisovného jazyka a našej národnej kultúry // O vzájomných vzťahoch Čechov a Slovákov. Bratislava, 1962, s. 99–124; Habovštíaková K. Podiel češtiny na formovaní Bernolákovej spisovnej slovenčiny // Acta Universitatis Carolinæ. Slavica Pragensia. IV. 1962, s. 551–557.

<sup>3</sup> Э. Паулини называет его "письменной формой литературного языка словацкой народности" (Pauliny E. Dejiny spisovnej slovenčiny od začiatkov po súčasnosť. Bratislava, 1983, s. 77) или "культурной формой местного языка" (s. 78). По его мнению, чешский литературный язык понимался как иерархически высшая форма по отношению к местным словацким диалектам (ср. s. 78).

<sup>4</sup> См.: Švagrovský Št. Zemplínske kalvínske tlače v doterajších výskumoch // "Jazykovedné štúdie". XVIII. Bratislava, 1983, s. 21–37.

<sup>5</sup> См.: Pauliny E. Dejiny spisovnej slovenčiny. I. Bratislava, 1966, s. 82. Я. Складана говорит о "долитературном культурном языке". Она пишет: "С XVI в. начинают формироваться долитературные культурные языковые образования, которые возникали на словацкой территории на базе местного культурного разговорного узуса и местных говоров, причем они в большей или меньшей мере опираются на чешский литературный язык" (Skladaná J. Významný kodifikačný pokus v predspisovnom období slovenčiny // "Slavica Slovaca", roč. 21, 1986, čís. 3, s. 257).

<sup>6</sup> О нашем понимании "культурного интердиалекта" см.: Смирнов Л. Н. О роли культурных интердиалектов в процессе формирования славянских литературных языков // Славянские культуры в эпоху формирования и развития славянских наций XVIII–XIX вв. М., 1978, с. 116–121; Он же. К вопросу об интердиалектной основе современного болгарского литературного языка // Болгарская культура в веках. Тезисы докладов научной конференции. Москва, 26–27 мая 1992 г. М., 1992, с. 45–47; Он же. Литературный словацкий язык эпохи национального возрождения: теоретические проблемы становления и развития // Славянское языкознание. XI Межд. съезд славистов. Братислава, сентябрь 1993. Доклады российской делегации. М., 1993, с. 144–147.

<sup>7</sup> См.: *Dorul'a J.* Jazyková situácia na Slovensku v čase vzniku kamaldulského prekladu Biblie // O prekladoch Biblie do slovenčiny a do iných slovanských jazykov. Bratislava, 1997, s. 12.

<sup>8</sup> О соотношении чешских и словацких языковых черт в письменности добернолаковского периода см.: *Dorul'a J.* O češtine na Slovensku v 16. a 17. stor. a o vývine slovenskej slovnej zásoby // "Slavica Slovaca", roč. 2, 1967, čís. 1., s. 23–35; čís. 4., s. 364–378; *Habovštiaková K.* O vztahu slovenčiny a češtiny v slovenských písomnostiach zo XVI.–XVIII. storočia // "Slavia", roč. 37, 1968, seč. 2, s. 235–252; *Krajčovič R.* O štýloch slovenčiny v predspisovnom období // Slovakistické štúdie. Matica slovenská. 1985, s. 239–245.

<sup>9</sup> *Dorul'a J.* Tri kapitoly zo života slov. Bratislava, 1993, s. 24.

<sup>10</sup> В связи с этим иногда говорят об "определенном стандарте чешского языка в Словакии" (*Dorul'a J.* O češtine na Slovensku v 16. a 17. stor..., s. 24) или о "словацком варианте стандартного чешского языка" (*Brozovič D.* Česki standardní jezik kao etalon u doba slavenskih narodnih preporoda // Slovanské spisovné jazyky v době obrození. Praha, 1975, s. 41).

<sup>11</sup> Л. Дюрович отмечает: "В начале XVIII в. в Словакии существует необычайно сильная группа интеллигентуалов, которая в своей лингвистической теории постулировала и на практике реализовала язык, который называли lingua Slav(ic)o-Bohemica или Slavico-Bohemisans" (*Ďurovič Ľ.* Vývin kodifikácie spisovnej slovenčiny pred Bernolákom // "Slovenská literatúra", roč. XXXVII. 1990, 1, s. 56).

<sup>12</sup> *Jóna E.* Dielo Pavla Doležala z hl'adiska jazykovedy // Pavel Doležal. Pedagóg a spisovateľ (1700–1778). Bratislava, 1978, s. 66. Следует подчеркнуть, что здесь не случайно говорится о "литературном языке словаков", а не о "словацком литературном языке".

<sup>13</sup> Ср.: *Jóna E.* Op. cit., s. 74.

<sup>14</sup> Там же.

<sup>15</sup> См.: *Krajčovič R.* O slovenčine v Doležalovej gramatike // Práce z dějin slavistiky. X. Praha, 1985, s. 179–190; *Dorul'a J.* Vztah češtiny a slovenčiny v gramatike Pavla Doležala a v diele Mateja Bela // Prekursorzy słowiańskiego językoznawstwa porównawczego. Wrocław, Kraków, Gdańsk, Łódź, 1987, s. 201–207; *Ďurovič Ľ.* Op. cit., s. 56–66.

<sup>16</sup> Ср.: *Ďurovič Ľ.* Op. cit., s. 62, 63.

<sup>17</sup> Например, Л. Дюрович рассматривает его как промежуточную стадию на пути перехода от чешского литературного языка к словацкому литературному языку (указ. соч., с. 56, 65).

<sup>18</sup> *Pauliny E.* Dejiny spisovnej slovenčiny. I., s. 78.

<sup>19</sup> Ср.: *Dorul'a J.* Jazyková situácia na Slovensku..., s. 16.

<sup>20</sup> См. об этом: *Pauliny E.* Na okraj kamaldulského Písma // "Verbum", roč. I.

Košice, 1946/1947, čís. 6–7, s. 272–276; Смирнов Л. Н. Из истории перевода Библии на словацкий язык // МАИРСК. Информационный бюллетень, вып. 26. М., 1992, с. 50–51.

<sup>21</sup> В новейшей литературе его называют "Камалдульским словарем", см.: Skladaná J. Kamaldulský latinsko-slovenský slovník z roku 1763 // O prekladoch Biblie..., s. 53–70.

<sup>22</sup> Skladaná J. Významný kodifikačný pokus..., s. 263.

<sup>23</sup> При теоретическом осмыслиении понятия "культурный интердиалект" мы отмечали, что одним из его признаков является, как правило, некодифицированность норм, см.: Смирнов Л. Н. О роли культурных интердиалектов..., с. 121; Он же. К вопросу об интердиалектной основе..., с. 47. При анализе периода XVI в.–XVIII в. в истории словацкого языка к аналогичному выводу приходит Я. Складана, ср.: "Характерной чертой долитературного культурного языка является его некодифицированность" (Skladaná J. Op. cit., s. 257).

<sup>24</sup> Демина Е. И. Проблема динамики литературно-языковой нормы // Традиция и новые тенденции в развитии славянских литературных языков: проблема динамики нормы. Тезисы докладов международной научной конференции. Москва, 24–26 мая 1994 г. М., 1994, с. 3.

<sup>25</sup> Dissertatio philologico-critica de litteris Slavorum. Posonii, 1787.

<sup>26</sup> Slavonicae per regnum Hungariae usitate compendiosa simul, et facilis Orthographia. Posonii, 1787.

<sup>27</sup> Bernolák A. Grammatica slavica. Posonii, 1790.

<sup>28</sup> Bernolák A. Etymologia vocum slavicarum. Tyrnaviae, 1791.

<sup>29</sup> Bernolák A. Slowár Slowenskí, Česko-Lat'insko-Nemecko-Uherskí. T. I.–VI. Budaee, 1825–1827.

<sup>30</sup> Более подробно о языковой реформе Бернолака и его просветительской деятельности см.: Habovštiaková K. Bernolákovо jazykovedné dielo. Bratislava, 1968; Смирнов Л. Н. О роли Антона Бернолака в истории словацкого литературного языка // "Вопросы языкоznания". 1969, № 6, с. 103–113; Он же. Формирование словацкого литературного языка..., с. 93–113; Považan J. Bernolák a bernolákovci. Martin, 1990.

<sup>31</sup> Gramatické dielo Antona Bernoláka. Na vydanie pripravil a preložil J. Pavalek. Bratislava, 1864, s. 23.

<sup>32</sup> Kotulič I. Bernolákovčina a predbernolákovská kultúrna slovenčina // Pamätnica Antona Bernoláka. Zostavil Juraj Chovan. Martin, 1992, s. 81.

<sup>33</sup> См.: Habovštiaková K. Op. cit. s. 75–76.

<sup>34</sup> О новом подходе Бернолака к решению многих вопросов орфографии см.: Muranský J. Východiská pravopisných princípov A. Bernoláka vo vývine spisovnej slovenčiny // Pamätnica Antona Bernoláka..., s. 74–78.

- <sup>35</sup> Gramatické dielo Antona Bernoláka..., s. 95.
- <sup>36</sup> См.: *Krasnovská E.* O jazyku žalmov v Blosiovom preklade a v kamaldulskom preklade Biblie // O prekladoch Biblie..., s. 23.
- <sup>37</sup> См.: *Pauliny E.* Dejiny spisovnej slovenčiny od začiatkov po súčasnosť, s. 167.
- <sup>38</sup> К. Габовштиакова отмечает в частности: *Prjvod ku Dobropisebnost'i Slowenského Pjsma k Prospěchu Mládeži Slowenských Sskôl*. W Trnawe, 1780 (см.: *Habovštiaková K.* Bernolákovo jazykovedne dielo, s. 78).
- <sup>39</sup> *Habovštiaková K.* Op. cit., s. 101.
- <sup>40</sup> Как отмечает Г. Кайперт, "Словацкая грамматика" Бернолака, как и ряд других славянских грамматик того времени, была составлена по образцу вышедшего из печати в Вене в 1779 г. "Улучшенного руководства к немецкой грамматике" аббата И. Фельбигера (см.: *Keipert H.* Грамматическая кодификация А. Бернолака в свете учебной литературы Терезианской реформы // XI. medzinárodný zjazd slavistov. Zborník resumé. Bratislava, 1993, s. 207).
- <sup>41</sup> См.: *Habovštiaková K.* Op. cit., s. 138.
- <sup>42</sup> См.: *Habovštiaková K.* Op. cit., s. 155.
- <sup>43</sup> Подробнее об этом см.: *Смирнов Л. Н.* О месте "Словаря" Антона Бернолака в истории словацкой лексикографии // Славистический сборник. В честь 70-летия профессора П. А. Дмитриева. СПб., 1998, с. 201–208.
- <sup>44</sup> См.: *Habovštiaková K.* Bernolákovo jazykovedné dielo v kontexte slovenskej jazykovedy // Pamätnica Antona Bernoláka, s. 59.
- <sup>45</sup> *Blanár V.* Relationship between Slovak and Czech as a Slavistic Problem // "Slovak review". Vol. 2. 1993. № 1, s. 86.
- <sup>46</sup> *Habovštiaková K.* Bernolákovo jazykovedné dielo v kontexte..., s. 58.
- <sup>47</sup> Ср.: *Blanár V.* Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra v slovenskom a slovanskom kontexte // "Slavica Slovaca", roč. 28, 1993, čís. 1–2, s. 5.
- <sup>48</sup> См.: Ohlas o Slovenských národných novinách a Orlovi Tatránskom // Slovenské národné noviny (1845–1848). I.–II. (Reedícia) Bratislava, 1956, s. 2.
- <sup>49</sup> Подробнее об этом см.: *Смирнов Л. Н.* Формирование словацкого литературного языка в эпоху национального возрождения..., с. 127–139; *Он же*. О штурковской концепции литературного словацкого языка // *Studia slavica*. К 80-летию Самуила Борисовича Бернштейна. М., 1991, с. 221–228; *Blanár V.* Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra v slovenskom a slovanskom kontexte, s. 4–14.
- <sup>50</sup> *Štúr L.* Nárečja slovenskou alebo potreba písania v tomto nárečí. V Prešporku, 1846.
- <sup>51</sup> *Štúr L.* Náuka reči slovenskej. V Prešporku, 1846.
- <sup>52</sup> Современные исследования показывают, что диалектной основой штурковского литературного языка является не какой-то конкретный

среднесловацкий говор, а специфическое наддиалектное образование – среднесловацкий культурный язык (интердиалект), см., в частности, *Pauliny E. Dejiny spisovnej slovenčiny od začiatkov po súčasnosť* s. 120.

<sup>53</sup> Štúr Ľ. Dielo. I. Bratislava, 1986, s. 289.

<sup>54</sup> См.: Blanár V. Ľudovít Stúr ako jazykovedec // "Slovenská reč", roč. 21, 1956, čís. 3–4, s. 153.

<sup>55</sup> См.: Kondrašov N. A. Vznik a začiatky spisovnej slovenčiny. Bratislava, 1974.

<sup>56</sup> Правда, при описании некоторых грамматических явлений он применял и морфологический принцип правописания.

<sup>57</sup> Štúr Ľ. Nárečie slovenské alebo potreba písania v tomto nárečí. Turč. Sv. Martin, 1943, s. 156.

<sup>58</sup> См.: Štúr Ľ. Op. cit., s. 222.

<sup>59</sup> Štúr Ľ. Op. cit., s. 226.

<sup>60</sup> Cp.: Pauliny E. Dejiny spisovnej slovenčiny od začiatkov po súčasnosť..., s. 182.

<sup>61</sup> Так, Э. Паулини указывал, что в основном наиболее важная часть специальных терминов литературного лексикона была в штурковский период заимствована из чешского языка (см.: Pauliny E. Op. cit., s. 185).

<sup>62</sup> Cp.: Blanár V. Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra v slovenskom a slovanskom kontexte..., s. 6, 8.

<sup>63</sup> Rimavský J. Svojim vrstoviskom na pamjatku. Prešpork, 1844.

<sup>64</sup> Nitra. Ročník II. V Prešporku, alebo v Bratislave nad Dunajom, 1844.

<sup>65</sup> См. об этом: Смирнов Л. Н. Отражение в литературно-языковой сфере борьбы за консолидацию словацкой нации (середина XIX в.) // Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе, М., 1981, с. 197–211.

<sup>66</sup> См.: Hodža M. M. Epigenes slovenicus. Leutschoviae, 1847; *Idem*. Dobruo slovo Slovákom, súcim na slovo. V Levoči, 1847; *Idem*. Větn o slovenčině. V Levoči, 1848.

<sup>67</sup> О роли М. М. Годжи в истории литературного словацкого языка см.: Jóna E. Účasť M. M. Hodžu pri formovaní spisovnej slovenčiny // "Slovenská reč", roč. 35, 1970, s. 65–68, 134–141, 199–205.

<sup>68</sup> Hodža M. M. Dobruo slovo Slovákom, súcim na slovo..., s. 90.

<sup>69</sup> См.: Смирнов Л. Н. О роли реформы М. М. Годжи-М. Гаттала в истории словацкого литературного языка // Славянское и балканское языкознание. История литературных языков и письменность. М., 1979, с. 232–245.

<sup>70</sup> См.: Radlinský O. Prawopis slowenský s krátkou mluvnicí. We Wídni, 1850.

<sup>71</sup> Blanár V., Jóna E., Ružička J. *Dejiny spisovnej slovenčiny*. II. Bratislava, 1974, s. 10.

<sup>72</sup> См.: Krátká mluvnica slovenská. V *Prešporku*, 1852.

<sup>73</sup> См. о нем: Jóna E. Život a dielo Martina Hattala // Martin Hattala (1821–1903). Materiál z konferencie konanej v Trstenej dňa 21. a 22. októbra 1970. 1971, s. 12–24; Смирнов Л. Н. Мартин Гаттала // "Славяноведение", 1997, № 1, с. 121–124.

<sup>74</sup> Hattala M. *Grammatica linguae slovenicae, collatae cum proxime cognata bohemica. Schemnicii*, 1850. Я. Влчек полагал, что эта грамматика должна была служить мостом от словацкого языка назад к чешскому (см.: Vlček J. *Dejiny literatúry slovenskej*. Bratislava, 1953, s. 230).

<sup>75</sup> Так он писал в своей следующей грамматике (см.: Hattala M. *Mluvnica jazyka slovenského. Pešt'*, 1864, s. 16).

<sup>76</sup> Cp.: Jóna E. Vplyv bernoláčtiny a bernolákovcov na štúrovskú spisovnú normu // K počiatkom slovenského národného obrodenia. Bratislava, 1964, s. 461.

## *Глава 4*

# РАЗВИТИЕ НОРМ СЕРБОЛУЖИЦКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ В СВЯЗИ СО СПЕЦИФИКОЙ СЕРБОЛУЖИЦКОЙ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ

Вопросы становления и развития серболужицких литературных языков – верхне- и нижнелужицкого, определение их статуса и взаимоотношения привлекали внимание сорабистов на разных этапах истории серболужицкого языка и продолжают быть актуальными и в современной сорабистике<sup>1</sup>. Отметим, что названные проблемы так или иначе связаны с решением вопроса о статусе самого серболужицкого языка и его единстве, что до сих пор является предметом дискуссий теоретического и терминологического характера<sup>2</sup>. При этом факт существования серболужицкого языкового параллелизма является одним из аргументов в этих спорах. Для тех, кто доказывает существование не одного, а двух самостоятельных серболужицких языков – верхне- и нижнелужицкого – наличие двух серболужицких литературных форм является лишним аргументом при обосновании отсутствия серболужицкого языкового единства. Сам факт их возникновения они связывают прежде всего с различиями, унаследованными от древнейшего периода, к которым затем присоединились различия, определяющиеся историческими особенностями формирования этих языков на различных административных территориях с разной языковой ориентацией: верхнелужицкий литературный язык обращен к чешской традиции, нижнелужицкий литературный язык связан с польской традицией.

Для сторонников существования единого серболужицкого языка возникновение двух вариантов или двух серболужицких литературных языков является следствием не столько внутриязыкового развития, сколько воздействия экстраглавионических обстоятельств, а точнее комплекса внутри- и внешнеглавионических факторов: отсутствие единой светской, церковной, административной власти, единой системы школьного образования; на территории Лужицы

преобладали города с немецким населением, там действовал запрет на организацию ремесленных цехов серболужичанами, существовали также и ограничения на поселение в городах серболужичан; с XIV в. уже известен общий запрет на серболужицкий язык в Лужице<sup>3</sup>; не было условий для формирования единого культурного центра серболужичан, который мог бы способствовать их объединению в языковом отношении.

Именно эти факторы при существовании "общей базы развития" определили различия в характере верхне- и нижнелужицкой литературных норм, их кодификации, в степени функциональной нагрузки. Они же сделали невыполнимой задачу создания единого литературного серболужицкого языка. Факторы так называемой внешней истории серболужицкого языка при существовании исходных различий между двумя нормами на фонетическом, морфологическом и лексическом уровнях, базирующихся на различиях между диалектными основами этих литературных норм, оказали решающее влияние на формирование серболужицкого языкового литературного параллелизма.

Серболужицкий язык в XVI–XVII вв. был представлен двумя крупными диалектными комплексами – верхне- и нижнелужицким, отличавшимися между собой на всех уровнях языковой структуры. Самые ранние памятники серболужицкой письменности относятся к XVI в. и связаны с периодом Реформации. Вплоть до второй половины XVII в. не могло быть речи о верхне- и нижнелужицком письменных церковных языках с соответствующими наддиалектными нормами. Возникшие в период Реформации конфессиональные различия среди носителей серболужицкого языка (большая часть населения Лужицы стала протестантами, меньшая – исповедовала католическую веру) привели к образованию различных престижных центров в разных частях серболужицкой языковой территории – Котбус (Нижняя Лужица) и Бауцен (Верхняя Лужица). Здесь позднее возникли верхне- и нижнелужицкий литературные языки, при этом верхнелужицкий был представлен двумя вариантами – протестантским и католическим. В результате конкуренции протестантской и католической церкви германизация в наибольшей степени осуществлялась в районах с протестантским двуязычным населением; на территориях со смешанным в религиозном и языковом отношениях населением и в собственно серболужицких

районах сознательно употреблялся серболужицкий язык, а с конца XVII в. можно даже говорить об определенной поддержке и поощрении использования серболужицкого языка на этой территории<sup>4</sup>. Представители церкви были непосредственными участниками формирования верхне- и нижнелужицкого литературных языков. В XIX в. католическая церковь в гораздо большей степени, чем протестантская церковь, способствовала сохранению серболужицкого языка и культуры в силу своей относительной независимости от государства<sup>5</sup>. Достаточно изолированное положение серболужичан-католиков в преимущественно протестантских районах влияло на создание и сохранение прочной общности по принципу “язык” (серболужицкий) и “вероисповедание” (католическое).

Среди внеязыковых факторов, влиявших в долитературный период (и позже) на формирование и развитие литературных серболужицких языков и определявших различия в характере и функционировании их норм, большое значение имела политика властей по отношению к серболужичанам и их языку на той или иной территории его распространения<sup>6</sup>. Серболужичане никогда не находились под властью одного правительства, а с 1815 г. Нижняя Лужица и северно-восточная часть Верхней Лужицы находились под властью Пруссии, юго-западная же часть Верхней Лужицы оставалась у Саксонии. Здесь отношение к серболужицкому языку было более терпимым по сравнению с последовательной политикой властей Нижней Лужицы, направленной на скорейшую ассимиляцию серболужицкого населения.

Сложность и противоречивость языковой ситуации, характерной для долитературного периода развития серболужицкого языка, определялась двумя тенденциями: с одной стороны, существовала необходимость расширения влияния новой церкви на серболужичан, что способствовало развитию письменного церковного языка, даже в условиях германизаторской политики властей; с другой стороны, в связи с изменениями в этническом составе населения на серболужицкой языковой территории усиливается влияние немецкого языка, что находит отражение в процессе постепенного формирования двуязычия у серболужичан. Развитие билингвизма у носителей серболужицкого языка всегда составляло фон, на котором появлялись, совершенствовались и функционировали различные формы существования серболужицкого языка, в том числе и литературные.

Понятие “языковая норма”, “норма литературного языка” можно рассматривать и понимать в разных аспектах<sup>7</sup>. Если рассматривать норму литературного языка как историческую категорию, о которой возможно говорить, начиная лишь с определенного этапа развития данного языка, то рассмотрение ее возникновения и дальнейшего развития должно предполагать изучение причин появления определенных текстов, выполняющих на данном этапе истории народа интегрирующую роль, объема и содержания этих ведущих текстов, их динамики в связи с историей языкового коллектива, пользующегося этими текстами<sup>8</sup>, взаимоотношение литературно-языковой нормы, представленной ими, с факторами так называемой внешней истории.

С этой точки зрения в истории серболужицкой литературно-языковой нормы отчетливо выделяется несколько периодов. Для каждого из них характерны совпадения и отличия в развитии верхне- и нижнелужицкой литературно-языковой нормы.

На первом этапе существования серболужицких литературных языков – конец XVII – начало XVIII вв. – они были письменными языками церковной литературы, ведущими были тексты религиозного содержания. Само понятие “литературный язык” означало одно из средств письменного общения на территории Верхней и Нижней Лужицы. Как активное коммуникативное средство серболужицкие литературные (письменные) языки использовались небольшим слоем интеллигенции – священниками, учителями. Носители серболужицкого языка, в большинстве своем крепостные крестьяне, в качестве средства коммуникации использовали лужицкий диалект своей местности. Серболужицкие литературные языки имели ограниченную сферу применения – в церковной жизни, в процессе школьного обучения, в домашнем обиходе. Вне этих сфер жизни серболужичане использовали немецкий язык, в том числе и письменный. Эти литературные языки не могли составить конкуренцию немецкому языку, что частично объясняется и самим характером серболужицких литературно-языковых норм данного периода, их консервативностью. При отсутствии светской литературы лексика была представлена в основном церковной терминологией; в ней отмечается значительное число немецких заимствований, различного типа калек с немецкого языка, гибридных по характеру словообразовательных форм, включающих морфемы

немецкого и лужицкого происхождения; влияние других славянских языков (в частности, чешского) в лексике проявляется лишь спорадически. Для переводов библейских текстов раннего периода развития серболужицких литературных языков характерна нестабильность в орфографии, в фиксации отдельных форм и явлений.

Успехи в формировании надрегиональных литературно-языковых норм в серболужицкой письменности, представленной главным образом переводами библейских текстов, становятся очевидными в первой половине XVIII в. Однако в результате действия ряда внеязыковых факторов, о которых шла речь выше (особое значение имела административная раздробленность серболужицкой языковой территории и отсутствие единого политического, экономического и культурного центра), оказалось невозможным создание единой серболужицкой литературно-языковой нормы.

В процессе формирования верхнелужицкой и нижнелужицкой языковых норм уже на первом этапе наблюдается ряд отличий разного характера, которые определяются, например, ролью конфессионального фактора, отношением к процессу выбора диалектной базы создателей литературных надрегиональных норм, свойствами самого процесса функционального развития норм, объемом ведущих текстов, результативностью в кодификаторской деятельности авторов грамматик и словарей, пытавшихся дать представление о реальном характере описываемой ими литературно-языковой нормы, отношением самих носителей литературных языков к их норме.

В формировании верхнелужицкого литературного языка в XVII в. огромную роль сыграл будышинский диалект, на базе которого в начале XVIII в. была создана наддиалектная норма протестантского варианта. Создание ее было начato и развито в произведениях протестантской письменности М. Френцеля, который и считается создателем верхнелужицкого литературного языка. Осуществляя перевод Нового завета Мартина Лютера (1670–1706 гг.), он разработал новую верхнелужицкую орфографию, используя в качестве образца орфографическую систему, созданную для чешского языка Я. Гусом. Перевод Библии, созданный комиссией верхнелужицких священников в 1728 г., опирался на черты всей территории распространения будышинского диалекта, но в значительной мере он является трудом М. Френцеля, в переводе которого преобладали черты диалекта, расположенного на юг и

восток от Бауцена (в.-луж. Будышина)<sup>9</sup>. Библия 1728 г. стала главным фактором развития литературно-языковой нормы верхнелужицких протестантов и в значительной мере в дальнейшем способствовала возникновению единого литературного верхнелужицкого языка. Характерно, что в более поздних изданиях Библии (вплоть до середины XIX в.) многие архаические черты, свойственные переводу М. Френцеля, сохранились. Протестантские издатели не стремились избавиться от них и приблизить язык перевода к норме литературного языка, представленного в произведениях светской художественной и научной литературы XIX в. Как отмечает Ф. Михалк<sup>10</sup>, протестантский литературный язык, оставаясь неизменным в течение веков, стал авторитетным на всей серболужицкой территории Верхней Лужицы. Грамматические нормы этого варианта кодифицировал Ю. Матей. Наряду с протестантским вариантом в формировании верхнелужицкого литературного языка принимал участие и католический вариант. Его создателями были представители католического духовенства – Я. Тицин и Ю. Х. Светлик. Я. Тицин является автором первой печатной серболужицкой грамматики (1679 г.), он издал также и Катехизис (1685 г.). Им был кодифицирован куловский диалект как основа литературного языка, который должен был служить иезуитам в деле рекатолизации Верхней Лужицы. В предисловии к грамматике Я. Тицин отмечает факт родства лужицкого и чешского языков, что, по его мнению, дает основание опираться на чешское правописание. Куловский диалект господствовал сначала в единственном городском католическом приходе, а затем и в будышинском соборном капитуле.

Самую значительную роль в развитии католического варианта верхнелужицкого литературного языка сыграла деятельность Ю. Х. Светлика. Им были изданы Перикопы (1690 г.). Как установлено исследователями<sup>11</sup>, одни Перикопы имеют в начале *Observationes grammaticales pro debita libelli hujus Evangeliorum lectione*, в других же перед основным текстом помещены *Schreib- und Lesens-Beobachtungen über das Wendisch Catholische Evangelii-Buch*, а в конце – перевод катехизиса Канисия, который в языковом отношении отличается от перевода Я. Тицина. В *Observationes* Ю. Х. Светлик считает необходимым писать на диалекте, распространенном в окрестностях не только Кулова, но и Кросчиц, что свидетельствует о его понимании необходимости использовать для

создания нормы католического варианта верхнелужицкого литературного языка более широкую диалектную основу. Но в действительности же его язык основывается в основном на куловском диалекте с элементами других католических диалектов. Я. Х. Светлик отдавал себе отчет в значении использования разных источников, в том числе и протестантских, особенно в области лексики, так как диалектная лексика не всегда дает возможность адекватно передать содержание библейских текстов. Источником лексической нормы стал Латино-верхнелужицкий словарь, приготовленный Я. Х. Светликом на основе нового издания Перикоп 1699 г. Словарь был предназначен главным образом для священников, так как содержал комментарий к самым трудным фрагментам Библии. Я. Х. Светликом же был издан сборник религиозных песнопений (1696 г.) и некоторые другие сочинения. Значение деятельности Я. Х. Светлика в формировании католического варианта верхнелужицкого литературного языка определяется не только его заслугами в области перевода библейских текстов, но и его трудами кодификаторского характера. Отметим, что полный перевод Библии, подготовленный Я. Х. Светликом, не был опубликован. Известно, что текст его содержал большое количество германизмов и латинизмов<sup>12</sup> и не сыграл большой роли в развитии литературного языка.

Новым этапом в развитии нормы католического варианта верхнелужицкого литературного языка явилась смена его диалектной базы: сближение прежней, куловской, диалектной основы с диалектом Кросчиц, близким куловскому, было осуществлено епископом Я. Воским, который в 1750 г. опубликовал несколько измененный текст Перикоп Я. Х. Светлика. В этом тексте куловские формы были заменены элементами диалекта Кросчиц. Смена диалектной базы католического варианта верхнелужицкого литературного языка произошла тогда, когда настоятелями собора в Будышине стали выходцы с территории распространения диалекта Кросчиц.

В течение долгого времени католики не имели на родном языке полного перевода Библии; издавались лишь отдельные ее фрагменты. Только во второй половине XIX в. вышел полный перевод Нового завета, выполненный Ю. Лусчанским и М. Горником – одним из самых авторитетных деятелей серболужицкого возрождения.

В сосуществовании двух вариантов верхнелужицкого литературного (письменного, культового) языка на первом этапе развития

верхнелужицкой литературной нормы нашло выражение отношение представителей разных конфессий к самим источникам перевода: протестанты отвергали латинский текст Вульгаты, а католики считали лютеровский перевод еретическим. Переход от куловской основы католического варианта верхнелужицкого литературного языка к кросчицкой способствовал созданию основы единой верхнелужицкой литературно-языковой нормы, базой которой стала норма протестантского варианта с незначительными элементами католического варианта. В начале XIX в. различия между вариантами ограничивались главным образом орографическими особенностями.

Создание нижнелужицкой литературной нормы относится к началу XVIII в., когда по инициативе Г. Фабрициуса, священника из окрестностей Котбуса (н.-луж. Кочебуз), вышел в свет перевод Нового завета (1709 г.), а также Катехизис М. Лютера (1706 г.); в 1796 г. был опубликован перевод Ветхого завета Я. Б. Фрицо. Основой языка этих переводов стал кочебузский диалект. Попытка кодифицировать этот диалект была предпринята еще в XVII в. Я. Хойнаном, автором рукописной грамматики. Многие рукописи библейских текстов XVII в. были уничтожены: по приказу бранденбургских властей были конфискованы и сожжены все лужицкие тексты. Такая же судьба постигла и рукописи, вышедшие на территории саксонских Нижних Лужиц. Сохранились лишь некоторые из них, которые были опубликованы уже в XIX–XX вв.<sup>13</sup>. Отметим, что первое издание перевода Нового завета на нижнелужицком языке могло появиться только благодаря деятельности такого религиозного направления, как пietизm, самым значительным представителем которого в Нижней Лужице был священник Паннивиц из Кореня. Благодаря рекомендациям сторонников пietизма из Галле Я. Б. Фабрициус получил место пастора в Корене, в 1706 г. основал первую типографию в окрестностях Кочебуз, где издал перевод Катехизиса Лютера (1706 г.), а в 1709 г. опубликовал нижнелужицкий перевод Нового завета с параллельным немецким текстом. В 1709 г. этот перевод выходил 4 раза. Именно благодаря изданию Нового завета 1709 г. кочебузский диалект стал образцом в процессе формирования нормы нижнелужицкого литературного языка. Об этом пишет в переводе Катехизиса сам автор, когда замечает, что кочебузский диалект оказался наиболее подходящим для выполнения функции литературного языка как “самый изящный и точный”.

На языке нижнелужицкого перевода Нового завета Я. Б. Фабрициуса основывался Й. Г. Гауптман при создании первой печатной нижнелужицкой грамматики<sup>14</sup> (1761 г.), а затем он кодифицировал нижнелужицкую литературную норму на основе библейского текста. Им же было издано собрание 240 религиозных песнопений, а также оставшийся в рукописи словарь и Агенда. В течение XVIII и XIX вв. вышло десять изданий Нового завета Я. Б. Фабрициуса, в большинстве своем они содержали параллельный немецко-нижнелужицкий текст. Некоторые из них подверглись пересмотру. Так, Я. Б. Тешнар многое изменил в языке и орфографии библейского текста и был автором основ нижнелужицкого правописания.

Второе издание Ветхого завета в переводе Я. Б. Фрицо вышло в свет в 1824 г. после корректировки языка, осуществленной Я. З. Шиндларом. Вся нижнелужицкая Библия, включающая перевод Нового завета Я. Б. Фабрициуса и Ветхого завета Я. Б. Фрицо, была издана в 1868 г. пастором К. Хауссигом. Я. Б. Тешнар подготовил это издание, обращая внимание на язык и орфографические особенности перевода. Как отмечают исследователи истории переводов Библии на серболужицкие языки<sup>15</sup>, Библия 1868 г. сыграла большую роль в формировании нижнелужицкой литературно-языковой нормы, так как писательской и публицистической деятельностью занимались главным образом священники (например, Я. Б. Тешнар, М. Косык, Б. Швела), которые были прекрасными знатоками Библии и пропагандистами ее языкового престижа.

Таким образом, на первом этапе развития верхне- и нижнелужицких литературно-языковых норм они реализуются почти исключительно в церковной литературе и являются по своему характеру достаточно консервативными. При несомненном сильном влиянии немецкого языка в них отмечается и присутствие в некоторых случаях греческо-латинских элементов, которые использовались авторами славянских переводов Библии.

Создание наддиалектных верхнелужицкой и нижнелужицкой литературно-языковых норм приводит к образованию, а затем и к совершенствованию в период Реформации и в дальнейшем так называемого серболужицкого библейского стиля, характеризующегося целым рядом языковых особенностей – лексических и грамматических<sup>16</sup>. Среди первых – плеоназмы, парафразы, различные способы выражения связи данного высказывания с предшест-

вующим содержанием (более частое употребление союза *a* в соответствии с немецким *und*, специальные обороты типа *Jako pisane steji w Profetach*, частица *pak* в соответствии с немецкой *aber* и др.). Среди грамматических особенностей библейского стиля – употребление пассивных конструкций, состоящих из форм глагола *być/stać* + страдательное причастие, причастий – действительных и страдательных, частое использование деепричастий настоящего времени с суффиксом -o и деепричастий прошедшего времени с суффиксом -*wſi*, -*ši*:ср., например, *wuhlada won Jakuba... a Jana... platajo swoje syći; dachu so křčić ... wuznawiši swoje hrchy.*

Развитие и совершенствование библейского стиля в дальнейшем проявляется главным образом в области лексики. Как отмечают исследователи<sup>17</sup>, в области грамматики каких-либо изменений в этом стиле на протяжении XVII–XX вв. в верхнелужицких переводах Библии фактически не наблюдается.

Как отмечалось выше, уже на первом этапе функционирования наддиалектных серболужицких литературных (письменных) норм были предприняты первые попытки их всестороннего описания – с точки зрения орфографии, морфологии, лексики: ср., например, орфографические правила М. Френцеля (1670 г.), орфографический труд З. Берлинга (1689 г.), грамматику, зафиксировавшую норму католического варианта Я. К. Тицина (1679 г.), правила правописания Ю. Р. Светлицка и его латино-серболужицкий словарь (1721 г.), грамматику Г. Маттея (1721 г.); наконец, кодификаторскую работу комиссии протестанских священников над переводом Библии 1728 г.

Начало XVIII в. ознаменовалось появлением большей части книг Ветхого Завета, а ранее переведенные библейские тексты были пересмотрены с точки зрения их языка. Так, например, второе издание протестантской Библии было подготовлено к печати в 1742 г. Й. Г. Кюном, который внес в текст перевода такие изменения, которые не были приняты редакторами новых изданий Библии и устраивались ими. Но новые поправки никогда не были значительными, так как протестанты были очень консервативны в оценках библейского языка<sup>18</sup>.

Переводы Библии и различных текстов с религиозным содержанием представляли серболужицкие литературно-языковые нормы – верхне- и нижнелужицкую на первом этапе их развития,

консервативные по своему характеру, характеризующиеся высокой степенью вариативности как в лексике, так и в грамматике, нестабильностью в правописании, слабым развитием терминологических систем (за исключением церковной терминологии). Переводы библейских, религиозных текстов, словари, орографические трактаты, грамматики, использовавшие серболужицкий языковой материал, до половины XIX в. были главным фактором, способствующим развитию серболужицких литературных языков.

Отметим, что множество библейских текстов, возникших в XVIII в. (перикопы, библейские истории, катехизисы и др.) осталось в рукописи или погибло. Поэтому они не оказали заметного влияния на формирование литературно-языковых норм, хотя и являются ценным источником для исследований по серболужицкой исторической грамматике и лексикологии.

Таким образом, конец XVII – XVIII вв. отмечен появлением таких верхнелужицких и нижнелужицких переводов библейских и церковных текстов, которые свидетельствуют о воплощенной в них наддиалектной литературно-языковой норме. При этом верхнелужицкая литературно-языковая норма в связи с той ролью, которую на территории Верхней Лужицы играли конфессиональные различия у носителей серболужицкого языка, была представлена двумя вариантами, опирающимися на разные диалектные базы. Оба варианта отличались друг от друга фонетическими, морфологическими особенностями в области флексии, некоторыми грамматическими чертами, связанными с выражением категорий (например, отсутствием средств выражения категории личности/неличности в формах перфекта и условного наклонения в католическом варианте в противоположность протестанскому варианту). Основные различия двух вариантов наблюдались в области орографии<sup>19</sup>. Католическое правописание было в значительной степени ориентировано на чешское правописание, но в отдельных случаях отличалось от правописания, применяемого М. Френцелем, для которого чешская графика также была образцом. Отметим, что в переводе Нового Завета М. Френцеля (1706 г.) были использованы принципы орографии З. Берлинга, которые опирались на немецкое правописание и легли в основу так называемого протестанского правописания. Две различные системы правописания – протестанская и католическая – сохранялись до конца XVIII в. и в первые десятилетия XIX в.

Различия между двумя вариантами верхнелужицкой литературно-языковой нормы постепенно сглаживались в течение XVIII в. и особенно после смены диалектной базы католического варианта, так как диалект окрестностей Кросчиц был ближе к верхнелужицкому будышинскому диалекту, чем куловский диалект.

Исключительно религиозный характер серболужицкой письменности до XIX в. определяет тесные связи между серболужицкими переводами Библии и работами нормативно-языкового характера – грамматиками, орфографическими трактатами и словарями. Кроме того, языковой авторитет Библии мог быть единственным фактором кодификации литературно-языковой нормы<sup>20</sup>.

Переломным периодом в развитии серболужицких литературно-языковых норм (в первую очередь верхнелужицкой) явилась вторая половина XIX в., когда формируется верхнелужицкий поливалентный литературный язык, отвечающий всем потребностям коммуникации со стилистически дифференциированной системой. Этот перелом был результатом действия целого ряда факторов, среди которых особое значение имело изменение политической и общественной ситуации на территории Лужицы в период серболужицкого национального возрождения (40-е гг. XIX в.). Национальное движение серболужичан, поставившее на повестку дня вопрос о культурном и национальном равноправии, наиболее ярко проявилось в 40-е гг. XIX в. в Верхней Лужице, особенно в Саксонии. В Нижней Лужице из-за неблагоприятных общественно-политических факторов в этот период не наблюдается активизации общественной жизни. Именно в это время в прусской части Лужицы серболужицкий язык был изгнан из школы, в церковной же жизни он использовался в очень ограниченной степени. Светская литература на нижнелужицком литературном языке появляется лишь в 60-х гг. XIX в., и количество ее невелико. По содержанию она представляет собой главным образом переводы произведений верхнелужицких авторов. Активизация общественной жизни в Нижней Лужице относится лишь к 60-80-м гг. XIX в. В 1880 г. была создана Нижнелужицкая Матица.

В Верхней Лужице в первой трети XIX в. возникают мощные стимулы к развитию наддиалектной литературно-языковой нормы. Активизация национальной деятельности серболужичан способствовал ряд общественно важных событий (например, освобождение крестьян в Лужице, эманципация сельских школьных учителей,

появление серболужицких обществ гимназистов и студентов в Будышине и Бреслау, введение систематического обучения учителей). К этому времени относятся выступления представителей интеллигенции и участников крестьянских движений с требованиями права серболужицкого языка на существование и развитие, издание первых газет. Кульминацией национально-культурного движения серболужичан в Верхней Лужице стало создание центральной организации серболужицкой интеллигенции – Серболужицкой мации (1845 г., окончательное утверждение – 1847 г.). Этот период отмечен появлением культурных программ лидеров серболужицкого движения, выходцев из интеллигенции, крупных культурных центров, находящихся вне лужицкой территории. Так, большое значение имела деятельность "Лужицкого семинара" в Праге, ставшего центром серболужицкого национального возрождения, ориентирующегося на изучение серболужицкого языка и культуры.

Уже к началу периода серболужицкого национального возрождения появляется настоятельная необходимость и условия для развития светской литературы – художественной литературы, отчасти научной, а также прессы. Становится очевидным консервативный характер действующих литературных (письменных) норм, их оторванность от норм разговорного языка, которым владело большинство серболужицкого населения – носители диалектов. В связи с этим возникает потребность в преобразовании серболужицких литературно-языковых норм, функционировавших в предшествующий период истории серболужицкого языка. Именно в это время наряду с другими проблемами, связанными с сохранением серболужицкой народности и языка, развитием школьного образования и издательского дела, выдвигается задача совершенствования серболужицких литературных языков, очищения их от германизмов и славянизация (особенно в лексике и синтаксисе), сближения серболужицких литературно-языковых норм с нормами серболужицких диалектов и других славянских литературных языков и диалектов.

Создание литературы светского содержания предполагало выработку новых орфографических норм, расширение лексического состава, совершенствование литературного языка на всех уровнях языковой системы на основе научного изучения серболужицкого языка – его литературных форм и народного языка. Именно в этот период начинается собственно научное изучение верхнелужицкого

литературного языка, связанное с лингвистической деятельностью основоположника серболужицкого языкоznания Я. А. Смолера, а также Я. П. Йордана, К. Б. Пфуля, М. Горника, а в конце века – К. Э. Муки. Грамматические работы, основанные на наблюдениях над верхнелужицкой литературно-языковой нормой, должны были способствовать выполнению основной задачи на данном этапе развития этой нормы – созданию единой нормы верхнелужицкого литературного языка, свободного от конфессиональных различий. Выработка единой верхнелужицкой литературно-языковой нормы рассматривалась деятелями серболужицкого национального возрождения как условие сохранения позиций серболужицкого языка в различных сферах общественной жизни, как необходимая предпосылка его дальнейшего развития, как условие культурного сплочения серболужичан Верхней Лужицы. Решению этой проблемы способствовала и языковая ситуация этого периода в Верхней Лужице. Развитие серболужицких литературных языков находилось в прямой зависимости от выполнения требований о национальном и языковом равноправии серболужичан.

О создании единой нормы серболужицкого литературного языка уже в этот период не могло быть и речи<sup>21</sup>. Это было обусловлено, в частности, целым рядом внеязыковых факторов, которые в истории серболужицкого языка играли очень большую, часто решающую роль (см. выше). Но создание единой нормы верхнелужицкого литературного языка в результате сближения норм двух вариантов этого языка – католического и протестанского – было вполне реально<sup>22</sup>.

Поскольку различия двух вариантов верхнелужицкого литературного языка проявлялись в значительной мере в области правописания, то первым шагом на пути создания единой верхнелужицкой литературно-языковой нормы должно было стать решение орфографических вопросов. Новая единая орфографическая система создавалась по аналогии с системами других славянских языков, в особенности чешского. В разработке "аналогического правописания" огромная заслуга принадлежит Я. А. Смолеру. Позднее эта система была дополнена и усовершенствована М. Горником<sup>23</sup>, который стремился не только к созданию единой графики и орфографии верхнелужицкого литературного языка, но, прежде всего, к выработке единой нормы на всех уровнях литературного языка.

В процессе сближения двух вариантов верхнелужицкого литературного языка и формирования единого литературного языка большую роль играл социальный престиж того и другого варианта. Наиболее высоким он был у протестанского варианта, который характеризовался и более стабильной нормой, и большей степенью распространения. Именно поэтому протестанский вариант был взят за основу в системе, разработанной Я. П. Йорданом, прямым предшественником Я. А. Смолера, К. Б. Пфуля, М. Горника.

В результате работы над выработкой единой верхнелужицкой системы правописания возник третий, аналогический вариант верхнелужицкого правописания, который был принят Серболужицкой матицей. В этом так называемом матичном варианте последовательно употреблялась латиница (антиква) в противоположность католическому и протестанскому вариантам, где использовалась фрактура (швабах) и неунифицированное традиционное правописание. Матичный вариант нашел применение в произведениях серболужицких авторов нравоучительного и развлекательного характера, в публикациях серболужицко-немецкого и немецко-серболужицкого словарей. Этот вариант постепенно одержал победу.

Функционирующий в этот период верхнелужицкий письменный (литературный) язык является по сравнению с литературно-языковой нормой предшествующего периода языком нового типа. При этом речь идет не только о единой орфографии и связанной с ней единой звуковой системе, но и о значительно изменившемся и расширившемся лексическом составе и о новых тенденциях в кодификации грамматической системы.

В связи с изменением языковой ситуации после 1840 г. возникает новая по своему содержанию и объему литература. Получает развитие не только беллетристика и периодическая печать, но и научная литература на серболужицком языке в разных областях знания. Это обстоятельство обусловило значительное обогащение лексического состава верхнелужицкого литературного языка в течение относительно короткого времени. Развитие научной литературы потребовало создания серболужицких терминологических систем в разных областях науки, культуры, политики, истории, фольклора, техники и др. Как отмечает Г. Енч<sup>24</sup>, в процессе расширения и обогащения словарного состава участвовали сами создатели литературы, а не лингвисты. Только в 1866 г. вышел в

свет лексикографический труд К. Б. Пфуля (при участии Х. Зейлера и М. Горника), кодифицировавший возникшую в этот период терминологию – "Серболужицкий словарь"<sup>25</sup>. Грамматические, лексические нормы и система правописания отражены и в таких работах К. Б. Пфуля, как "Фонетика и грамматика верхнелужицкого языка" (1867 г.)<sup>26</sup>, "Сравнительная грамматика верхнелужицкого языка" (1861 г.)<sup>27</sup>.

Для верхнелужицкого литературного языка первой половины XIX в. характерно (как и для других европейских литературных языков) включение в словарный состав многочисленных европеизмов<sup>28</sup>, при этом часть заимствованных слов, свойственная предшествующему периоду, после 1840 г. значительно уменьшилась. Заимствования (европеизмы, интернационализмы) попадали в верхнелужицкий литературный язык при посредничестве немецкого языка, что определялось языковой ситуацией в Лужице; серболужицкие писатели и создатели литературного языка чаще всего происходили из двуязычных областей Лужицы и в процессе получения образования, профессиональной деятельности и общения с окружающими людьми очень часто обращались к немецкому языку как к активному средству коммуникации. Кроме того, так называемый народный язык, который был основным средством общения для большинства серболужичан, находился под сильным влиянием немецкого языка. Это обстоятельство должно было учитываться теми, кто обращался к народу в своем творчестве<sup>29</sup>.

Влияние чешского образца во многих сферах общественной, политической и культурной жизни, в том числе и в языковой политике сказалось и на усилении влияния чешского языка в формировании лексического состава верхнелужицкого литературного языка. Многие заимствования и кальки из чешского языка приобретают нормативный характер. Г. Енч<sup>30</sup> приводит несколько богемизмов, которые стабилизируются в верхнелужицком литературном языке как нормативные обозначения новых понятий, появившихся в верхнелужицкой письменности только в XIX в.: *wustawa* (чешск. *ústava*) ‘конституция’, *nareč* (чешск. *nářečí*) ‘диалект’, *sklonjowac* (чешск. *skloňovati*) ‘склонять’. Подобные примеры рассматриваются Г. Енчем как совершенно новое явление для верхнелужицкого литературного языка, так как в предшествующий период такого рода влияние носило лишь спорадический характер и не имело отношения к лексической норме.

Особенности языковой ситуации в Лужице, роль и престиж верхнелужицкого литературного языка, не являющегося основным средством коммуникации для основных носителей серболужицкого языка, повлияли и на то обстоятельство, что верхнелужицкая литературно-языковая норма в период серболужицкого национального возрождения значительно уступает большинству других европейских языков по количеству и составу терминологических систем<sup>31</sup>. Профессиональная терминология вырабатывается только для некоторых областей духовной жизни, например, истории, этнографии, лингвистики, литературы. В таких же отраслях знания, как, например, философия, психология, естествознание, повсеместно употребляется лишь определенный круг основных терминов. Отметим, что многие термины, связанные с указанными сферами духовной жизни и отмеченные в словарях, на практике остаются невостребованными.

Процесс создания единой верхнелужицкой литературно-языковой нормы отличался сложностью и противоречивостью. Наряду с формирующейся единой нормой верхнелужицкого литературного языка продолжали использоваться протестанский и католический варианты. Как отмечают исследователи, традиция давних вариантов верхнелужицкого литературного языка в известном смысле еще жива<sup>32</sup>, что проявляется в религиозной литературе католиков и протестантов, в литургических текстах, где наблюдаются, хотя и немногочисленные, различия, главным образом, в лексике и фразеологии. Орфографическая реформа, введение аналогического правописания подверглись критике со стороны протестантов, отстаивавших традиционную орфографию, характерную для литературы библейского стиля. Окончательно она была вытеснена аналогическим правописанием только после второй мировой войны. Сопротивление введению аналогического правописания среди протестантов объяснялось не только их языковым консерватизмом, но и было проявлением протesta против усиления влияния славянской католической культуры.

В период национального возрождения серболужичане-протестанты более активно, чем католики, принимали участие в общественной и культурной жизни. При создании единой верхнелужицкой литературно-языковой нормы именно протестанский вариант был выбран за основу, влияние же католического варианта, который

подчас оценивался протестантскими деятелями как "самый грубый" и "загрязненный", было незначительным. В 40-е гг. XIX в. на фоне развития светской литературы, периодической печати, формирования отношения к языку как объекту научного исследования у создателей серболужицкой светской литературы и научных работ появляется необходимость в выработке принципов отбора грамматических и лексических средств. В связи с этим меняется отношение деятелей серболужицкого национального возрождения, влиявших на нормирование языковой политики, к заимствованию в верхнелужицком литературном языке из других языков - славянских и неславянских, особенно к германизмам. В 40-е гг. XIX в. начали проявляться пурристические тенденции, которые действовали в течение длительного времени, включая и послевоенные годы. В их основе лежало стремление "очистить" язык верхнелужицкой письменности, освященный церковной традицией, славянизировать его, приблизив тем самым к другим славянским литературным языкам. Лозунг "очищения" верхнелужицкого литературного языка от "чужих" элементов был обусловлен стремлением совершенствовать литературный язык, сделать его понятным любому носителю серболужицкого языка, и, следовательно, не противоречащим по своему характеру особенностям родного языка, сохранить его системное своеобразие.

В процессе "очищения" старого языка верхнелужицкой письменности каждое явление оценивалось с точки зрения такого критерия, как "неиспорченный" народный язык, зафиксированный в народной поэзии и народных песнях серболужичан, а также традиции верхнелужицкой письменности. При этом принимались во внимание данные не только серболужицких диалектов, но и соответствующие факты в других славянских литературных языках и диалектах, особенно в чешском и польском.

"Очищение" письменного языка проявилось прежде всего в отказе от германизмов на всех уровнях верхнелужицкой литературной нормы и прежде всего в лексике. Лужицкий вариант всегда оказывается предпочтительней немецкого, пусть даже и устойчивого, заимствования. По наблюдениям Г. Енча<sup>33</sup>, в том случае, если норма верхнелужицкого литературного языка старшего периода допускала употребление наряду с заимствованием уже и синонима, лужицкого по происхождению, то после 1840 г. этот синоним считается единственным возможным для обозначения данного понятия. Так, из

употребления выходят такие слова, как *frejota* (нем. *Freiheit*), *eksempl* (нем. *Beispiel*), *cejch* (нем. *Zeichen*), *fromny* (нем. *fromm*). В составе нормы остаются такие слова как *warnować*, *parować*, *hnada*, *żohnowanje*, *zatamać*.

В том случае, если верхнелужицкая норма старшего периода допускала при обозначении какого-либо понятия использование только заимствованного слова, после 1840 г. зафиксировано новообразование – лужицкое или чешское (в сорабизированной форме) по своему происхождению. Ср., например, *wumělstwo* 'искусство', *rajit* 'интерес', *postawa* 'форма, вид, образ, фигура', *znamjo* 'знак', *pobožny* 'набожный' вместо вышедших из употребления соответственно немецких по происхождению *kumšt*, *interesa*, *štalt* / *štaltnosć*, *cejch*, *fromny*.

Среди заимствований посредством немецкого или чешского языков, в период национального возрождения усвоенных верхнелужицким литературным языком, преобладают европеизмы или интернационализмы (ср., например, *republika*, *psychologija*, *charakter*, *absolutny*), имеющие латинские или греческие корни.

Изменения наблюдаются и в системе калькирования. Здесь также в качестве единственно возможных закрепляются лексемы, которые в предшествующий период являлись синонимами лексем, образованных по немецкому образцу. Ср., например, лексемы, восходящие к славянским образованиям: *přemyslenje*, *wogjewić* (соответственно *překladženje*, *znajomte čtić* выходят из употребления). Исключение представляют только обозначения понятий, вошедших в верхнелужицкий литературный язык только в период после 1840 г. Они, как правило, являются кальками с немецкого. Например, *wukraj* (нем. *Ausland*) 'заграница', *lětdžesatk* (нем. *Jahrzehnt*) 'десятилетие<sup>34</sup>'.

Изменения коснулись и словообразовательной структуры, состава словообразовательных типов. Так, почти полностью выходят из употребления образования от глаголов с наречным префиксом, вместо которого теперь используется обычный префикс (*wiwoſtajić* вместо *wonkach wostajić*); вместо комплексного названия типа *džel brać* 'участвовать' верхнелужицкая литературно-языковая норма допускает только префиксальный глагол -(so) *wobrělić*, ср. также вместо *znać wuknuyć* 'познакомиться' – *zeznać*. Уходят из употребления (за некоторыми исключениями) сложные образования

типа *swěta-běh*, а также гибридные образования, одна из частей которых заимствована из немецкого языка типа *wobcejchować* 'обозначать', вместо которого теперь употребляется *wognatjenić*. В качестве совершенно нового словаобразовательного типа, распространившегося в верхнелужицком литературном языке после 1840 г., исследователи<sup>35</sup> отмечают сложные слова с соединительным гласным -o- (очевидно, под влиянием чешского языка). Подобные образования характерны и для обозначения понятий, появившихся в верхнелужицком литературном языке лишь в период национального возрождения серболужичан. Ср., например, *wjeselohra* 'комедия', *narodopis* 'этнография'.

Стремление писателей избегать германизмов привело к тому, что из верхнелужицкого литературного языка ушли и некоторые грамматические особенности (например, глагольного и именного словоизменения), которые возникли под влиянием немецкого языка и являлись обычными для литературно-языковой нормы предшествующего периода. Теперь норма исключает использование неопределенного артикля *jeden* с неопределенно-личным значением, сложных форм будущего времени, образованных по немецкому образцу типа *budu worišćić*, то есть с перфективными глаголами (вместо *budu nałožić* – *nałoži*), употребление местоимений *ten*, *ta*, *to*, *te* в функции немецких артиклей, пассивных конструкций с нормами глагола *wordować*, например, *worduje bity* (они оцениваются как вульгарные и не соответствующие литературной норме), конструкций с безличным глаголом и местоимением *wono* (как подлежащее в безличном предложении) типа *wono swita* (винительного падежа местоимения *wono*) (в функции немецкого *es* типа *wón jo wě* – нем. *er weiss es*), аналитических форм повелительного наклонения 1 л. дв. ч. и мн. ч. типа *pójmy nutř!*

Создание "чистого" верхнелужицкого единого литературного языка, по мнению тех деятелей национального возрождения, которые оказывали влияние на формирование языковой политики, способствовало сближению нормы литературного языка с узусом народного языка серболужичан, совершенствованию литературно-языковой нормы. Однако в ряде случаев речь шла о сознательной ее архаизации.

Изменения в верхнелужицком языковом узусе до известной степени можно проследить по материалам словарей и грамматик,

созданных в разное время на этом этапе развития верхнелужицкой литературной нормы. Действие пурристических тенденций сказалось и здесь. Оно нашло выражение в разрывах, который наблюдается между действительным узусом и кодифицированной нормой, представленной в словарях и грамматиках.

То обстоятельство, что кодификаторы иногда сознательно фиксировали в своих работах языковые элементы, чуждые нормам верхнелужицкого литературного и народного языков как в лексике, так и в грамматике, сыграло свою роль в ослаблении традиций народного языка в развитии единой верхнелужицкой литературно-языковой нормы, в дальнейшей "консервации" верхнелужицкого литературного языка, в увеличении его отрыва от разговорной и устной народной речи серболужичан, большинство которых в повседневной жизни пользовалось своим родным диалектом (наряду с немецким языком). Внедрение новых "подлинно славянских" норм, создаваемых языковедами, было трудно осуществимым: школьное образование в Лужицы было ограниченным, а за пределами Саксонии оно фактически не существовало. Язык серболужицкой письменности, освещенный церковной традицией, с трудом поддавался преобразованиям. Поэтому борьба с германскими продолжалась по существу на протяжении всей истории верхнелужицкого литературного языка, начиная с 40-х гг. XIX в. Процесс создания единой верхнелужицкой литературно-языковой нормы на базе серболужицкой культовой литературы протекал сложно и противоречиво. Новый верхнелужицкий литературный язык одержал победу главным образом в публикациях журнала Серболужицкой матицы, где выходили статьи, посвященные кодификации новых норм в области морфологии, лексики, синтаксиса. В литературе, рассчитанной на массового читателя, в газетах и журналах, он пробил себе дорогу не сразу.

Ряд субъективных и объективных причин повлиял на дивергентное развитие верхнелужицкой литературно-языковой нормы и нормы народного языка. Одной из причин было сильное влияние чешского возрождения с его очень сильными пурристическими тенденциями на деятелей национального возрождения в Лужице. Носителем верхнелужицкого литературного языка была главным образом интеллигенция, объединенная вокруг Серболужицкой матицы и поддерживающая все ее начинания, в том числе

и в туристической деятельности. Основной носитель серболужицкого языка – сельское население Лужицы – пользовалось местными диалектами и выступало в роли пассивных адресатов, на язык которых литературный язык не оказывал непосредственного влияния. В связи с этим некоторые серболужицкие лингвисты считали народный язык надежным критерием при оценке литературной нормы: в нем языковая система была якобы представлена в чистом виде.<sup>36</sup>

Характерно, что, по мнению некоторых исследователей<sup>36</sup>, туристические тенденции проявились и в культовой литературе, где в середине XIX в. наблюдается употребление более архаических форм, чуждых разговорному языку (например, форм деепричастий, аориста вместо соответствующих форм причастий и форм перфекта с личным местоимением в библейских переводах начала XVIII в.). Это дало основание говорить, что до перелома в развитии верхнелужицкого литературного языка в середине XIX в. не было принципиального различия между письменным языком серболужичан и их разговорной речью.

Приливы и отливы в процессе создания "хорошего" и "чистого" литературного языка определялись изменениями в политической и культурной ситуации в Лужице. Принцип народности литературно-языковой нормы, ее взаимодействия с тенденциями живого развивающегося народного языка серболужичан в XIX в. остался нереализованным.

Верхнелужицкий литературный язык как активное коммуникативное средство используется незначительным слоем серболужицкой интеллигенции и сохраняет характер языка, овладеть которым можно лишь путем усвоения литературных произведений. И, хотя развивающийся верхнелужицкий литературный язык в период серболужицкого национального возрождения является по существу языком нового типа (по сравнению с языком предшествующего периода), свойственные ему обособленность, изолированность от разговорного языка явились одной из причин уже тогда раздававшихся жалоб на "непонятность" верхнелужицкого литературного языка. Диалект для большинства носителей серболужицкого языка оставался основным средством общения.

С 70-х гг. XIX в. о верхнелужицкой литературной норме можно говорить как о поливалентной, надрегиональной форме языковой коммуникации, употребляемой как письменно, так и устно.

Развивающаяся литературно-языковая норма второй половины XIX в. зафиксирована в грамматических работах Ю. Либша, А. Муки, Ю. Краля<sup>37</sup>.

Уже в предвоенные годы на фоне развивающегося билингвизма носителей серболужицкого языка, растущего влияния немецкого языка появляются основания говорить о значительном упадке верхнелужицкого литературного языка, несмотря на все усилия верхнелужицких писателей.

Огромную отрицательную роль в развитии верхнелужицкой литературно-языковой нормы сыграл насильственный перерыв в живой традиции литературного языка, запрет на серболужицкий язык в период фашизма. Наряду с принудительным выселением серболужичан предпринимались попытки и принудительного введения немецкого языка в семейный обиход. В большей степени это удалось осуществить среди протестантской части населения Лужицы и встретило сопротивление у серболужичан католического вероисповедания. Это обстоятельство, вероятно, могло сказать и на проявившемся позднее влиянии католиков и их диалекта на верхнелужицкую литературно-языковую норму.

Для новой языковой ситуации, сложившейся в Лужице после войны, и для нового этапа развития верхнелужицкой литературно-языковой нормы решающее значение имел целый ряд новых факторов при продолжающемся действии некоторых старых тенденций, в частности, появление нового поколения носителей серболужицкого языка, у которого не было контакта с серболужицкой литературной традицией, поколения, для которого характерно новое отношение к литературно-языковой норме. На фоне отсутствия истинного знания этой нормы у представителей молодого поколения носителей серболужицкого языка возникает новая сильная волна пуризма, особенно ярко проявившаяся в 40-50-е гг. XX в. Неоправданное экспериментирование в области формо- и словообразования привело к неестественному усложнению верхнелужицкой литературно-языковой нормы и, как следствие этого, возникло непонимание литературного языка самими его носителями. В связи со сложившейся ситуацией встал вопрос о превращении исключительно замкнутой верхнелужицкой литературной нормы, которой пользовался избранный в культурном и социальном отношении интеллигентный слой серболужицкого общества, в более

демократичную, приближенную к узусу народного языка литературную норму. От решения этой проблемы зависела судьба верхнелужицкого литературного языка, поднятие его престижа. Не случайно в 60-е гг. центральными вопросами в языковедческих дискуссиях были проблемы соотношения верхнелужицкой литературной нормы и народного языка серболужичан, выяснение основных причин "непонятности" литературного языка. Серболужицкие лингвисты констатировали удаленность верхнелужицкой литературно-языковой нормы от народного языка, отсутствие знания системы и структуры народного языка у серболужицких писателей. В результате этого в литературном языке появились формы, чуждые народной речи и непонятные читателю (ср., например, функционально не оправданные и искусственно сконструированные итеративные глаголы типа *kćewać*, *krywać* и т. д.). Вопрос о структурной и функциональной оправданности новых для литературно-языковой нормы элементов, неизвестных народному языку, имел особое значение на фоне действия двух объективно существующих, но противоположных тенденций – тенденции к стабилизации литературной нормы и тенденции к ее постоянному обновлению в связи с новыми потребностями языковой практики. При этом следовало учитывать и факт развития нормы народного языка серболужичан в новой языковой ситуации, отличающейся от литературной нормы прошлого и настоящего периодов. Выдвигаемый языковедами принцип "народности" верхнелужицкого литературного языка и модернизации на его основе верхнелужицкой литературно-языковой нормы предполагал выработку критериев оценки слов и форм как элементов нормы, имеющих право на последующую кодификацию.

Для послевоенного этапа развития верхнелужицкой литературной нормы характерно некоторое сближение этой консервативной по своему характеру нормы с узусом живого и разговорного языка<sup>38</sup>, а также некоторые изменения, возникшие под влиянием других славянских литературных языков. Последние иногда носили принципиальный характер.

В области глагольного и именного словоизменения под влиянием других славянских литературных языков, прежде всего, чешского, возрождаются в некоторых случаях такие формы, которые на предыдущем этапе развития верхнелужицкой литературно-языковой нормы ощущались как архаические. Таких примеров достаточно

много. Ср., например, судьбу некоторых вариантов в области глагольной флексии: для 3 л. мн. ч. формы будущего времени глагола *być* употребляются три варианта – *budu*, *budźa* и *budźeja*; в верхнелужицком литературном языке до 1937 г. наиболее распространенной и нейтральной стилистически была форма *budźa*; наименее употребительной – форма *budu*, промежуточное положение занимала форма *budźeja*. Форма *budu* – стилистически маркированная как архаическая по своему характеру; форма *budźeja* свойственна разговорному языку. После 1945 г. форма *budźa* оценивается как некорректная и постепенно вытесняется из верхнелужицкого литературного языка; под воздействием чешского языка наибольшее распространение теперь получает форма *budu*, которая ощущается как нейтральная и уместная также в высоком стиле, в поэзии и художественной прозе.

Слабая стабилизация верхнелужицкой литературной нормы в послевоенный период ее развития объясняется, в частности, социальным статусом верхнелужицкого литературного языка, его местом в системе коммуникации, принципиально отличающимся от того, что наблюдается в других славянских литературных языках. Серболужицкий язык является специальным и факультативным средством общения и применяется лишь в некоторых сферах общественной жизни (иногда наряду с немецким языком при официальных, деловых контактах, в большей степени – на мероприятиях серболужицких организаций, заседаниях Домовины, в церкви, во время семейных праздников, чаще всего в повседневной семейной жизни, при общении с друзьями и знакомыми). При этом не существует господствующей роли литературной нормы, как не существует и ее нивелирующего по отношению к другим языковым формам значения. Несмотря на расширение сферы применения литературного языка, возросшую роль устных литературных форм и разговорной формы<sup>39</sup>, повышение престижа письменных литературных форм, все же наиболее распространенным средством коммуникации для большинства носителей серболужицкого языка остается диалект. Им нередко пользуется в неофициальном общении и интеллигенция – основной носитель литературного языка и его разговорных форм. Большая часть серболужичан, владеющих верхнелужицким литературным языком (часть из них владеет также и нижнелужицким литературным языком), сосредоточена в

католических приходах городов Каменца и Бауцена (Будышина) (Верхняя Лужица). Новое поколение серболужицкой интеллигенции, которая сконцентрирована в серболужицких культурных центрах, в личном общении употребляет литературный язык или разговорный. Последний является надрегиональной формой устного неофициального общения, прежде всего в Верхней Лужице. Необходимость в повседневном неофициальном общении представителей разных диалектных областей создает предпосылки для развития и стабилизации верхнелужицкого литературного языка и его разговорной формы. Таким образом, большая роль литературных (письменной и устной) форм и разговорного языка характерна для речевой практики серболужицкой интеллигенции, живущей в центре серболужицкой языковой территории. В условиях того или иного диалекта литературным языком пользуется незначительная часть населения, главным образом те, кто обучался в школе и знаком с серболужицкой литературой. Влияние литературной нормы в этом случае обнаруживается на всех уровнях диалектной системы, но в различной степени в зависимости от общей языковой или конкретной коммуникативной ситуации на данной территории.

Верхнелужицкая литературная норма находится под значительным влиянием диалектной нормы. Это в определенной степени связано с укреплением в настоящее время разговорной, наддиалектной формы, которая включает как литературные, так и диалектные элементы<sup>40</sup>. То обстоятельство, что серболужицкие диалекты сохраняют свое значение наиболее распространенного средства коммуникации для большинства носителей серболужицкого языка, определяет значительное влияние на верхнелужицкую литературную норму не только разговорного языка, но и самих диалектов. Усиление влияния немецкого языка, наблюдаемого в разговорном языке, близком диалектному, находит отражение и в верхнелужицкой литературно-языковой норме.

Характер нормы серболужицкого литературного языка и особенности ее функционирования, а также перспективы дальнейшего развития обусловлены уникальностью современной языковой ситуации в Лужице, то есть такими факторами, как массовый билингвизм серболужицкого населения, связанное с этим постоянное и сильное влияние немецкого языка, которым многие серболужичане владеют лучше, чем родным языком; достаточно

быстрое исчезновение серболужицких диалектов; сохранение компактного серболужицкого населения только на территории распространения католического диалекта, который оказывает стихийное влияние на верхнелужицкую литературную норму, так как большая часть серболужицкой интеллигенции происходит из этого района Лужицы; функциональная ограниченность в этих условиях литературного языка.

В то же время укрепление позиций верхнелужицкого литературного языка и обеспечение дальнейшего развития литературно-языковой нормы имеет особое значение для судьбы серболужичан. В условиях серболужицкой языковой ситуации существование серболужицкой литературно-языковой нормы является определяющим признаком серболужицкой народности (при всей важности таких элементов, как фольклор, исторические традиции и др.). В связи с такой ролью литературно-языковой нормы первостепенное значение приобретает изучение ее характера и кодификации, взаимоотношения с источниками нормы, разговорной формой, региональными формами, повседневная педагогическая практика, создание словарей, грамматик, учебников.

Среди этого круга вопросов особое место занимает определение взаимоотношений литературной нормы и народного языка, выяснение основных причин "непонятности" верхнелужицкого литературного языка, решение проблемы демократизации литературной нормы.

Серболужицкие литературные языки в ходе своего развития постепенно обособились от своих диалектных баз. Их консервативный характер с чертами искусственности сформировался в силу особенностей исторического развития серболужицкой народности, а также благодаря действию пурристических тенденций и тенденций к реславянизации, то есть внедрению искусственных форм со славянскими чертами. Из литературного языка оказались вытесненными узульные языковые формы, увеличилось число книжных структур особенно в произведениях молодых писателей послевоенного поколения<sup>41</sup>.

Кодификация, способствуя стабилизации системы, литературной нормы (подавляя новый узус, некорректный с точки зрения этой нормы), способствует в то же время углублению уже существующего противоречия между нормами литературного языка и нормами разговорного языка и диалектов, между кодифицированными и

некодифицированными нормами. В современном литературном языке такое противоречие иногда наблюдается там, где на предыдущих этапах развития литературно-языковой нормы отмечалось соответствие верхнелужицкой литературной и диалектной норм.

Примером взаимоотношения литературной нормы и нормы народного языка, а также роли кодификации на разных этапах развития верхнелужицкого литературного языка является употребление окончаний в формах И. дв. м. р. прилагательных и причастий: *-aj* и *-ej*. Изменения в употреблении этих окончаний характеризуют как верхнелужицкий литературный язык, так и верхнелужицкие диалекты. Конечный результат этих изменений в настоящее время представлен в серболужицких говорах, норма которых предусматривает фактически лишь одно окончание *-ej* для формы И. дв. м. р. (окончание *-aj* зафиксировано только в незначительном числе случаев в южных верхнелужицких говорах и является факультативным вариантом). Изменения в верхнелужицкой литературной норме касаются дистрибуции этих окончаний и состоят в переходе от оппозиции форм по признаку 'личный – неличный' к противопоставлению форм по признаку 'характер исхода основы'. Оппозиция первого типа формировалась в верхнелужицком письменном языке конца XIX в. и не соответствовала употреблению этих форм в диалектах. Оппозиция второго типа, хотя и непоследовательно выраженная, наблюдается в языке таких писателей XIX в. как Я. Б. Чишинский, А. Андрицкий, а также в верхнелужицких диалектах более раннего периода.

Современная кодификация, стремясь к определенному компромиссу между старой письменной традицией и узусом современного верхнелужицкого литературного языка, который соответствует диалектному употреблению окончаний в И. дв. м. р. прилагательных и причастий на определенном этапе развития диалектов, признает окончание *-aj* характерным для личных форм прилагательных с основой на твердый согласный, а *-ej* – свойственным всем остальным. При этом допускаются колебания в основах на *-k*, *-h*, *-ch*, где наиболее употребительно окончание *-ej*.

В верхнелужицких письменных источниках XVII – 2-ой половины XX в. в парадигме двойственного числа находила выражение категория одушевленности – неодушевленности: у одушевленных существительных винительный падеж двойственного

числа тождествен родительному, у неодушевленных – имени-тельному. В серболужицких диалектах, за исключением верхнелужицких северных, форма В./И. дв. отмечается и для одушевленных существительных. Диалектная норма оказала влияние на верхнелужицкую литературную норму, в результате чего в первые десятилетия XX в. здесь наблюдаются лишь единичные случаи употребления формы В./Р. для одушевленных существительных. В современном верхнелужицком литературном языке эти формы ощущаются как противоречие норме. Предложения грамматистов использовать формы В./Р. дв. в парадигме личных существительных не подкрепляются узусом современного верхнелужицкого литературного языка. По мнению некоторых серболужицких лингвистов<sup>42</sup>, ориентация на народный язык в процессе кодификации верхнелужицкой литературной нормы победила в области морфологии, о чем свидетельствуют формы И. мн. типа *tužojo*, причастия типа *lubowacy* вместо *lubiјacy*, формы 3 л. мн. ч. глагола *taja* вместо *taji*.

Как мы видели выше, в процессе формирования и развития верхнелужицкой литературно-языковой нормы большую роль играет проблема вариативности. Проблема вариантов, обусловленных внешнеязыковыми причинами, сохраняет свое значение и для современного периода функционирования верхнелужицкого литературного языка и имеет как теоретическое, так и практическое значение.

В течение XIX в. шел процесс интеграции двух вариантов верхнелужицкого литературного языка – протестанского и католического. В XX в. центр культурного развития серболужичан перемещается из Бауцена на территорию распространения католического диалекта. В верхнелужицком литературном языке все большее распространение получают некоторые языковые элементы этой территории Верхней Лужицы. В настоящее время наблюдается как бы промежуточная стадия этого процесса, направленного с востока на запад. Восточные элементы в одних случаях уступают свои позиции западным, в других – можно говорить о равнозначности двух вариантов, в третьих – восточные элементы еще преобладают. Сосуществующие варианты являются составной частью нормы верхнелужицкого литературного языка. Оценка их невозможна без выработки критериев, согласно которым их можно характеризовать как нейтральные, регионализмы и т. д. Однако эта проблема еще не

исследована. Примером вытеснения форм, свойственных бауценскому (будышинскому) диалекту, формами, свойственными католическому диалекту, является употребление форм И. ед. ср. р.: формы И. ед. ср. р. на *-o*, характерные для католического диалекта, постепенно становятся нейтральными и начинают замещать формы И. ед. ср. р. на *-e*, будышинского происхождения, ср., например, *zbožę* – *zbožo*, *wjesele* – *wjeselo*.

Подобные варианты, возникающие в верхнелужицкой литературно-языковой норме под влиянием внешних причин социально-общественного характера, наблюдаются и в области лексики. Ср., например, лексические варианты *běrny* – *neple* ‘картофель’, *honač* – *karon* ‘петух’, *kosak* – *kós* ‘черный дрозд’, где первый вариант – будышинского происхождения, второй – каменско-католического. Эти варианты стилистически не маркированы и в современном верхнелужицком литературном языке выступают как равноправные<sup>43</sup>.

Таким образом, перемещение центра общественной активности серболужичан из евангелической части в католическую часть Верхней Лужицы повлекло за собой усиление роли, степени влияния каменско-католического диалекта на верхнелужицкий литературный язык. Таково общее направление процесса, отражающего вариантные различия на уровне литературного языка (вариант здесь – не отдельное языковое средство, а иная языковая система): если в течение XIX в. шел процесс интеграции двух вариантов верхнелужицкого литературного языка, приведший к победе евангелического варианта, то в современной языковой ситуации большую роль начинают играть западные районы центральной части серболужицкой языковой территории. Большая часть серболужицкой интеллигенции происходит именно из этой области с наиболее компактным серболужицким населением.

В связи с проблемой социально обусловленных вариантов встает вопрос и об актуальных неисторических изменениях<sup>44</sup>. Речь идет о различиях в употреблении тех или иных форм представителями разных возрастных групп носителей литературной нормы. Ср., например, употребление в речи старшего поколения форм на *-ł* типа *wiknuył*, *korpuył* наряду с обычными формами типа *wikla*, *kopla* при этом формы, образованные непосредственно от базисной морфемы, могут преобладать; молодое поколение относится к формам первого типа как к разговорным, нелитературным и в стилистически

нейтральных контекстах использует исключительно формы с морфемой *-ny*.

Проблема вариантности при изучении верхнелужицкого литературного языка имеет большое значение и в том случае, если в понятии нормы выделяется не только внешний языковой аспект, но и внутренний, когда норма рассматривается как реализация системы языка. Составной частью верхнелужицкой литературно-языковой нормы являются варианты на всех уровнях языка (фонологическом, морфологическом, лексико-семантическом), которые факультативно используются в пределах синхронно воспринимаемой нормы в одной и той же функции. Среди такого рода вариантов возможны различные по характеру противопоставления: нейтральный вариант – инновация; оба варианта нейтральны, равноправны; вариант с чертами архаичности – вариант, наиболее употребляемый в данный период и постепенно вытесняющий первый вариант. Примеры подобного типа соотношений находим в субстантивном словоизменении: так, в Д. ед. существительных среднего рода – флексии-варианты *-i* и *-ej* дают пример соотношения первого типа; в их употреблении отражается процесс генерализации флексии *-ej*, характерный для большинства серболужицких диалектов и, следовательно, здесь речь идет о взаимодействии литературной и диалектной норм. Стилистически нейтральными являются флексии-варианты *-ow* и *-i* в Р. мн. существительных с основой на мягкий согласный *-kosćow, kosći*.

Высокая степень вариативности, характеризующая верхнелужицкую литературно-языковую норму на современном этапе ее развития, факультативное употребление различных форм в одинаковой синтаксической, морфологической или семантической функциях, нестабильность и вариативность стилевых норм дают основание говорить о низкой степени осознания верхнелужицкой литературной нормы. Свою роль играет и отсутствие кодификации литературной нормы, адекватной действительному языковому узусу. Это в значительной мере препятствует обеспечению стабильности литературной нормы, целесообразному элиминированию существующих вариантов. В свою очередь стабильность нормы в смысле соблюдения правил, предложенных кодификаторами, обеспечивается рядом экстралингвистических факторов – политическими и социальными условиями, в которых находятся носители языка,

языковой политикой и воспитанием тех, кто использует верхнелужицкий литературный язык как средство коммуникации; престижем литературного языка и т. д. С этой точки зрения трудно говорить о благоприятной языковой ситуации на данном этапе развития верхнелужицкой литературно-языковой нормы: дальнейшее изменение в этнической структуре населения в результате переселения на земли серболужичан немцев из пограничных областей других славянских стран, новое административное деление не способствовали сохранению компактности серболужицкого населения; сложностью и противоречивостью отличается сочетание субъективных и объективных факторов в политических и общественно-экономических условиях. Наряду с мерами, способствующими укреплению позиций литературного языка, действуют объективные факторы, ведущие к размыванию серболужицкого этнокума и, следовательно, к ослаблению или даже полной утрате определенных, уже завоеванных серболужицким языком позиций. При этом различные районы Лужицы характеризуются различными типами языковых ситуаций в зависимости от степени компактности серболужицкого населения, с разными типами и двуязычия и перехода к немецкомуmonoязычию, влияния немецкого языка и роли серболужицкого языка и его литературной нормы в условиях повсеместной конкуренции с немецким языком как универсальным средством общения<sup>45</sup>.

Третий этап развития нижнелужицкой литературно-языковой нормы начинается в 60-80-х гг. XIX в., со времени появления нижнелужицкой светской литературы. Менее интенсивное развитие нижнелужицкого литературного языка (по сравнению с верхнелужицким) объясняется неблагоприятной политической ситуацией, в которой находились серболужичане на территории тогдашней Пруссии, где серболужицкий язык и культура подвергались особенно сильному гонению. Национальное движение не получило в Нижней Лужице большого размаха. Нижнелужицкая письменность и правописание до середины XIX в. остаются на уровне ранних церковных произведений. Нижнелужицкая светская литература, как уже отмечалось, была представлена главным образом переводами верхнелужицких авторов. Влияние верхнелужицкого литературного языка проявлялось на всех уровнях языковой системы и особенно в лексике. Нижнелужицкие авторы используют правописание,

аналогичное верхнелужицкому. С изданием грамматики Б. Швельы (1952 г.) оно стало единственно официально допускаемой системой правописания, в котором нашли отражения попытки сближения двух литературно-языковых норм – верхне- и нижнелужицкой.

В нижнелужицкой литературно-языковой норме значительно меньше, чем в верхнелужицкой, проявлялись пурристические тенденции, в лексике сохраняется много старых немецких заимствований, грамматические нормы отличаются большой нестабильностью и вариативностью.

Влияние верхнелужицкого литературного языка усилилось в послевоенный период, так как большинство нижнелужицких авторов является носителями верхнелужицкого литературного языка. Сфера применения нижнелужицкого литературного языка очень ограничена. Как отмечает Ф. Михалк, "Исторический шанс на определенное устойчивое существование нижнелужицкий литературный язык получил лишь в бранденбургской анклаве Кочебуз".

На слабое развитие нижнелужицкой литературно-языковой нормы оказали решающее влияние экстралингвистические факторы, а именно, дискриминация серболужичан Нижней Лужицы и их языка в Пруссии и в период фашистской диктатуры, асимиляционные процессы, вызванные рядом причин и процессов (например, индустриализация, урбанизация Нижней Лужицы), слабое развитие нижнелужицкой интеллигенции и, как следствие этого, усиливающееся влияние верхнелужицкой интеллигенции, ощущение недостаточного признания нижнелужицкого литературного языка как обладающего самостоятельным статусом при существующем серболужицком литературно-языковом параллелизме.

<sup>1</sup> Schuster-Šewc H. Die Geschichte der sorbischen Schriftsprachen (ein Grundriss) // Славянска филология, т. 3. София, 1963. с. 135–151; Grammatik der obersorbischen Schriftsprache der Gegenwart Verfasst von Helmut Fasske unter Mitarbeit von Siegfried Michalk. Morphologie. Bautzen. Domowina-Verlagm 1981, S. 25–27; Schuster-Šewc H. Zur gesellschaftlichen Bedingtheit der standardsprachlichen Prozesse in Bereich der Westslawischen // "Zeitschrift für slavische Philologie", Bd. XVIII, 1973, S. 213–226; Idem. Wuwiće spisowneje r̄če pola Lužskich Serbow // Sorabistiske přednoški. Budyšin, 1977, s. 28–47, 136–138; Он же. Возникновение современного верхнелужицкого литературного языка и проблема влияния чешской модели // Формирование и функционирование серболужицких литературных языков

и диалектов. М., 1989, с. 4–24; Фасске Г. Формирование сербо-лужицких литературных языков // Формирование славянских литературуных языков: теоретические проблемы. Сборник обзоров. М., 1983, с. 178–204.

<sup>2</sup> Lötzsch R. Einheit und Gliederung des Sorbischen. Akademie-Verlag, Berlin, 1965, S. 1–29; *Idem*. Das problem der obersorbisch – niedersorbischen Sprachgrenze // "Zeitschrift für Slavistik", Bd. VIII., Hft.2, 1969; Schuster-Šewc H. Sprache und ethnische Formation in der Entwicklung des Sorbischen // "Zeitschrift für Slavistik", Bd. IV, 1959, S. 577–590; Lötzsch R. Einige Bemerkungen zu D. Brozovič Aufsatz "O specifičnim vidivima lužičkorsrpske jezične problematike" // "Lětopis Instituta za serbski ludospyt", R. A, č. 15/1, 1968, S. 82.

<sup>3</sup> Schuster-Šewc H. Wuwie spisowneje rěče..., S. 35. К концу XVII в. относится появление запретов на серболужицкий язык в судопроизводстве. Любое обращение к властям осуществлялось только на немецком языке. В официальной административной практике и в церковной жизни применялся метод устного перевода с немецкого на серболужицкий. Деятельность государственной власти, направленная на искоренение серболужицкого языка и культуры, была постоянным фактором в истории серболужицкого народа. О специфике исторического развития серболужичан и их языка см. Ермакова М. И. Особенности функционирования современных серболужицких литературных языков // Функционирование славянских литературных языков в социалистическом обществе. М., 1988, с. 84–87; Она же. Из истории нижнелужицкого литературного языка (XVI – начало XIX в.) // Славянское и балканское языкознание. История литературных языков и письменности. М., 1979, с. 212–231; *Idem*. Problems of Development of the Sorbian Language in Context with the specific Character of the Historical Development of the Sorbs // Language and Culture of the Lusatian Sorbs throughout their History. Berlin, 1987, S. 48–68. О влиянии внеязыковых факторов на изменение границ лужицкой языковой территории см. статью Marti R. Wliw njerěčnych faktorow na mroki serbskego rěčnego wobłuka // Z historii języków lužickich. Zbiór studiów. Warszawa, 1996, s. 67–86.

<sup>4</sup> См. Mětšk F. Die brandenburgisch-preussische Sorbenpolitik im Kreisse Cottbus vom 16. Jahrhundert bis zum Posener Frieden (1806), Berlin, Akademie-Verlag, 1962 (= Veröffentlichungen des Instituts für Slawistik 25); *Idem*. Die Stellung der Sorben in der territorialen Verwaltungsgliederung des deutschen Feudalismus. Bautzen, 1968; *Idem*. Der Anteil der Stände des Markgraftums Oberlausitz an der Entstehung der obersorbischen Schriftsprache (1668–1728) // "Zeitschrift für slavische Philologie", Bd. XXVIII (1959), I.

<sup>5</sup> О роли католического духовенства в развитии литературного языка см. в работах Ф. Михалка, посвященных основоположникам католического варианта верхнелужицкого литературного языка, роли контрреформации в

его формировании: Jurij Hawštin Swětlik a serbska spisowna rěč za katolikow // "Lětopis Instituta za serbski ludospyt", R. A, č. 27/1, 1980, s. 10–25; *Idem*. Latinizmy a germanizmy w rěči J. H. Swětlika. Příložk k stawiznam hornjoserbskeje rěče // Lětopis Instituta za serbski ludospyt, R. A, č. 19, 1972, s. 52–106; *Idem*. Aus der Korrespondenz J.X.Ticins (VI) // Lětopis Instituta za serbski ludospyt, R. A, č. 38, 1991, s. 51–74; Он же. Стабильность и вариантность серболужицкого языка // Формирование и функционирование серболужицких литературных языков и диалектов. М., 1989, с. 40–43; Он же. К вопросу о значении переписки Тицина для понимания истории верхнелужицкого литературного языка // Проблемы становления и развития серболужицких литературных языков и диалектов. М., 1995, с. 37–50; Lewaszkiewicz T. Łużyckie przekłady Biblii. Przewodnik bibliograficzny. Warszawa, 1995, s. 38–46.

<sup>6</sup> См. сноска № 4, а также Ермакова М. И. Из истории нижнелужицкого литературного языка..., где приведена соответствующая литература.

<sup>7</sup> Проблема "внутренней" и "внешней" динамики нормы поставлена в работе Е. И. Деминой "Проблема динамики литературно-языковой нормы" (Традиция и новые тенденции в развитии славянских литературных языков: проблема динамики нормы. Тезисы докладов международной научной конференции Москва, 24–26 мая 1994 г. М., 1994, с. 3–9).

<sup>8</sup> См. Журавлев В. К. Социально-экономические и культурно-исторические параметры формирования национальных литературных языков // Славянские литературные языки эпохи национального возрождения. М., 1998, с. 18–20.

<sup>9</sup> Об истории создания протестанского перевода Библии 1728 г. и его соотношении с трудом М. Френцеля см., в частности, Lewaszkiewicz T. Łużyckie przekłady Biblii. Przewodnik bibliograficzny. Warszawa, 1995, s. 34–35. Подробное описание языка М. Френцеля было предпринято Г. Шустером-Шевцем, который опровергает господствующее до сих пор в сорабистике мнение, что в языке М. Френцеля нашли отражение черты центрального верхнелужицкого говора, распространенного в окрестностях Бауцена (Будышина). Г. Шустер-Шевц доказывает, что в основе своей язык М. Френцеля представляет южные и юго-восточные верхнелужицкие говоры, которые можно определить, как "верхнелужицкую архаичную периферийную зону". См. Schuster-Šewc H. Die Sprache des Michael Frentzel (ein Beitrag zur Dialektgrundlage der obersorbischen Schriftsprache) // Z historii języków łużyckich. Warszawa, 1996, s. 87–113.

<sup>10</sup> Michałk F. Стабильность и вариантность серболужицкого языка..., с. 40.

<sup>11</sup> Lewaszkiewicz T. Łużyckie przekłady Biblii..., s. 39–40.

<sup>12</sup> Michałk F. Latinizmy a germanizmy w rěči J. H. Swětlika...

<sup>13</sup> Lewaszkiewicz T. Łużyckie przekłady Biblii..., s. 26; Ермакова М. И. Из истории нижнелужицкого литературного языка..., с. 220–222.

<sup>14</sup> Lewaszkiewicz T. Łużyckie przekłady Biblii..., s. 27–28.

<sup>15</sup> Ibid., s. 29.

<sup>16</sup> Siatkowska E. Z zagadnień kształtuowania się górnolużyckiego stylu biblijnego // Z historii języków łużyckich ..., s. 141–155.

<sup>17</sup> Ibid., s. 144–150, 153.

<sup>18</sup> Lewaszkiewicz T. Łużyckie przekłady Biblii..., s. 35–36.

<sup>19</sup> Степень различия католического и протестанского вариантов определяется по-разному. Ср., например, замечание Ф. Михалка: "Различия между этой версией католического варианта верхнелужицкого литературного языка и протестанским вариантом в начале XIX в. были так незначительны, что это дало возможность Я. П. Йордану... определить и кодифицировать их нормы как вариантные нормы одного языка" (Михалк Ф. Стабильность и вариантность серболужицкого языка..., с. 42). Важнейшие особенности католического варианта верхнелужицкого литературного языка отмечены Г. Шустером-Шевцем (см. Šewc H. Wuwie spisowneje ręce pola Łužiskich Serbow // Sorabistiske přednoški. Budysn, 1977, s. 33–34). О различиях на всех уровнях языковой системы, которые первоначально существовали между протестанским и католическом вариантах, и их значительном сближении в первой четверти XIX в. пишет Т. Левашкевич в упомянутой выше работе (с. 14).

<sup>20</sup> Это положение убедительно доказано в работе Т. Левашкевича.

<sup>21</sup> Ермакова М. И. Проблемы развития верхнелужицкого литературного языка в период национального возрождения // Славянские литературные языки эпохи национального возрождения. М., 1998, с. 99–101.

<sup>22</sup> Там же, с. 101–104.

<sup>23</sup> Faska H. Prócowanie Michała Hórnicka wo jednotność spisowneje ręce // "Rozkład", 9, 1983, s. 310–318.

<sup>24</sup> Jentsch H. Die Entwicklung der abstrakten Terminologie der obersorbischen Schriftsprache bis zum 19. Jahrhundert // Z historii języków łużyckich..., s. 219–228.

<sup>25</sup> Dr. Pfuhl. Lausitzisch Wendisches Wörterbuch / Dr.Pfuhl. Łužiski serbski słownik. Budissin, 1866.

<sup>26</sup> Pfuhl Ch. T. Laut- und Formenlehre der oberlausitzisch-wendischen Sprache. Bautzen, 1867.

<sup>27</sup> Pfuhl K. B. Hornjołužska serbska ręčnica, na přirunowacym stejišću // ČMS 1861, s. 3–95.

<sup>28</sup> Jentsch H. Die Entwicklung der abstrakten Terminologie der obersorbischen Schriftsprache..., s. 224–227.

<sup>29</sup> Ibid., s. 225–226.

<sup>30</sup> Ibid., s. 223–224.

<sup>31</sup> Трофимович К. К. У истоков терминотворчества в верхнелужицком литературном языке // Формирование и функционирование серболужицких литературных языков и диалектов..., с. 78–96.

- <sup>32</sup> Михалж Ф. Стабильность и вариантность серболужицкого языка..., с. 40.
- <sup>33</sup> Jentsch H. Die Entwicklung der abstrakten Termirologie..., s. 220–221.
- <sup>34</sup> Ibid., s. 221–222.
- <sup>35</sup> Ibid., s. 223.
- <sup>36</sup> Jenč R. K prašenju normy w hornjoserbskej spisownej rěči // "Serbska šula". 1964, 17, s. 247–254; 5, s. 309–317.
- <sup>37</sup> Liebsch G. Syntax der wendischen Sprache in der Oberlausitz. Bautzen. Leipzig, 1884; Kral G. Grammatik der wendischen Sprache in der Oberlausitz. Bautzen, 1895; Mucke K. E. Historische und vergleichende Laut- und Formenlehre der niedersorbischen (niederlausitzisch-wendischen) Sprache. Leipzig, 1891.
- <sup>38</sup> Lötzsch R. Někotre myслe k prašenju gramatiskeje normy serbskeje spisowneje rěče // "Rozhlad", 1964, 8.
- <sup>39</sup> О характере соотношения верхнелужицкого литературного языка и верхнелужицкого разговорного языка на морфологическом уровне см.: Ермакова М. И. Особенности функционирования современных серболужицких литературных языков // Функционирование славянских литературных языков..., с. 101–106.
- <sup>40</sup> Там же, с. 100–107.
- <sup>41</sup> Там же, с. 107. См. также: Jenč R. K prašenju normy...; Fasske H. Što je norma džensnišeje spisowneje serbštiny// "Rozhlad", 1968, 12; Idem. Wuviče normy hornjoserbskeje spisowneje rěče a jeje kodifikacije // "Rozhlad", 1975, 7.
- <sup>42</sup> Jenč R. K prašenju normy... s. 309.
- <sup>43</sup> Проблема вариантиности нормы верхнелужицкого литературного языка разрабатывается в статьях Г. Фасске: Фасске Г. Норма серболужицкого литературного языка и ее кодификация // Проблемы нормы в славянских литературных языках в синхронном и диахронном аспектах. М., 1976. Fasske H. Wariantnosć normy a jeje typologija // Wariancja normy we współczesnych językach literackich. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk. 1977; Idem. K problematice vztahu normy a úzu // "Slovo a slovesnost", 1977, r. 38; Idem. K někotrym aspektam tučasneho wuvića hornjoserbskeje spisowneje rěče // "Slavica Slovaca", 1981, r. 16, č. 3; Idem. Poměr nošerjow spisowneje rěče k jeje normje a kodifikaciji // Nadawki a hranicy rěčneje kodifikacije. Budyšin, 1979; Idem. Wuviče normy hornjoserbskeje spisowneje rěče a jeje kodifikacije // "Rozhlad", 1975, 7.
- <sup>44</sup> Faska H. K někotrym aspektam tučasneho wuvića hornjoserbskeje spisowneje rěče..., s. 274.
- <sup>45</sup> См. Ермакова М. И. Особенности функционирования современных серболужицких литературных языков..., с. 91–94.

## *Глава 5*

### **ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ДИНАМИКОЙ ЛЕКСИЧЕСКОЙ НОРМЫ В ТЕКСТАХ НОВОБОЛГАРСКИХ ДАМАСКИНОВ XVII–XVIII ВВ.**

Язык новоболгарских дамаскинов XVII–XVIII вв., т. е. книжный язык на народной основе (=КЯНО)<sup>1</sup>, определяется как результат взаимодействия традиционного литературного языка (=ЛЯ), выступавшего в “в своем позднем обличье” – в болгаро-сербской (ресавской) правописной редакции среднеболгарского типа<sup>2</sup>, и особого народно-разговорного идиома болгарского языка XVII в., репрезентацией которого признают *диалектное* койне зоны центральных балканских говоров<sup>3</sup>. При изучении отдельных сторон КЯНО, – в данном случае его лексической нормы (=ЛексН) – мы исходим из положений, базирующихся прежде всего на трудах Е. И. Деминой (см. сноски<sup>1</sup>).

1. Совокупность языковых средств, взятых за основу КЯНО (XVII в.), образует “определенную систему (с наличием отдельных вариативных звеньев)”; она реализуется в каждом из дамаскинов (одна из таких реализаций – язык Тихонравовского дамаскина [=Tx]). 2. КЯНО следует рассматривать в качестве книжно-письменного идиома, обладающего своей системой, узусом и нормой<sup>4</sup>. 3. Создание КЯНО (resp. его норм) и далее – его функционирование может моделироваться как *процесс*, как “ряд последовательно принимавшихся решений”, которые эксплицируют “выбор между традиционными книжными и народными выразительными средствами<sup>5</sup>. 4. Указанный процесс характеризуется, в частности, столкновением д в у х норм на разных языковых уровнях – (а) письменной нормы традиционного литературного языка и (б) устной нормы упомянутого выше народно-разговорного идиома<sup>6</sup>.

Общая характеристика нормы КЯНО, предполагающая выявление специфической организации общеязыковых средств в рамках этого литературно-языкового идиома, обусловленной ее функциональной направленностью, соотношения в нем традицион-

ных книжных и народно-разговорных элементов на разных уровнях системы письменного языка дана Е. И. Деминой<sup>7</sup> и включает несколько аспектов.

= В КЯНО реализуется принципиальное решение следовать на уровне *письма* традиционной книжной норме, на уровне *грамматики и словаря* – узусу народной речи, поэтому, с одной стороны, нормализация на основе традиционной правописной системы подчиняет себе написание всех элементов ж и в о г о языка, введенных в тексты КЯНО (в том числе – и поздних заимствований)<sup>8</sup>; с другой, – на grammaticalном уровне отмечается достаточно последовательное употребление важнейших структурных черт системы народного языка, а на уровне лексики норма<sup>9</sup> отражает предпочтение лексико-семантических единиц, свойственных узусу народной речи<sup>10</sup>.

= Таким образом, можно говорить об объединении, “симбиозе” в КЯНО особенностей обеих норм – при их дистрибуции по уровням письменного языка, что обеспечивало единство его системы и фактическое существование в каждом из уровней *новой нормы*<sup>11</sup>, а также относительно высокую степень последовательности ее функционирования (что может свидетельствовать об элементах сознательно отбора и закрепления этих норм, т. е. о *кодификации*<sup>12</sup>). Более того – в отношении ЛексН можно говорить о *синтезе* (=“взаимодействии, взаимопроникновении”) двух норм<sup>13</sup>. Это проявляется в значительном расширении самого набора выразительных средств (лексем, их дериватов, словосочетаний и др.) и в создании новой (“интегрирующей”) ЛексН. Соответственно – использование в текстах КЯНО тех или иных “книжных” и “народных” лексических единиц определялось типом конкретных высказываний, задачами функционально-стилистического характера и т. п. Вероятно, имея в виду сказанное, для “словарного” уровня КЯНО важно подчеркнуть именно идею “взаимодействия, взаимопроникновения” обеих ЛексН, не ограничиваясь констатацией пополнения “взятого за основу КЯНО XVII в. узуса народной речи книжными элементами”<sup>14</sup>. Как показано Е. И. Деминой на материале Тх, процесс введения в новоболгарский текст “нормативной” лексики, присущей дамаскинам “архаичного” типа, представляется достаточно сложным и отнюдь не “механическим”. В результате указанного “взаимопроникновения” возникали ряды вариантов-синонимов (равноправных и неравноправных), которые в дальнейшем могли дифференцироваться в плане разграничения сферы их употребления, изменения функцио-

нальной характеристики и под. Это, несомненно, обогащало КЯНО, сообщая ему гибкость и разнообразие форм выражения определенного содержания<sup>15</sup>. Таким образом, ЛексН КЯНО с самого начала своего существования основывалась на принципиальной "открытости" и "запрограммированной" вариативности.

При изучении ЛексН важным аспектом является именно выяснение *меры последовательности*, "строгости" воплощения нормы в конкретном тексте (resp. меры *варьирования*, допускаемой нормой<sup>16</sup>, или "диапазона варьирования"<sup>17</sup>). Большое внимание проблемам вариативности в сфере норм КЯНО уделялось Е. И. Деминой<sup>18</sup>. Она рассматривала, во-первых, примеры лексических вариантов, которые оцениваются как корреспондирующие с вариативностью, присущей, по данным "Болгарского диалектного атласа", и современным болгарским говорам из области "вероятной локализации диалектной базы КЯНО"<sup>19</sup>, - ср. *добитък* - *стока*, *ток* - *гумно* и др., и, во-вторых, варианты, возникшие в результате "взаимодействия" двух ЛексН – "традиционной", "книжной" и "народно-разговорной", таковы *гвоздей* - *пирон*, *камен* - *камик*, *съсяя* - *суча* и под.

Вероятно, феномен высокой степени лексической вариативности, которая отмечается в "старших", и особенно в "младших", дамаскинах, на самом деле негомогенен и может интерпретироваться различным образом: в одних случаях как следствие существования вариантов в самой ЛексН (=варианты, допускаемые нормой), в других – как отражение вариантов узуса. Таким образом, фиксирование в КЯНО лексических "реализаций" – вариантов-синонимов – кажется недостаточным; в принципе было бы важно выяснить статус каждой из них, т. е. их принадлежность "норме" или "узусу". Очевидна сложность (и, пожалуй, невыполнимость на данном этапе) этой задачи применительно к новоболгарским дамаскинам в целом (и тем более – к текстам отдельных памятников), поскольку они представляют лишь *одну*, книжнописьменную, "форму существования" языка. Казалось бы, известную помочь могли быовать данные о частотности того или иного варианта (например, можно было бы принять, что "высокая" частотность – признак ЛексН, "низкая" – узуса, хотя бы за счет употребления "окказионализмов" – см. выше), однако степень их надежности в решении интересующей нас проблемы невелика как потому, что исследование фреквентности лексических единиц КЯНО

находится на начальной стадии, так и потому, что статус вариантов выясняется с помощью более сложной процедуры, нежели простое установление числа их употреблений. Именно поэтому в дальнейшем мы пользуемся не только термином «(лексическая) норма», но и «синкетическим» «узус / норма».

Развитие лексической системы КЯНО XVII–XVIII вв., которое манифестируется в *изменениях*<sup>20</sup> его узуса/нормы (ср.: «изменение всегда начинается и развивается как «сдвиг» нормы»<sup>21</sup>), было обусловлено как собственно лингвистическими причинами (в том числе и необходимостью освоения и упорядочения результатов взаимодействия двух норм – см. выше), так в неменьшей степени и динамическими изменениями в языковой *ситуации*, в которой функционировал КЯНО. Она характеризуется, во-первых, существованием его с иными историческими типами болгарского ЛЯ (например, с «традиционным» болгарским языком), и, во-вторых, специфическими условиями функционирования самого КЯНО, которые определяются как его «децентрализация»<sup>22</sup>, т. е. как «экстенсивное, дивергентное развитие, проявляющееся в возникновении и функционировании в качестве потенциально-литературного языка все новых и новых книжно-литературных идиомов, по-разному решавших проблему соотношения в них традиционной и народной основы, а также выбора диалектной базы»<sup>23</sup>. «Децентрализация» активизировала такие факторы, как конкуренция различных письменных идиомов (и их норм), явление высокой степени вариативности узуса/нормы, характерной для КЯНО, тенденцию к частичной смене диалектной базы «народно-разговорного» компонента (в роли его мог выступать тот или иной территориальный говор, – то, что называется «писанием на диалекте»<sup>24</sup>. Общим следствием этих процессов в конце периода существования КЯНО стало отсутствие «достаточно стабильного книжно-литературного узуса» и невозможность «широкого распространения и закрепления нормы, сложившейся в письменном языке книжников XVII в.»<sup>25</sup>.

Таким образом, процесс «децентрализации» КЯНО определяет, по-видимому, сущность развития КЯНО в целом; одной из важнейших черт этого развития является подвижность, динамика узуса/нормы, – не только (а) в «диахроническом» плане, когда такой параметр, как «стабильность ~ изменчивость» данного идиома может быть изучен в совокупности ряда хронологических

“резов” (образующих его реальную историю), и в этом случае динамика узуса / нормы анализируется на основе с у м м ы вариантов<sup>26</sup>, выявленных в “старших” и “младших” дамаскинах<sup>27</sup>, так и (б) в “синхроническом” плане, когда указанная динамика связывается с изменениями (=“движением”) не во времени, а в пространстве, и в этом случае рассматриваются варианты, зафиксированные в текстах, близких по времени, хронологии, но различающиеся по месту написания, т. е. синхронно существующие варианты – результат частичной смены диалектной базы КЯНО<sup>28</sup>.

Подобный подход акцентирует внимание исследователя на изучении лексических вариантов в ряде дамаскинов (но и учитывает соотношения вариантов в отдельных “статьях” как одного из сравниваемых памятников), поскольку вне хронотопологического сопоставления статус зафиксированных вариантов оказывается амбивалентным, – они могут оцениваться и в качестве звеньев в цепи подлинно исторических изменений, приводивших к существенным изменениям в словаре (и к “сдвигу” в ЛексН [=“динамика ЛексН”]), и в качестве свидетельства функционально-стилистических (экспрессивных и под.) изменений, осуществлявшихся в рамках “внутрисистемной” дифференциации (в соответствии с “нормами словоупотребления”, принятыми создателями того или иного памятника) и приводивших не только к конкуренции лексических единиц (и вытеснению некоторых из них на периферию системы), сколько к обогащению и расширению корпуса выражительных средств, а также к интенсивной семантической эволюции многих лексем (=“уплотнение существующей модели”<sup>29</sup>).

В теоретическом плане вопрос о динамике нормы был поставлен Е. И. Деминой, она же предложила разграничивать “внутреннюю” динамику нормы и “внешнюю”. Проблема “внутренней” динамики нормы трактуется как “возможность появления исторически обусловленных вариантов, связанных с развитием языковой системы, а также вариантов территориальных, региональных, социальных”<sup>30</sup>, – т. е. применительно к конкретному книжнописьменному идиому (в данном случае к КЯНО), реализующему одно из состояний феномена «национальный ЛЯ», каким является, например, болгарский литературный язык. Напротив, “внешняя” динамика понимается как “надлитературно-идиомная”<sup>31</sup>, и, следовательно, о ней можно говорить, если анализируется некоторая совокупность форм манифестации того или иного ЛЯ; использование этого понятия

методологически важно также, например, при сопоставительном изучении норм (=ЛексН) дамаскинов “архаичного” типа (XVI в.) и новоболгарских типов (XVII–XVIII вв.) (далее нбт).

\* \* \*

Таким образом, сферой наших наблюдений является “внутренняя” динамика ЛексН КЯНО. Один из возможных подходов к изучению данной проблемы – в “диахроническом” и “синхроническом” планах – базируется, с одной стороны, на представлении о сложном “устройстве” системы данного книжнописьменного языка (изоморфно – его ЛексН), а, с другой, – на использовании метода сопоставления языка нескольких дамаскинов нбт. Наиболее эффективны, на наш взгляд, сопоставления, оперирующие “auténtичными”, т. е. совпадающими или близкими по составу эпизодов и языковому выражению фрагментами в текстах *нескольких* памятников<sup>32</sup> (а не “простыми” наборами, перечнями соответствующих лексем в и е контекста).

С помощью анализа *разнотчений* (определеных как “результат не только “ошибок” переписчиков, но и сознательной деятельности книжников<sup>33</sup>) в отобранных текстах и изучения *всех* зафиксированных вариантов могут быть выявлены изменения, которые далее оцениваются в плане их релевантности/нерелевантности для динамики нормы (=ЛексН); следовательно, нас в первую очередь должны интересовать те разнотчения, которые позволяют установить направления указанных изменений<sup>34</sup>.

Далее мы используем детальную классификацию лексических разнотчений, предложенную Л. Г. Паниным и базирующуюся на учете (а) степени языковой регулярности и (б) степени расхождения в содержании противопоставленных фрагментов текста; при этом в качестве минимальной единицы объема подобных фрагментов принимается фраза (=“оформленная синтаксическая конструкция”), передающая относительно законченное содержание, образ и под.<sup>35</sup>

С одной стороны, в изучаемых нами дамаскинах могут быть выделены лексические соответствия, отношения между которыми определяются как вариативные, – это и “существенно лексические вариантные разнотчения”<sup>36</sup>, т. е. “текстуально совместимые варианты”, и варианты, обнаруживающие известные лексико-семантические различия (=“синонимы”). Именно эти разнотчения и являются предметом анализа в настоящей работе. С другой стороны,

оставлены в стороне все иные случаи разнотечений, а именно – так наз. “функциональные” варианты, т. е. разнотечения, которые выступают в качестве вариантов/синонимов лишь в рамках специфической лексики, унаследованной из “традиционного” (=древнеславянского) языка, обозначающей понятия и явления “сакрального” характера<sup>37</sup>. Также не рассматриваются разнотечения, имеющие характер “контекстуальных” вариантов/синонимов, – в этих случаях появление лексических противопоставлений не приводит к возникновению различий в содержании (как правило, эти различия имеют эмоциональную, экспрессивную окраску)<sup>38</sup>. Наконец, близки к ним и некоторые *содержательные* лексические различия, вызванные причинами иного рода, – например, текстологическими (пропуски /вставки, перекомпоновка частей фразы и др.)<sup>39</sup>. Следует иметь в виду и наличие в дамаскинах разнотечений, обусловленных ошибками в понимании текста (текстов)<sup>40</sup>, служившего тому или иному книжнику источником (протографом).

\* \* \*

Ниже излагаются некоторые результаты наших наблюдений над ЛексН в виде: (I) сопоставления *собственно* лексических вариантов (см. выше) (с необходимыми комментариями) текстов Слова о Марии Египтянке (=МЕ), содержащегося в трех дамаскинах – Тх (XVII в., № 17), Котл (1765 г., № 9) и Св (1753 г., № 14)<sup>41</sup>; (II) сопоставления лексических вариантов из Слова об архангелах Михаиле и Гаврииле (=МГ), включенного в те же дамаскины; при этом Тх (№ 11) содержит наиболее пространный текст, к которому по набору эпизодов приближается Св (№ 10), – напротив, в Котл (№ 6) он значительно сокращен<sup>42</sup>, что тем не менее позволяет изучать языковые сходства и различия в ряде фрагментов. Рассматривались и тексты Слова о пророке Илие (Котл № 15 и Св № 20), – с целью установления *синхронных* различий ЛексН КЯНО, обусловленных возможной сменой диалектной базы в этих дамаскинах. Однако эти тексты настолько удалены текстологически, что подобное сравнение оказалось неэффективным; лишь в некоторых близких фрагментах можно установить надежные соответствия-перечни противопоставленных лексем, ср., например, в Котл: *тогива, кога(то), (два) момка, стомни, юнецъ, трапъ, погаде, слуга, налеите/сипете*, и др., при том, что в Св: *тугизи (тугисъ)*,

*куги*(*то*), *чловѣци*, *карчак*, *воль*, *яма*, *потрѣби*, *робъ*, *излѣите* и др.  
Далее эти материалы не рассматриваются.

При сопоставлении трех указанных памятников особое внимание обращается, во-первых, на *количественные соотношения лексических вариантов* (увеличение/уменьшение числа употреблений той или иной лексемы на протяжении XVII–XVIII вв.), и, во-вторых, – на *качество вариантов*, – принадлежат ли они к исこんной или заимствованной лексике. Разумеется, анализируемые далее материалы позволяют сделать лишь некоторые предварительные заключения о характере ЛексН КЯНО и направлениях ее изменения.

## I

### *найда/намеря* 'найти'

(также формы с возвратными местоимениями)

(БЕР 4, с. 477, 484, ЭССЯ 22, с. 113, 186).

Фиксация данных лексем в Слове МЕ в 3-х дамаскинах служит хорошей иллюстрацией процесса изменений ЛексН КЯНО на протяжении XVII–XVIII вв. Ситуация в Тх исчерпывающе описана Е.И. Деминой и характеризуется следующим образом: в статьях группы *тогази* обычно употребляется глагол *найда* (ср.: "массовость примеров... не оставляет сомнения в том, что эта лексема была присуща народному идиому, легшему в основу статей группы *тогази*"<sup>43</sup>, *намеря* в качестве основного отмечается в статьях группы *тогива*; выбор той или иной лексемы связан "с различием нормы, принятой в каждой из групп статей")<sup>44</sup>. При этом общим основанием закономерности появления в тексте Тх *найда* и *намеря* является то обстоятельство, что, по данным современной диалектологии, через область формирования КЯНО проходит (и, вероятно, проходила) изоглосса, к западу от которой употребляется первая лексема, а к востоку – вторая<sup>45</sup>.

С другой стороны, по-видимому, следует иметь в виду принадлежность *найда* (как рефлекса др.-болг. *нанти*) традиционному языку, поэтому многочисленные варианты *найда/намеря*, например, в Тх, могут интерпретироваться как отражение соотношения "лексический архаизм – лексическая инновация". При этом в МЕ в Тх отмечен только первый глагол, в Св. – только *намеря*; в Котл, текстологически связанном с Тх, но датируемом XVIII в., зафиксировано некое промежуточное состояние:

Tx	Котл	Св
далі ще съ най нѣкои калоѣръ на землѧ (164)	далі ще са намёри нѣкои калоѣръ на землата (886)	далі се ще намёри нѣкби дето да ма научї (504)
найдо <sup>х</sup> мѣл'къ кораб'цъ (1716)	найдохъ... мал'къ корабецъ (98)	намѣрихъ мѣлка ладиа (515)
бы <sup>х</sup> найшъль нѣкого ѣда пушинїака (1656)	...би се найшъль нѣкои мъжъ в пустиня (89)	дано намёри нѣкого старца пушинїака (505)
щѣшъ добрь покби да найдешъ (171)	та щѣшъ добрь покби да намёришъ (98)	щѣшъ намѣри голѣмъ покбй (514)

При передаче признака многократности действия (resp. несовершенного вида) Tx и Котл используют соответствующий глагол с супплетивной основой – рефлекс \*находити, в то время как в Св глагол *намеря* выступает как "двуихвидовой", так как нет данных о существовании глагола с чередованием *e : u* (ср. современный болг. *намирам*). Ср., например: Й ѩѣ находиши да ѿдѣшъ (Tx 1716) ~ й ѩо находиши за ѿдѣнїе (Котл 986) ~ от гдѣ намѣрешъ ястїе до днѣс (Св 515).

В силу значительных расхождений в текстах 3-х дамаскинов (см. выше) сопоставления подобного рода во многих случаях затруднены (или даже невозможны); тем не менее в наших целях могут быть использованы фрагменты, где, несмотря на "компрессию" текста в Св, в целом сохраняются конструкции, предполагающие использование глагола со значением 'найти', ср.: найдѣ єднѧ работа дѣто трѣтъ да се ѹсправи (Tx 176) ~ найди єднѧ работа дѣто трѣтъ да са ѹсправи (Котл 104) ~ намѣри много грѣшки (Св 525).

В некоторых случаях невозможно прямое сопоставление аутентичных фрагментов, однако иногда, когда проявляется различное акцентирование событий, допустимы, на наш взгляд, сопоставления данных глаголов и иных способов выражения описываемых событий. Ср.:

Tx	Котл	Св
заклина <sup>х</sup> те в' гѣ ба нашѣго... дето заради нѣго хбдиши тѣка (168)	заклиnam te в' гѣ ба нашего... дето зара <sup>х</sup> нѣго хбдиши тѣка (936)	заклинамъ та... речи ми, какъ са намёри в' тасъ пустына (509)

и ходьше. и приближí се при краи (174)	и ходьше и приближí се при краи (1016)	и намѣри са от другата страна на реката (521)
погреби... тѣлото на сырота марїа (1756)	погреби... тѣлото на сырота марїа (103)	погреби мбщту на света тамъ, дёту го намери (524)
и пакъ до година та ме щёшь видѣ... и чакай мёне на фнъзи странъ юрданъ что є (102)	доди пакъ на фнази съха двлчина дёто ти са пръвень исповѣдахъ	пакъ да добдишь на мѣстото дёто ма намери пръвио пъть (521)
блїзъ при монастырь (173)		

Ср. и обратное соотношение: и давнѣ бы се найшль старецъ (Tx164) ~ и данѣ би се найшль наѣко въ пустынѣ (Котл 89) ~ дали ще има нѣкую въ пустыни (Св 504), – характерно, что в этом примере сложная конструкция, выражающая пожелание, заменяется в Св более понятной "бытийственной".

Можно наблюдать, на фоне совпадений в употреблении глагола *найда* в Тх и Котл (при отсутствии параллелей в Св), также отступления в Котл и замену этой лексемы другой:

амъ ище пакъ да наиде ѿнъзи пропоѣница... и не мбже да ѿ найде (175)	ами ищи пакъ да наѣди ѡнъзи препоѣница... и не мбже да и найде (1026)	Св 2
зъ се найдѣхъ побназадъ (170)	а азъ са найдѣхъ поназадъ (966)	Св 0

Но: илъ дойдѣ а мёне не найдѣ (Tx 174) ~ или додѣ ами са пакъ връна (Котл 1016) (при Св 0).

**чувам / пазя** 'беречь, заботиться, хранить, спасать' и под.  
(ЭССЯ 4, с. 134).

При изучении колебаний в употреблении данных глаголов (а также алтернативных им), которые фиксируются в Слове МЕ, важно учитывать результаты, полученные Е. И. Деминой на материале всего текста Тх: в статьях группы *тогази* глагол *чувам* употребляется, как правило, последовательно, в статьях группы *тогива* преобладает *пазя* (небольшое число вариантов присутствует в

обеих группах)<sup>46</sup>. Это означает, по мнению Е. И. Деминой, что народный идиом, легший в основу КЯНО, в целом отражал положение в западноболгарских говорах, о чем свидетельствуют современные диалектные исследования, согласно которым через р-и Луковит–Тетевен–Энтрополе проходит изоглосса *чувам* (запад) ~ *пазя* (восток) в указанном выше значении<sup>47</sup>.

Примеры из Слова МЕ в 3-х дамаскинах показывают сложность соотношения этих (и некоторых других) глаголов и изменения в ЛексН; по данным Слова МЕ глагол (*y*)*чувам* в интересующем нас значении отмечается лишь в Тх, – при фиксации также глагола *пазя*; в Котл и Св известен лишь последний (впрочем, часто ему соответствуют и иные способы выражения):

й ѿ прे́льстъ ѝ да ни чю́бова (168)	й ѿ пре́льстъ ѝ да упáзи на <sup>c</sup> (936)	богъ да изба́ви нась...
упáзи ми грéшного моё тéло (1726)	ѝ Упáзи ми грéшного мое тéло (996)	(509)
тovà що тý исповéда <sup>x</sup> сич'ко... заклýнам <sup>e</sup> те във <sup>f</sup> ха спса нашего ником <sup>g</sup> да кáжешь (173)	заклýнам те въ ха спса нашего... ником <sup>h</sup> да не си казáль (100)	Св ø
		тéзи, дéто ти рéкохъ и си чóль, пазí ги и ни́кому да не ги речéшь (519)

Из-за значительных вариаций текста зафиксированные в Котл и Св *единичные* употребления глагола *пазя* не имеют соответствий в двух других дамаскинах. См., например: *иди* си сега... съ мýромъ бжéим<sup>i</sup> да си упáзинъ ѝ догодíна доди́ пáкъ (Котл 102) ~ *иди* си съ миро<sup>j</sup> ѝ пáкъ до годíна та́ ме щéшь вíдѣ (Tx 173) и: *иди*... сасъ пóмощь божíа, и на дру́гата годíна, дéту *иди*, пáкъ да дóдишь (Св 521). Ср. также:

да речéшь и́менъ юаннъ... в е́д'на рáбота що е стóрена тýка трéбыва да се испра́ви (1736)	...що è стóрена една и да речéшъ на авва́ рáбота тýка трéбыва да Йоáна, на и́гуменá- са ѹспра́ви (Котл токъ... да сá пáзи 1006)	добré, защó мнóго злиní сá вýтри в <sup>k</sup> манастíрю дéто трéбувать да са испра́втъ (519)
---	--	--

Таким образом, имеющиеся примеры показывают переориентацию в данном пункте ЛексН КЯНО в дамаскинах XVIII вв., учитывая особенности восточноболгарских говоров.

**след / подир(е)** 'последовательность в пространстве и времени'.

Сдвигом в ЛексН КЯНО XVIII вв., несомненно, под влиянием диалектного фактора, является употребление в Св предлога *подире* (*подиръ*, *подера*), – при том, что в Тх и Котл или фиксируется другой предлог (*след*, *послед*), или используются иные способы выражения. Здесь важно учитывать выводы, сделанные Е. И. Деминой на основе изучения предлогов, употребляющихся в Тх и других дамаскинах, для передачи идеи "последовательности"; основное внимание исследовательница уделяет предлогам *след*, *послед* и *по*; она полагает, что "народный идиом, положенный в основу книжного болгарского языка XVII в., былложен в непосредственной близости к району изоглоссы *послед*"<sup>48</sup>; в то же время, как показал М. Младенов, изоглосса, очерчивающая западную границу распространения предлога *подир*, начинается между Свиштовом и Русе, идет по линии Бяла-Г. Ореховица-Габрово-Харманли-Свиленград, и, следовательно, наличие в Св указанного предлога – результат воздействия диалектов в районе создания данного памятника. Отсутствие же этого предлога в тексте Котл, возможно, объясняется зависимостью последнего от текста Тх (что, кстати, проявляется и в употреблении иных конструкций, которым в Св соответствуют сочетания с предлогом *подир*):

да ўдъ ѹ сега ...слѣдъ ...слѣдъ тѣбе (102)	да дбда подѣра ти (522)
тѣбе да ти глѣдамъ (1746)	
и ѹдѣше слѣдъ оногбва (1646)	и ѹдѣше слѣдъ оногбва (89)
но и:	
начѣ да се течѣ да го стїгне (166)	начѣ да са тиче да го стїгне (916)
не бѣгай, ѿми сѣ запрѣ	не бѣгай, ѿми са
	почѣ да тїча подїре му (506)
	не мбга да тїчемъ

\* Младенов М. Предложи със значение 'последователност във времето и пространството' въ българските говори // Изследвания върху историята и диалектите на българския език. София, 1972; также: Он же. Още за конструкции от типа (върви) подире ми // "Съпоставително езикознание", 1985, № 4.

та мè почáкаи... (166)	запрý... (916)	подíре ти (506)
й минъ се голѣ <sup>н</sup> ча <sup>с</sup> (1666)	й мýна се голѣ <sup>мь</sup> ча <sup>с</sup> (92)	и подíръ мнóго часъ (507)
а тià мнóго кбсно стоа и мблыше се (1676)	а тiа мнóго кбсно стоя и мблashi са (93)	...и подíръ мнóго врéме (Св 509)

### Рефлексы др.-болг. начати

(ср. начинам, начна в БЕР 4, с. 574–575).

Анализ языка Слова МЕ в избранных дамаскинах позволяет выявить особенность лексической (resp. лексико-сintаксической) нормы Тх, Котл, по которой они противостоят Св, – речь идет об употреблении в первых двух "инициальных" конструкций «'начать' + 'делать что-либо'»; наиболее частотным является рефлекс др.-болг. начати (реже – с иными префиксами), чему в Св, помимо этих конструкций, соответствуют и некоторые другие. Укажем вначале параллели между текстами 3-х памятников:

й начè да плаче (175)	й наче да плаче (1026)	начé да плачи стáрицоть (522)
начè да бѓга ѩ зосима (166)	й начè да бѓга ѩ збси- мь (916)	почè да тýча подíре му (506)
й начè да копае... (1756)	й начè да копае (1036)	и почá сась него да купáй... (523)

Указанная конструкция в Св может заменяться на конструкцию с глаголом *хвана*, имеющую как будто "разговорный" характер: начè да се течè да го стýгне (Тх 166) ~ й начé да сà тиче... (Котл 92) ~ той хвáна поб-много да бѓга, алá тýчеше по-бръжи (Св 506).

В то же время в Св заметное предпочтение отдается или приставочным глаголам, обозначающим сущность деятельности с оттенком начинательности, или же, напротив, последний оттенок ослабляется. См., с одной стороны:

й начè да вýка тврьдт, и плаче й вýка. щò бѓашь ѩ мéне (166)	й начé да вýка тврьде и плаче й дýма. що бѓашь ѩ мéне (916)	...расплáка са стáре- цать... защó бѓашь от мéне (506)
й начéхъ да плачу... и начe <sup>x</sup> така да дýма <sup>н</sup> (170, 171)	й начéхъ да плача... и просльзíкъ са и начехъ да са мблa réкох (513) (966, 976)	

Но, с другой:	
ѝ начè да се мбли ѹ да	ѝ начè да са мбли ѹ да
шыпне (1676)	шыпне (93)

  

	тугíсь стáна на мнóго
	чáсъ и молþши са
	светá алá гласть са ни
	чóваше от устáта ѹ
	(508)

Оттенок повторительности в инициальном глаголе в Тх (и Котл) выражается с помощью двуприставочного глагола, то же значение в Св передается лишь лексическими средствами: ѹ тиа пákъ започè да сї кáзвा дýмть (Тх 169) ~ ѹ тїа пákъ започè да си кáзвা дýмата (Котл 956) ~ пákъ отговóри светá и кáже му (Св 511).

Пример элиминирования значения начинательности в Св (в сравнении с Тх и Котл) см. в: ѹ Ѹтогáзи начéхъ без<sup>4</sup> скопось да чйни күр'вóв'ство (Тх 1686) ~ ѹ Ѹтогáзи начéхъ без<sup>4</sup> скóпость да стрýвамъ күрво<sup>5</sup>ство (Котл 946) ~ и тóлкози са в<sup>4</sup> грýхъ вáлехъ, кóлкото си угáждахъ на умόть (Св 510). Ср.: ѹ начéхъ да пláчю... та пláчахъ (Тх 170) ~ ѹ начéхъ да пláчахъ (Котл 966) ~ и както пláчахъ ради грéховéте си (Св 513).

Отметим также обратное соотношение инициальных конструкций с рефлексами др.-болг. **начати** и иных способов выражения оттенка начинательности, с одной стороны в Тх, Котл, а с другой – в Св. Так, в последнем находим: начéнхъ да ямъ, смíслехъ са мéсо и рýба, винбóто мнóго (516), тогда как в Тх: когà ўзмè маљко сýхъ хлýбець... (172), также в Котл – ...узéмехъ малко сýхъ хлýбець...(99); ср. и в Св: и начéнхъ да пýа (516), при Тх, Котл – ø.

Отметим также, что в Тх и Котл встречается и “свободное” употребление глаголов со значением ‘начинательности’ – ѹ тби почé ѿче нашь (Тх 1746) ~ ѹ тби почé ѿче нашь (Котл 102) ~ и речи отче нашь (св 521); когà си започéла, а ты доврьшà (Тх 1716) ~ когà си започéла, а ты сыврышí (Котл 986) ~ Св ø.

### **нога / крак** (БЕР 2, с. 710)

Как показано Е. И. Деминой, для ЛексН Тх характерна лексема **нога**, отмечены лишь единичные случаи употребления лексемы **крак**<sup>49</sup>; данное положение может быть истолковано и как наследие нормы традиционного книжного языка (ср. язык дамаскинов

средногорского типа), при том, что она испытывала воздействие и со стороны народно-разговорного языка<sup>50</sup>. Современная изоглосса *нога/крак*, проходящая значительно западнее области создания КЯНО, заставляет предположить, что данная изоглосса ранее проходила восточнее, что объясняет наличие вариантов "в самом исходном народном идиоме"<sup>51</sup>. Та же ситуация отражена в целом и в Котл; в то же время Св в целом демонстрирует смену ЛексН – и преобладание народной формы *крак* (*крака*). См.:

падн̄ на нōб̄те и...	падн̄а на нбзите и...	пáдна доблу на
(168)	(936)	земѣта... и хвáна са за
и лíжъть Ѽ нoб̄te	и ближкат' Ѽ нбзите	кракáта светые (509)
(1756)	(1036)	(лежáши) на кракáта светые (524)

Об эпизодическом употреблении лексемы *нога* в Св говорит следующий пример: Ѽ óмì нoб̄te съслъзи (Tx 175) ~ Ѽ óмì нбзите и са<sup>с</sup> сльзи (Котл 103) ~ фанá нoб̄te... и ги мбкреше съслъзит̄ си (Св 523).

Отметим и использование лексемы *крак* (*крака*) в контексте, в котором Tx и Котл используют иную лексему, см.: Св (524) фанá сáсь преднит̄ си кракá ископá..., при – със<sup>с</sup> вáшите нóкте (Tx 176) – са<sup>с</sup> вáшите нóкти (Котл 1036), т. е. 'лапы' (—> 'когти').

### *тело / снага*<sup>52</sup>

Число словоупотреблений лексемы *тело* в Слове МЕ в Tx (Котл) значительно больше, чем в Св (не в последнюю очередь, возможно, в силу большей краткости текста в нем), – так, в Tx соотношение *тело/снага* 18:1, в Св – 5:2; это делает затруднительным полноценное сравнение. Тем не менее могут быть сделаны некоторые предварительные наблюдения и выводы, например: (1) В Tx и Котл отмечаются такие значения *тeло*, как 'тело (живого человека)', 'тело мертвого человека, труп', 'священное тело Иисуса Христа' (что соответствует семантике лексемы в традиционном языке), инновация *снага* фиксируется в значении 'тело живого человека'. В Св обе лексемы зафиксированы в первых двух значениях, а по отношению к телу усопшей святой (Марии Египтянки) употреблен архаизм *мощту*. См.:

и давá си щь тълóто	и да ѹм <sup>4</sup> ща телóто	амí имáмъ тéло и да
си да чýнать със <sup>4</sup> мене	си... (95)	са хрáн <sup>4</sup> ... (511)
какъ ўицть (169)		
да сì ѿскврънава <sup>4</sup>	да си ѿскврънава <sup>4</sup>	да нí умръст <sup>4</sup> вам <sup>4</sup>
тълóто (1706)	тълóто (97)	снагáта си (513)

Ср.:

погребí тълóто на	погребí ... тълóто на	погréби снагáта на
сырота Марíя (1756)	сырота марíя (103)	смиréна Марíя (523)
да ѹ погреbъ тълóто	да и погрѣbà телóто ...	...да погреbéмъ на
марíино... да се	да сá покрїй тълóто	светаl мόщиту... да
покрїе тълóто стò	марíино (1036–104)	покрїй тълóто на
(176)		светаl (524).

Приведем и некоторые дополнительные примеры из Тх и Котл,		
детализирующие семантику лексемы тéло (в Св соответствий нет):		
че съ сì тý подобрѣ бý	че сí тý подобрé бý приближíла	
приближíла тълóто със <sup>4</sup> голáма	й...та сí си ѿмрътвíла телóто са <sup>c</sup>	
чéсть (167)	голáма чéсть (926)	
Ўимаше сéбt си мрýт'въ със <sup>4</sup> тълóто	Ўимashi сéбе си мрýтвъ са <sup>c</sup> тълóто	
(1646)	(896)	

Особенностью Св, если судить по Слову МЕ, является тенденция избегать употребления лексемы *тéло* в случаях, когда она присутствует в Тх и Котл; впрочем, можно указать и случаи использования последней в Св, – возможно, с целью большей конкретизации текста. Ср.:

и ... ѿнова тълò, що	... ѿнова тéло що	бнзи (дето са
бгаше (1666)	бгаше (916)	глéдаше) (507)
ѡ стò причещеніе ѿ	ѡ стое причéщеніе	(да ми донесéш <sup>4</sup> )
тълóто ѹ кръв'ть хý бý	тълóто и кръвь хр <sup>c</sup> та бгá	светое причещéниe
нашемъ (173)	нашего (1006)	(519)
тý видѣ тълóто ми	ти виде тълóто ми	да ма видишъ, че смы
голо (168)	голб (94)	гбла (507)

Вместе с тем:

и видѣ Ѹ десна страна сънка чилаш'ка (166)	и видѣ ѿ десна страна сънка члчска (91)	като сънка че му са яви человеческу тѣло (506)
и сторі си крѣть на челото, и на ѿчите (168)	и сторі си крѣть на челото и на ѿчите (936)	сторі крѣсть на сичкото си тѣло (509)

Специфичным для Слова МЕ в Тх и Котл является и наличие в них нескольких фиксаций лексемы *пльть*, семантика которой в отдельных контекстах оказывается близкой семантике лексемы *тѣло*. Ср., например: и дава<sup>x</sup> си пльть на сич'ки людіе (Тх 1686) ~ и давах<sup>x</sup> се пльта на сички людіе (Котл 946) (ср. приведенный выше пример: и дава си щь тѣлбо си... [Тх 169]); укажем и на наличие обычного значения – ‘плоть’, ср.: тогози ўагла, що є със<sup>c</sup> пльть (Тх 175) ~ тогози ўагла що є са<sup>c</sup> пльть (Котл 1026); нѣ съмь үдръжала пльть си (Тх 168) ~ не съмь үдръжала пльта си (Котл 946) и под.

Таким образом, уже в старших дамаскинах (в том числе в Тх) отмечаются единичные случаи употребления народного слова *снага* – при том, что обычным остается слово *тѣло*, унаследованное из народного языка. В Св, по-видимому, можно констатировать активизацию этого “нового” слова, – во всяком случае, расширение его семантики, – и в этом усматривается динамика ЛексН КЯНО.

**чиня / сторя (струвам)** ‘сделать, делать’ и под.  
(также формы с возвратным местоимением)

(ЭССЯ 4, с. 112; СС, с. 779, 690; Skok III, с. 530–531 и др.)

В слове МЕ во всех 3-х дамаскинах отмечаются фиксации как первого, так и второго глаголов, в Тх и Котл они находятся, по-видимому, в отношениях конкуренции (т. е. выступают как ситуативно совместимые варианты), а в Св представлен только глагол *сторя (струвам)*. Сравнение текстов Слова МЕ показывает и возможности альтернативного использования иных средств, что может быть расценено как поиски книжников в сфере стиля.

Обычным является употребление глагола *сторя (струвам)*, который, несомненно, может характеризоваться как народно-разговорный элемент, во всех дамаскинах, например:

и кога стбri <sup>x</sup> ві годіны (1686)	и кога сторіхъ ві годіни (94)	като стбрихъ... годіни (510)
---	----------------------------------	---------------------------------

Ѥ́ годіны стбrixъ	Ѥ́ годіни стбrixъ	...годіни стбrixъ в
тъзи пыстына (1716)	тъзи пыстына (986)	пущенéто (516)
ѝ стори́... що щь да ти	ѝ стори́... що щà да ти	да стбriшь туй дёто
зарбчамь (173)	зарбчамь (100)	ти кáжа (519)
що мý повелé да	що мý повелé и да	алá легомý кóлко ми
стбрю (1676)	стбриа (93)	повелвашь да стбрт послушанíе (508)

Многочисленны и случаи употребления данной пары глаголов лишь в Тх и Котл (при отсутствии в тексте и под. Св соответствующих фрагментов):

какъ ище бý да ти	и какъ ище бý да те	Св ø
стбри си́чко да е на	стори́ да е на добро си́-	
добрô (1646)	чко (896)	
ѝ тиे стбриха по	ѝ стрываше се като	Св ø
тбх'ны ўбычаи (1656)	има ўбичае (90 б)	
тебé подобае да	тебе по <sup>д</sup> обаeть да	
стбришь млтвъ... женâ	стбришь млтвъ...	Св ø
гбла. дето нtè	жéна голà дёто не è	
стбрила нiй ёднò	стори́ла нiй ёднò добрò	
добрô... дá ми нtкoл	... да мý стбришь	
слjжba стбриш (167)	нáкоа слjжба (92-93)	
си́ч'ките да гí стбри	да гí стбри да	Св ø
да кýр'вать със'	кýрвëть... и стбрихъ	
мене... и стбриx		
си́ч'ките та се засмëха		
си́ч'ките та се	(95-956)	
насмëха (169)		

и под.

Иногда текст в Котл оказывается более пространным – именно за счет введения конструкций с глаголом *сторя*, см.: като с'мъ тол'кова дўши ўскврnyila (Тх 1696) ~ като с'мъ тблкози әло стори́ла, и дши ўскврnyila (Котл 95).

Тексты Тх и Котл противостоят тексту Св и в случаях, когда в первых употребляется данный глагол, а в Св соответствующий эпизод излагается иначе (чаще всего – сокращенно):

ѝ стори́ ми се като	ѝ стори́ ми се като	и вёки не можихъ да
воискà мнфго... (170)	воискà мнфго... (966)	влеза (513)

да ми не стбри пакость (1716)	да ми не стбри пакость (976)	дёту пакость мнбго имахъ от дїавола (516)
ѣд'на работа ѿ є сторена (1736)	що є стбрена єдна работа (1006)	мнбго элинй са вѣтри в' манастирю (519)
и не може нишо да стбри (1756)	и ни можи нишо да стбри (1036)	и не можеши (524)
Лишь в Тх и Котл, как указывалось, отмечается глагол <i>чиня</i> , при этом в ряде примеров проявляется противопоставление Тх и Котл, – в первом используется <i>чиня</i> , во втором – <i>сторя</i> :		
как'вà безаконїа чини <sup>x</sup> ... тъзи работа	каквà безаконїа стрѣвахъ... тъзи	и кблко а грѣховѣ стбрихъ тамъ (512)
чини <sup>x</sup> ... ѩд чини <sup>x</sup> (1696)	работа стрѣвахъ ѩд стрѣвахъ (956-96)	аъзъ струвахъ грѣхуть (512).
таквази скврьнава работа чина... не Ѣ векѣ чинї тъзи работа (170-1706)	таквази скврьна работа стрѣвала... ни ща стрѣва таквази	Св 0
бъ дето чини чюдна работа (1726)	работа (966-97)	Св 0
и думма мв ѩд чинишъ (174)	бъ дето стрѣва чюдна работа (100)	Св 0
и хвалъ бъ дадоха. и чинахъ ѩки паметь (176)	и думма мв ѩб стрѣвашъ (1016)	Св 0
да чинять със' мене какъ ѩцть (169)	...и и стрѣва и паметь (104)	Св 0
и молба чинахъ (1646)	да стрѣвать... какъ ищать (95)	Св 0
и чинаха моленіе и метаніе (165)	и молба стрѣваха (89)	Св 0
и что є чиниль, и какъ се е постыль... и	и стрѣваха моленіе и метаніе (90)	Св 0
чинтише си като си чишаше ѩбъчай... и	и что є стрѣваль и какъ и постыль...	Св 0
	и тие сториха по тѣхни обичае...	

метаніа сї чінъше (1656-166)	ї метаніе си стрѣваш <sup>4</sup> (906-91)
да чінеть блѣдъ със <sup>4</sup> мене... да чайни	да стрѣвать блѣдъ са <sup>c</sup> мѣне... да стрѣвамъ
кървовъство... що съмъ безаконно чинила...	кърво <sup>b</sup> ство... що съмъ безаконно стрѣвала...
чини ми се да побчнъ да ти кѣзвамъ	стрѣва ми са да почёна да ти кѣзвамъ
житіето моє (1686)	житіето мое (94-946)

и др.

Отметим расхождение между Тх и Котл – за счет появления в последнем конструкции со *струвам* (*se*): така си имахъ *обычаю* (Тх 1656) ~ ї стрѣваше се като се има *ѹбичае* (Котл 906).

Вместе с тем иногда глагол *чиня* фиксируется лишь в Котл (при *сторя* – в Св и иной конструкции в Тх): чини ще мѹ би нїшо злò (Котл 1036) ~ да нё му стори зарарь (Св 524) – не ще мѹ бї нїшо злò (Tx1756).

Впечатление о частотности глагола *сторя* (*струвам*) и последовательности его употребления в Св подкрепляется и примерами, где указанный глагол "заменяет" иные глаголы и словосочетания, фиксируемые в Тх и Котл. Ср.:

...дá ми съвръшишь... (1746)	...дá ми съвръшишь... (102)	една вѣла да ми сторишишь (521)
и... прѣкрѣсти се (166)	ї прикрѣти се (93)	стори крѣсть на сѣбе си (506)
ѹ манастиръ тобизи сѣдѣ до, ѿ, годинъ (164)	ѹ монастыръ та сѣдѣ до пѣт'десетъ години (886)	до гдѣ стори старецъ години педесѣт и три (504)
ї минѣ съ нѣкое врѣме (1736)	ї міна се накои врѣме (101)	стори мѣлко дни (520).
ї поклони се (зосима) (1736; ср. и 1646)	да ї са поклони (100; ср. и 896)	иска да стори митаніе (518; ср. и: стори метаніе [505])
тби се прѣклони на колѣнѣ доль до земля... така ї тыа	а тби са приклѣни на колене доль на землята... ї тїа се	и стори метаніе, тби и бнзи стори метаніе (507).

Остановимся еще на параллельном употреблении глагола *сторя* в сочетании *сторя кръст* и глагола *прикръсты* в Тх и Котл (при отсутствии последнего глагола в Св): ѹ прѣкре́сти се. ѹ стори́ си крѣ́ть на чело́то, ѹ на ѹчи́те (Тх 168) ~ ѹ прекре́ти са ѹ стори́ си крѣ́ть на чело́то ѹ на фчи́те (Котл 936) - стори́ крѣ́сть на си́чкото си тѣ́ло (Св 509).

Использование конструкций со *струвам* в Св часто может расцениваться как стилистические изменения, придающие тексту большую выразительность, экспрессию. См., например:

недѣ́ти ме да ти  
исказы́вамъ (Тх 169)  
сѣ́каше нѣ́що го  
дїа́воль съблѣ́зны  
(166)

недѣ́ти ма да ти́  
исчѣ́зва́м (95)  
и́ упла́ши са... чи го  
дїа́воль блѣ́зни (91)

не дѣ́й ма стрѣ́ва да  
ти кѣ́зва́м (511)  
и стобри са на  
старца́такъ като че е  
мечта́ніе дїа́волско  
(506)

Ср. и:

тога́зи си́ч'ки си  
дохб҃ждахъ бѣ́  
монасты́рь, на цвѣ́тнаа  
нелѣ́ (1656)

тога́зи си́ч'ки си  
прихожа́ха въ  
монасты́рь на цвѣ́тната  
нелѣ́ (906)

и стрѣ́ваха та́му до  
Врѣ́бница недѣ́ла  
(505)

Таким образом, рассмотренный материал позволяет сделать вывод относительно динамики ЛексН КЯНО в отношении рассмотренных выше глаголов: так, на смену параллельному употреблению в "старших" дамаскинах (в нашем случае – Тх) обоих глаголов – *чиня* и *сторя (струвам)*, – в "младших" дамаскинах приходит активизация второго; при этом если в Котл можно констатировать сокращение числа употреблений глагола *чиня*, то в Св, по-видимому, имеет место тенденция к полному его вытеснению (если судить, разумеется, по Слову МЕ). Важнейшей причиной этого процесса, на наш взгляд, могли быть изменения в диалектной базе языка книжников, создававших указанные дамаскины XVII в.; не исключено также, что многочисленные фиксации глагола *чиня* в Тх объясняются и влиянием "традиционного" языка, которое уменьшается в Котл и преодолевается в Св.

Укажем и ряд других лексических вариантов, встречающихся в Тх, Котл и Св, которые могут быть использованы при изучении динамики ЛексН КЯНО на протяжении XVII–XVIII вв.; правда, приводимые ниже варианты представлены относительно малым числом словоупотреблений, что затрудняет их интерпретацию.

Таковы, например, глаголы *чакам* и *ожидам*, отмечаемые только в Тх и Котл (в Св представлен лишь первый глагол). Анализ форм *чакам/чекам*, фиксируемых в Тх и иных дамаскинах, содержится в монографии Е. И. Деминой “Тихонравовский дамаскин. Болгарский памятник XVII в.”<sup>53</sup>; при этом форма *чакам* считается принятой в КЯНО нормой (что согласуется с гипотезой о месте создания данного книжнописьменного феномена). О соотношении указанных выше лексических вариантов см.:

чáкамъ дá ме спéй бѣ чáкамъ да мé спéи бгъ Св ө

ѡ бѹра лъстїва ѿ бѹра лъстїва (98)

(1716)

ѝ чáкаи мéне на ѿньзи и чáкаи мéне на ѿнаэи (и дунесý гу) на  
странъ ѿрдáнь (173) страна прї ѿрдáнь Йордáна и чáкай тámъ  
(1006) (519)

à ми сè запрѝ та мè а мі са запрѝ да ма постбóй за любовь  
почáкаи недостбинаго почáкаи недостбинаго Христова (506)  
(1666) (916)

Глагол *ожидам*, альтерирующий с *чакам*, отмечен в Тх и Котл в одном и том же фрагменте; по-видимому, первый из них должен квалифицироваться как архаизм, как реликт традиционного языка (как «народное» определен этот глагол в БЕР 4, с. 815; ср.: *ожидати* в СС, с. 407 [Супрасльская рукопись]; ср. и РРОДД, с. 368).

ѝ ѿжíдаль да се покáл ... амѝ и ѿжидáль да са покáл ... амї е  
чакаль дá се ѿбрýне на покáанїе чакáл' да са ѿбрýне на покáанїе  
(1696) (96)

В Тх и Котл, во взятом нами Слове МЕ, встречаются две лексемы *дреха* (БЕР 1, с. 42) и *риза*. Е. И. Демина, анализируя лексему *риза* в контексте диалектного противопоставления в

\* Впрочем, как “народное” определяет это слово БЕР (4, с. 815), ср. и: РРОДД 368 (ср. *ожидати* в: СС 407 [Супр.]).

болгарских говорах *риза* (центр-восток)/*кошуля* (запад), определяет семантический объем *риза* как 'нижняя одежда, одеваемая прямо на тело', также – 'одежда' и 'священническое облачение'<sup>54</sup>. В нашем случае – соотношение вариантов *риза/дреха* – семантика *риза*, по-видимому, может быть определена как 'одежда'.

Ср.:

ри́за щò нóсса<sup>x</sup> (1726)    ри́за що нóсъхъ (996)    дрéхата ми (пръва)  
(517)

При:

по<sup>д</sup>фрылъ дрéхата...    под<sup>д</sup>фрыли дрéхата    фрълъ еднá дрéха...  
вéтъха дрéха (1666)    си... вéтъха дрéха (92)    еднá от вéхтите си  
дрéхи (507)

Архаический ("книжный") характер лексемы *риза* 'одежда' косвенным образом может быть подтвержден и наличием в Тх (Котл) лексемы *облекло* 'то же', которая, так же, как и *дреха*, квалифицируется в качестве народно-разговорного элемента. Ср.: тебе не потръбъва ли ѿблъклò (Тх 172) ~ тебе не тръбъва ли та ѿблъклò (Котл 996) ~ не сý искала... дрéха да имашъ (Св 517). По-видимому, в отказе от данного архаизма, заменяемого в соответствующих микроконтекстах на *дреха*, *облекло*, и состояло изменение ЛексН КЯНО на протяжении XVII–XVIII вв.

Движение ЛексН КЯНО – от ситуации в Тх (Котл) к ситуации в Св – проявляется и при изучении пары ***браня/запра*** (*запирал*) (БЕР 1, с. 602) 'препятствовать, останавливать (=мешать движению)' и под. (в БЕР 1, с. 71 *браня* – 'пазя от нападение и под.', но и производные – *забраня*, *възбраня*). Если судить по избранному Слову МЕ, то глагол *браня* фиксируется лишь в Тх и Котл и может характеризоваться как принадлежащий традиционному языку; в Св в соответствующих контекстах отмечен только глагол *запра* (*запирал*) (также – *упира*), который, по-видимому, является чертой народно-разговорной речи. Ср.:

й да дадéшь ѿкýпъ на гимїя, ѹдї кой ти брáни (169)	й да са ѿкýпишь на гемїата ѹдї кой ти брáни (95)	аку имашъ нáвлунъ да дадéшь никуй та ни запýра (511)
ѧ мéне кáто да речéшь че ми нéкои бráни ѹ не пýща ме (170)	...че ми накои бráни (976)	на вратáта ма упýра други и не остави да влéза (512)

ѝ тогази не бý ніккой да мē бráны. <sup>А</sup> мí влéзо <sup>x</sup> (1706)	не бý ніккои да ми брáни (976)	и влéзохъ в чéркова и вéки не ма зáпре (514)
ѝ ёдва се съмы́сли <sup>x</sup> , ... затовá ми са бráни защб ми се бráны... (966) затовá ми се бráны (1706)		възпомтнáхъ, защо оть грéковете ми не мόжка да влéза (513).

В то же время глагол *запра* в возвратной форме зафиксирован в Тх и Котл в значении 'остановиться', см.: <sup>А</sup>ми сè запрý та мè почáкай (Tx 166) ~ <sup>А</sup> ми са запрý да ма почáкай (Котл 916), при – постбой (за любовъ Христова) (Св 506).

В плане изучения динамики ЛексН КЯНО представляют интерес наблюдения над глаголами (и глагольными словосочетаниями), выражающими процесс мышления (=его стадий и др.). Ср. использование в З-х дамаскинах, с одной стороны, "традиционного" (и "нейтрального") глагола **мисля**, ср. также конструкции *дохожда* *мисъл* и далее – *дойде на ум*, а, с другой, – фразеологизма, несомненно, имеющего народно-разговорный характер – **угаждам на ум(a)** 'прийти на ум, осенить и под.' Заметим, что последний фразеологизм фиксируется исключительно в Св (там же – и *угодя в "прямом"* значении – 'помещать, попадать [куда-либо, во что-либо] и под.'; зéха ма и угодíха ма в' гемїата [Св 512], при: та ме зéхаха и въвёдоха ме в' тéх'нъть гýмїа [Tx 169], то же – в Котл 956).

См. соответствия указанных выше глаголов "мыслительной деятельности" в Тх, Котл и Св:

ѝ кáто видѣ товà збсима... и мýсли щò бý товà чýдо да не блéде нéкоа льсть та мē блáзни (1676)	и мýсли що бý товà чýдо да не бýде накоа льость... (936)	и като а вíдѣ, угодí си на умб, отí ще да бýди нéкое мечтáнє бесбóвско (509)
що тý дохóжда таквáзи мýсль тá се блáзнишь (1676)	...шо тý дохóж'a такбвзи мýсль... (936)	какví помисли са твóйте... дéго си угáждашъ на уматъ че смъ мечтáнє (509) тáмъ му дóди дрúги мýсль и угáждashi на

дбде... ѹ пакъ м' додѣ	пакъ додѣ на ѹмъ тїа	умбт си зашб акб дбди
на ѹмъ... кák' ще да	ако дбдѣ... как' ще да	светаа сась Ѣ ше да
миине йордáнь... (174)	мине йордáнь (1016)	миина Йорданъ (520)
и помысли на ѹмът <sup>4</sup>	...помысли на ѹмът <sup>4</sup> си	Св ө
си (1666)	(92)	

При этом словосочетание *дойде на ум* в Тх (и Котл) фиксируется со значением 'вспомнить (=приходить на ум в виде воспоминания)', сп.: *ѧ то мѝ дбдеше на ѹмъ месò...* (Tx 172) ~ *ѧ тб ми дбдеши на ѹмъ месò..* (Котл 99), чemu в Св соответствует глагол *смисля*: *смислѣхъ са месо...* (Св 516). Впрочем, последний глагол отмечен и в Тх, и Котл: *ѧко смисла ѹ въспомѣнѣ Ѣ с'мъ потёглила* (Tx 1716) ~ *ѧко смисла ѹ въспоменà Ѣ самъ потёглила* (Котл 986) ~ *зашо яко са смислѣхъ тблкози пакость дету претръптихъ* и *птихъ* (Св 516), но и: *смыслъ дымата Ѣ м' рече* (Tx 1736) ~ *ѹ смислъ дымата Ѣ м' речи* (Котл 101) ~ ...*поминá, какъ му речи* (Св 520).

Отметим также, что идиоматическое выражение с глаголом *угодя* (*угаждам*) фиксируется в Св в контексте, выражающем 'неограниченное желание, воление'; в Тх и Котл ему соответствуют иные способы передачи этой семантики. Ср.: *и тблкози са в' грѣхъ вальхъ, колькото си угаждахъ на умбт* (Св 510), но ~ *ѹ ѿтогази наче<sup>x</sup> без<sup>y</sup> скопось да чйни кур'воб'ство... ѧ кур'воб'ство ѹма<sup>x</sup>* несъгно не можаше да ми сбса (Tx 1686), то же в Котл 95.

Приведенные примеры показывают некоторые стороны изменения ЛексН КЯНО, – наряду с употреблением обычного глагола *мисля* и далее – словосочетаний с ним, использование в подобных конструкциях также глаголов *движения* (ср. *дойда*, *достижения* (цели) (ср. *угодя*) и под.

### *ходя/вървя* (см.: БЕР 1, с. 209) 'идти, быть в пути'

Лексема *вървя* в указанном значении зафиксирована только в Св – в соответствующих фрагментах Тх и Котл употребляется *ходя* и *ида* (последний обычен и для Св, в том числе и в приставочной форме). Ср.:

и катб връвѣши,	ѹ ходї по пустынїа ...	ѹ ходї по пустината...
дovтаса чаcъ да четe	ѹ стань мал'ко на	ѹ стаna малко на
акулубата си (Св 505)	пѣть... ѹ да помлї	пѣть... и да се

...че връвій... (Св 506)	бѣ (Tx 1656–166)	помобли бѣ (Котл 91)
и връвѣхъ въ пѣтю (Св 515)	чѣ ходї... (Tx 166) и йдохъ... на пѣть (Tx 171)	чи хбди... (Котл 91) и йдбхъ... на пѣть (Котл 98)

Можно предположить, что появление *вървя* в Св указывает на проникновение в КЯНО данной народно-разговорной формы и, следовательно, изменение его ЛексН.

Наконец, безусловным показателем сдвигов, происходивших в ЛексН КЯНО на протяжении XVII–XVIII-вв., является увеличение заимствований, – главным образом, из турецкого и новогреческого (или через их посредство), – имевших, несомненно, народно-разговорный характер, т. е. принадлежавших тому языковому идиому, на основе которого и сформировался КЯНО (о числе подобных заимствований, например, в Св можно судить по Словарю, данному Л. Милетичем к изданию указанного памятника письменности). Приведем несколько примеров.

### **кефил** 'поручитель' и под.<sup>55</sup>

Отмечается только в Св и представляет собой, как будто, лишь приблизительное соответствие лексеме *помощница* в текстах Tx и Котл.

и акб са сподобїй и го вїдѣ, тебѣ та угаждам <sup>4</sup> кефіль (=делаю поручителем, предстателем и под.) на твойготокъ сина, защо вѣки да нї умръсѣвам <sup>4</sup> снагатъ си (Св 513)	...да сѣ поклонѧ чт <sup>с</sup> ном <sup>4</sup> кр <sup>с</sup> тъ и ѡсега не щѣ векѣ чинѣ тѣзи работа да сї ѡскврънава <sup>4</sup> тѣлото. и бѣдї ми ѡсега помощница кам <sup>4</sup> то ії ба (Tx 1706)	...да са поклонѧ чт <sup>с</sup> ном <sup>4</sup> кр <sup>с</sup> тъ и ѡсега вѣке нї ща стрѣва таквази работа да си ѡскврънава <sup>4</sup> тѣлото, и бѣдї ми ѿ сега помощница, камто га ба (Котл 97)
ты, дето сї стାнала кефіль, ти ма управї какъ да артсамъ на синатокъ твоего (Св 514)	щото ты се обреко <sup>x</sup> да ми сї и ѡсега на честь помощница ѳами, где щёшь настави <sup>4</sup> ме и буди ми на спасныи пѣть помощница (Tx 171)	що тї са обрекохъ да ми си ѡсега на честь и помощница, ѳами сега где щёшь настави <sup>4</sup> ме и буди ми на спасени пѣть помощница (Котл 976-98)

Ср. и:

и тұтакси смýслехъ  
грѣховѣте си,  
пресветаѧ дѣва дѣто а  
угодиҳъ кефиль

(Св 517)

[θ] ѹ съмѣслѣхъ пакъ  
страхъ бжїи, какъ се  
смь покаала и  
обрѣкла стѣи бци  
(Tx 172)

[θ] ѹ смѣслахъ пакъ  
страхъ бжїи, ѹ какъ самъ  
са покаала ѹ обрѣкла  
стѣи бци (Котл 99)

**навлон** 'плата (специально – за проезд, провоз на корабле)'  
(< греч. ναῦλο[ν], см.: **навло** – БЕР 4, с. 460; ср. с.-хорв. *navao*  
[nàvo, navel] – Skok II, с. 507).

Только в Св, см.:

...аку имашь навлунь  
да дадешь (Св 511)

навлунь немамъ...  
(Св 511)

дайте за меңе навлонь  
(Св 512)

ако ѹмашь брашно да  
идешь, ѹ да дадешь  
шкѹпь на гимїа  
(Tx 169)

аэзь брашно нёма", ни  
дукати ѹма" (Tx 169)

θ

ако ѹмашь брашно да  
идешь, ѹ да са  
шкѹпишь на гемїата  
(Котл 95)

аэзь брашно нёмамъ,  
ни дукати ѹмамъ  
(Котл 95)

θ

**метание** 'земной поклон, коленопреклонение'

(< греч. μετάνοια, см.: БЕР 3, с. 766 [**метан**, **метания**]).

В Слове МЕ это заимствование зафиксировано только в Св, ср.:

и зосімá и иска да  
стбri митаніе...  
тогизи го фана светал  
и не остави да стбri  
съвръщено метаніе  
(Св 518)

стбri образъ да са  
поклоні... щéшъ да  
стбришъ метаніе  
(Св 521)

и ѹщeше збсima да ѹ се  
поклоні... а тiа го  
хватi, ѹ не дадe мi да  
и се поклоні (Tx 173)

и збсima зе да ѹ се  
поклоні... ѹ не дадe  
мi да ѹ се поклоні  
(Tx 1746)

и ѹщeше збсima да ѹ  
са поклоні  
а тiа мi забрани  
(Котл 1016)

Вместе с тем в других статьях этот грецизм отмечен (подробнее о его употреблении в КЯНО см. <sup>56</sup>).

*аръ* 'воздух' (< греч. ἀέρ [Chantraine, p. 26–27];

БЕР 1, с. 5 – только *aero*-).

Данное заимствование является старым, оно отмечается в Тх и Котл, но в Св (в Слове МЕ) в соответствующем контексте отсутствует, ср.:

и ви́дѣл чѣ ви́си на  
аръ, ёдінь лакъть ѿ  
землата (Тх 1676)

...че ви́си на ыръ<sup>57</sup>  
(Котл 936)

и ви́дѣл, че беши  
жената едінь лакат на  
високу от земята  
(Св 509)

Впрочем, в других статьях Св указанное заимствование также фиксируется (см. Словарь к изданию дамаскина, с. 69).

### *корабъ/гемия* 'корабль'<sup>57</sup>

Сопоставление 3-х дамаскинов позволяет уточнить изменени в ЛексН, суть которых, если судить по Слову МЕ, состоит в замене старого заимствования из греческого *корабъ* (подробнее о его истории – ЭССЯ 11, с. 45 и сл.), имеющего "книжный" характер, на новое заимствование из турецкого *гемия*, принадлежавшее в период функционирования КЯНО народно-разговорному языку.

и да дадѣшь ѿкъпь на гимїа ...отъ ѿ гимїата при тѣхъ... людїе мнѣго бѣхъ ѿулѣзли ѿ гимїата (169)

и да ѿкъпишь на гемїата... ѿти ѿ гимїата при тѣхъ... людїе много баха влѣзле ѿ гимїата (95–956)

и ввѣдоха ме ѿ тѣхъната гемїа... каквѣ

безаконїа чини<sup>x</sup> и въ корабъ и по пѣть (1696)

и ввѣдоха ме ѿ тѣхъната гемїа... каквѣ

безаконїа стрѣвахъ и въ гимїата... (956)

защо не соса ли ми ѿ корабъ и по пѣть ѿ чини<sup>x</sup> (1696)

защо не соса ли ми въ гемїата и по пѣть ѿ стрѣвахъ (96)

... ви́дѣхъ мнѣго  
чловѣци дѣто влѣзваха  
въ една гемїа (510)

тугісь са затѣкохъ на  
една гемїа... и други  
мнѣго гемїи... момци,  
дѣто влазеха въ една  
гемїа ...и угодиха ма  
въ гемїата (512)

Св 9

Кроме того, в Тх и Котл зафиксирован и деминутив *корабец* 'небольшое судно', чему в Св соответствует *ладия*. См.: найдо<sup>x</sup>... мал'къ корабъцъ (Тх 1716) – и найдохъ... мал'къ корабецъ (Котл 98) –

и намéрихъ мálка ладиá (Св 515). Наконец, в соответствии с заимствованием в Св, в Тх и Котл встречается также исконная лексема *корито* – с тем же значением 'лодка'. Ср.: дету гимá нéма (Св 520) ~ катó нéма корítgo да се пртвезè (Тх 174) ~ катó нéма корítgo... (Котл 1006).

Можно предположить, по Слову МЕ, стадию сосуществования в "старших" дамаскинах двух, контекстуально совместимых, вариантов – *корабъ* и *гемия*, – возможно, с большей частотностью последнего; аналогичное положение в Котл. Напротив, в Св ситуация вариативности представляется преодоленной и *гемия* характеризует ЛексН.

## II

На предмет выявления изменений в ЛексН КЯНО изучена, как указывалось, и другая статья в З-х дамаскинах – Слово о Михаиле и Гаврииле (=Слово МГ); при этом далее, по возможности, сохраняется порядок и число рассмотренных в части I вариантов; вместе с тем это число увеличено за счет некоторых других лексем, представляющих интерес в плане сформулированной задачи.

### *найда / намеря* и под. 'найти, обрести'

Сравнение соответствующих фрагментов Слова МГ свидетельствует о широком использовании в Тх первого глагола и несомненном превалировании в Котл второго (в приводимых примерах параллели из Св практически отсутствуют).

#### Tx

ѝ на<иде> ю, ѝ зè ю  
ѝ ȝгúди 'а на  
ráмoto...кáкъ ё  
найшль óв<ц'ть си>  
(816)

Й ище да ю наайдé.й  
кога ю наайде...как<sup>4</sup> си  
найдé драх'мъ ... ѝ се  
найдé ȝдáма (82)

ѝ да найдете дýмата  
(106)

#### Котл

ѝ намéрї а ȝ зé а ȝ  
ȝгодї а на rámoto  
си...как<sup>4</sup> é найш'ль..  
(53)

Йици да си намéри  
пénезать ȝ когá го  
найде...как сé и  
намéрила пénезать...й  
намéри адáма (536)  
ѝ да намéрите дýмата  
(57)

Ср. замену *найда* в

Тх на иной глагол:

где́ кой се обрѣте,

тамо́ и́ бѣстѣ до днѣ

(83 б)

црѣво бжѣе не мѣгуть

да наслѣдеть (1076)

где́ коби са намѣри

тамо́ и́ бѣстѣ (556)

црѣти бжїи не мѣгать

намѣри (59)

(ср. и в Св: не мѣгать

да намѣрѣть (400)

Для выражения значения многократности в Котл использован глагол *находя* 'находить, обретать' – при том, что в Тх этот глагол обозначает движение. Ср. ѿкадѣ на<sup>с</sup> находи толкова злина (Котл 57б) ~ ѿкыдѣ находы на на<sup>с</sup> толкова злына (1066). Отметим, что в Св в значении многократности – 'находить(=обретать)' – используется тот же глагол *намеря*: от где ни намѣрѣ толкозы злина (397).

В Св, по Слову МГ, употребляется исключительно глагол *намеря*, – при обычном для Тх *найда*. Ср.:

Тх

нѣкоа кривына... биха найшлѣ...  
не мѣже<sup>н</sup> да наидемь... ще<sup>н</sup>  
намѣри кривда... ако лї се нѣкои  
найде... (926)

найде мѣжатога сї... и найде  
заглатобго (886)

дето ѿ прѣвѣнь найде ѿбѣнъ  
бгослобъ (97)

и найде. тѣсюща... (89)

и найдбаха товѣ былѣ (99)

и найде маркїана зѣрава... найде го  
че сѣ разболѣль (996)

и найде єдинъ мраморъ... иманіе  
мнѡго наидо<sup>х</sup> (101)

...найдбах се тѣка (104)

Св

ищѣха нѣком мыханѣ... дано<sup>б</sup>  
бѣха му намѣрилы... не можимъ  
да му намѣримъ ни една мыханѣ...  
щимъ намѣры кривда... ако лї са  
нѣкой намѣри (361–362)

...намѣри мѣжѧ... (и като виѣде)  
пѣдна пред ангелаток<sup>с</sup> (350)  
дѣто я прѣвѣнь намѣри... (374)

и намѣри тысущь... (352)

намѣриха туй былы (378)

намѣри маркїана... и намѣри  
врачатор... (379)

намѣри єдинъ мраморъ... иманіе  
мнѡго намѣрыхъ (383–384)

намѣрыхъ са тѣка (392)

В тексте Св интересно единичное употребление многократного \*намерявам (при *намеря* – соверш. вида, а не двувидовой), см.: щѣ да намѣры мнѡго златоб... и нищо не намѣреваха (Св 383) ~ щѣ да найде мнѡго злата... и ни что не найдоха (Тх 1006).

Лишь в единичных случаях в Тх появляется глагол *намеря*, см.: ще<sup>и</sup> намѣри кривда (Tx 926) ~ щимъ намёры кривда (Св 361); чтоб се намѣриха (Tx 92) ~ Св 0.

Отметим и случаи, когда глаголу *намеря* в Св соответствуют конструкции с другими глаголами в Тх (с частичным изменением и смысла), например: ...и не мѣжаха нишо да му намѣрѣть мѣханѣ (Св 361) ~ ...не можаахъ ни въ чтоб да мѣ сѣ призарѣть (=‘заподозрят’) (Tx 926) и под.

Таким образом, может быть подтвержден вывод, сделанный в части I наших наблюдений, – динамика ЛексН КЯНО проявляется в том, что фактически в середине XVIII в. происходит вытеснение *найда* ‘найти’ глаголом *намеря*; в то же время, несомненно, начало этого процесса зафиксировано уже в Тх.

#### **чувам (се)/пазя(се) ‘беречь(ся) и под.’**

По Слову МГ (как это было отмечено и в Слове МЕ), в Тх известны варианты, при этом, в условиях существования небольшого числа фрагментов, общих для З-х дамаскинов, в Котл находим только второй глагол. Ср.: да ю <sup>и</sup>упази (Tx 100) ~ да ю упази (Котл 566) ~ да я упазы (Св 380); также – и пазыше бнѣзи цркви (Tx 976) ~ и пазыши... (Св 375); да се бупази монастырь (Tx 1006) ~ да са упазы манастиръть (Св 382). Но и: <sup>и</sup>ами сѣ чюваи ѿ сега... да сѣ очюва (Tx 886) ~ ами са пазы... да са пазы (Св 350–351); ...помагать и чювать... има си <sup>и</sup>агла хранитела (Tx 83) ~ ...и пазыть... има си... <sup>и</sup>агла пазытела и хранитела (Котл 546); да тѣ бучуба<sup>и</sup> ѿ сицките твой врагове (Tx 956) ~ да та упазѣ от сицките твойте душмане (Св 369).

В то же время укажем и примеры варьирования *пазя* с иными глаголами: с одной стороны, – ...да гб <sup>и</sup>упази ѿ мбите руцѣ (Tx 91) ~ да вы избѣви... от мбята ръка (Св 357); с другой, – да са пазимъ от мнѣго питїе... да са пазимъ от мнѣго ястїе (Св 400-401) ~ да ѿстечемъ ѿ себѣ мнѣго ястїе и питїе (Tx 108) ~ да ѿстечемъ ѿ на<sup>и</sup> мнѣго ястїе и питїе (Котл 596).

#### **[по]след, по / подир(е)**

Материалы Слова МГ подтверждают вывод об укоренении новой ЛексН в Св – по сравнению, например, с Тх; речь идет о широком употреблении предлога *подир* и под. в значении ‘последовательность

во времени и пространстве'; в Тх, соответственно, — *по*, *послед* и др., см.:

Tx	Св
'а послѣдъ рождество хво (94)	подірь Рождество Христово (366)
по двѣта мѣца (1046)	какъ щѣ подірь два мѣсца... (393)
послѣдъ малко бы жива онѣзи двѣца (106)	подирь малко бы жива онѣзы дѣвѣца (мома) (396)
...по малко днѣ, разболѣ (105)	...подірь малко... (394)
послѣдъ нѣго (92)	подеръ нѣго... (361)

Ср. также иные способы передачи 'последовательности' в Тх: подёре когдѣ умрѣ царь (Св 354) ~ напоконъ когдѣ умрѣ царь (Tx 90).

Вместе с тем и в Св используется предлог *по*, см.: напоконъ по съ-*мрѣть* геденова (Tx 88) ~ по смыти геденова (Св 349).

#### Рефлексы глагола *начати* и под.

Хотя в статье "Слово МГ" отмечено небольшое число конструкций со значением начинательности, включающих указанные глаголы, можно все же подтвердить заключение, сделанное ранее, а именно: для Св характерно употребление в них иного глагола — *хвана*, ср.:

Tx	Св
и начѣ да го бїє (866)	и фати да я бїє (345)
начеха... да сѣ сѣкѣть (96)	и хвѣнаха... да са секѣть (372)
начѣ да копаѣ тамо (101)	фана да копай тамъ (383)

Отметим использование и однокоренных с *начати* глаголов: почне да работы (Tx 103) ~ да започеши да работы (Св 388).

#### *нога / крак*

Слово МГ подтверждает вывод, сделанный выше, о четком разграничении сферы употребления каждой лексемы по отдельным памятникам. В данном случае в Св фиксируется только *крак*, а в Тх, Котл — *нога*. См. следующие примеры:

Tx	Св
снѣ, свобѣму ногѣте (856)	сину своёму краката (341)
ногата (866)	кракѣть (344)
ѡ твойте ногѣ (876)	от твойте крака (347)
ѿтокъ въ ногѣте (1026)	ѿтокъ на краката си (388)

Ср. и единственный случай параллели в текстах Тх и Котл данного Слова: ѹ нозѣтъ ти падать, ѹ не мбгутъ да ступать (Tx 1066) ~ ... ѹ нозитъ ти падать (Котл 57).

### тело / Ѹ

По Слову МГ невозможно подтвердить ситуацию варьирования *тело / снага*, о чём говорилось выше, применительно к Слову МЕ. При этом представлены такие значения лексемы *тело*: (1) 'тело живого человека'. Ср. - и тѣлбо ти бгѣгне... сїч'кото тѣло... (Tx 106) ~ 'то же' (Котл 57–576), при отсутствии в Св; но и – на бол'ныте людіе тѣлото ѹмь (Tx 98) ~ на болните чловѣци тѣлото (Св 377) и под., а также (2) 'тело мертвого (человека, пророка)', см.: ... дїаволь щыше да ѿлѣзе въ тѣлбо мѹ .. мѡїсёвого тѣлоб (Tx 87) ~ ... у тѣлото му... (Св 346).

### чиня / сторя (струвам)

'делать, сделать что-либо и под'.

Ситуация вариативности, отмеченная в 3-х дамаскинах в Слове МЕ, в общих чертах близка к ситуации, представленной и в Слове МГ. Сравнение малочисленных фрагментов, присутствующих во всех дамаскинах, показывает господство второго глагола в Котл и особенно в Св и, по крайней мере, близкую частотность данных вариантов в Тх. Ср. примеры совпадения употребления глагола *сторя*:

члкъ чтото є стбрень (Tx 81) ~ члкъ щото е стбрень (Котл 526) ~ чловѣкъ щото є ствбринъ (Св 335); ѩ землѧ стбрена (Tx 81) ~ ѩ земѣта стбрена (Котл 526) ~ от земя ствбрина Св 336). Иногда в Тх отмечены случаи употребления обоих глаголов в одном пассаже: чт да стбримѣ, ѹ какъ да ѿчниме дѣ се ѹзбѣвиме ѩ тѣхъ (Tx 86) ~ ѩбъ да стбрите да са избѣвимъ (Св 342). Ср.:

Тх

мнѡго чюдеса, что съ сътвбрile... сїч'кото съ стбriле архѓлы (106)  
и по"обае да чйни" като є бѹ бѹг'бдно (106)

Котл

чюдеса мнѡго що са сториле. (566)  
приличе да стрўвамъ като е бѹ драго (57)

Св

тўй сїчко са ѿнгелите стрўвали чудо... щото съ стрўвале ангельй (396)  
подобаива да стрўвамъ... (работа)  
що са сторилы (397)

работа... чтô се чýни (106–1066)	й се стрýва... безаконство стрýва... и кóлко са стрýва... (576)	ø
ѝ стóрите... товà не чýните... да сътвóръ вáмь (107)	ѝ стóрите... ѹ товà да стóрта вáмь (58)	нитý щотó туй стрýвать... а нé ут्रé стрýвами тýй злó (400)
нї магíю чтô чýню... злáа ráбота... чýни" (1076)	...злáа ráбота... стрýвами (59)	
чýни" товà злò... чýню злò... дoгдè не стóри злò (108)	стрýва злò... стрýваме... ѹо стрýвамь злò... не стори злò (59)	
нї тýкмо сырóма <sup>x</sup> чýны товà... ...мъ пóчесть не чýнеть... чтô чýни пиань злò (108) защô чýнишь вóла бжáя (1086)	не тýкмо сиромáхъ стрýва товà... почéть мъ не стрýвать... ѹо стрýва пíањь злò... (596)	нї тukó стрýвать сиромáсыте... стрýвать (400)
	защô стрýвашъ вóла бжáя (60)	защô стрýвашъ вóла бжáя (401)

и под.

Далее приведем примеры, которые позволяют представить соотношение употреблений двух глаголов в Тх и соответствия им в Св.

Tx	Св
чтô да сътвóрять... ѹ сътвóриха шnia (95)	щô да стóртъ... и ствóриха онéзи мъжíе (368)
ѝ чýнать прázдникъ (956)	и стрýвать прázдникъ (369)
...мнóго чþодеса чýнъше... чинъше се чþodo... катô се чýне <sup>7</sup> ... чюдеса (97–976)	мнóго чюдесá стрýваше...
каkъ чýни исцéленie (986)	стрýваше се чþodo... са като са
ѝ така чýнъше сéкогы... и като сý чинъше... (99)	стрýвать чюдесá (374–375) какъ стрýва исцелéнie (377) като си стрýвашы (378)

и тїа чþдеса...това стбри þþрхггль... и тїа чþдеса... сътвбри... что съ стбриле... (996–100)	тéзы чудесá...изврýши...що съ стбрилы (380)
чинишь тбл'кози рáсыпь (103) метáнє мноѓго чинъше (1046)	и стрúвашь тблкось хárчь (388) ø

и др.

В конструкции *струва ми се* глагол *струвам* последовательно употребляется лишь в Св, в Тх ему часто соответствует *чиня* или же архаизм – рефлекс др.-болг. *мнѣти*, ср.: чини ми се че с'мы <sup>в</sup> морéто (Tx 102) ~ мёне ми са струва... (Св 386) и под., а также: струваше ми са... струваше му са (Св 391, 389) ~ мнѣше ми са, ...мнѣше мъ се (Tx 1036, 103); см. также - мнит<sup>4</sup> ми се нѝ защб дрѓто... (Tx 1066) ~ мнит<sup>4</sup> ми са нѝ защо дрѓто... (Котл 576); в Св отсутствует этот фрагмент.

В то же время иногда глаголы *чиня* и *сторя* заменяются другими, см., например: и да знаемъ чтó чини" (Tx 1086) ~ ...да знаемъ что пра́вимъ (Котл 596) ~ и да знаймъ, что струваме (Св 401); съдь да нанесе хълень (Tx 87) ~ ...да стбри съдь (Св 346).

Таким образом, наблюдения над употреблением глаголов *чиня* и *сторя* в двух Словах позволяет представить конкретные изменения ЛексН, а именно – второй из них, к середине XVIII в., по существу, вытесняет из употребления первый.

В Слове МГ в Тх и Св отмечен лишь глагол *чакам*, см., например: и чакаха да дбиде мъжъ єи (Tx 1036) ~ и чакаха да дбде... (Св 390); та смè дочакале днёший днь (Tx 1086) ~ та смé дочакали... (Св 401).

Тенденция к замене в "младших" дамаскинах лексемы *риза* в значении 'одежда' на *дреха* (собственно – *дрехи*) отмечается и Слове МГ: съдрá си ризите, 'ато се облъче въ врѣтище (Tx 91) ~ раздрá дрехите царски та са облѣчи въ садрани и сиромáшески (Св 358).

**брания/ø.** Первый глагол отмечен только в Тх и Котл, о соответствиях ему в Св, поскольку данный фрагмент отсутствует, судить нельзя. При этом в приводимых примерах предпочтительнее видеть значение 'препятствовать, запрещать', хотя это и небесспорно. См.: бъ не брани аггла, ... ако ще злъ бы... ако бъ бъ бриниль

агтль, тâ не бý бýль дїаволь (Tx 826) ~ бѓъ не брани агтль... защо да бý бѓъ браниль агтла... (Котл 54).

В Слове МГ, в отличие от Слова МЕ, не отмечен интересующий нас фразеологизм *угодя си на ума*. При этом данный глагол в Св фиксируется с “пространственным” значением – ‘поместить, оставить и под.’, а в Tx отмечены иные глаголы, см.: *угоди* гу при тозы камикъ... и *угоди* гу гедеонъ... тогизи си *угоди* ангель патирицата (Св 349) ~ *и остави* го...*й гедеонъ* го остави... (Tx 88); да угудеть суннарите (Св 388) ~ да положеть... (Tx 1026); разумеется, отмечаются и совпадения семантики данного глагола в Tx и Св: тогизи си *угоди* ангель патирицата (Св 349) ~ тогази сї угуди (Tx 88); да ни *угодишь* на неговата глава (Св 350) ~ да не дугудишь... (Tx 886) и др.

Единичны и случаи фиксации в Св глагола *вървя*, что может подтверждать вывод (часть I) о начальном этапе проникновения в КЯНО данной народно-разговорной лексической единицы, см.: фана да връвъ на стрънá изъ нивіята... (не) ...щёшь да връвишъ ис пътатъ (Св 344-345) ~ *и ходи* *и само* *и тамо*... *и* не *идешь* на свѣй путь (Tx 866).

Многочисленные изменения ЛексН, которые устанавливаются при сравнении Tx и Св, происходят как раз в результате замены лексем, известных “традиционному” языку, на народно-разговорные формы (в том числе и на локальные диалектизмы). Ср.:

**дубрава/гора** ‘лес’: тâ бѣше тогазы съграденъ на ёнд мѣсто честа дубрава (Tx 1026) ~ та бёши съграденъ на одно мѣсто между гъстá гора (Св 387)\*; однако и в Св есть примеры употребления несомненного архаизма *дубрава*, с помощью которого, по-видимому, решаются стилистические задачи, ср.: ...и бѣде земѣта ваша пуста и дубравите ваши пусты (Св 399), при отсутствии лексемы в Tx: *и да будеть земля вѣща пуста* (1076).

\* Отметим и другое противопоставление (уже на чисто диалектном уровне) – *чест* ~ *гъст* в значении ‘густой (=труднопроходимый)’, при том, что данное значение *чест* в Tx ранее как будто не указывалось, см. лишь: ‘частый, повторяющийся много раз’<sup>58</sup>. Ныне, по БДА (II, № 289), это значение фиксируется в небольшом ареале, достаточно далеко отстоящем от области возникновения КЯНО, а именно в р-не Дряново-Г.Оряховица.

**гора/планина** ‘гора, возвышенность’ и под. Для “старших” дамаскинов (например, Tx), по-видимому, было характерно наличие вариантов, – “традиционного” *гора* и инновации *планина*, в Св употребляется преимущественно вторая лексема, см.: <въ> горъта (Tx 816) (ср. и единственный случай употребления лексемы с тем же значением в Котл – ѿставиль... ѿвце на гора́та [53]) ~ Св ø. Также: ѹ възлѣзъ на єднъ гора... до ѿнъзи гора... по<sup>4</sup> тъзи гора... на горъта (Tx 85–856), да слѣзе ѿ горъта... по горахъ... (Tx 906, 876), но вместе с тем и: на онъзи планинъ... на єднъ планинъ... на тъзи планинѣ (Tx 856, 87) и др. Напротив, в Св употребляется как правило лексема *планина*: възлезы на една планина..., онази планина, ...на една планинъ, ...на уназы планина (Св 340, 341, 346), см., впрочем, и: побѣгнаха по горъта (Св 381), чему в Tx соответствует: побѣгнаха по горъта (100). Ср. однако топонимы: спроти ѿтѣе горы ѿронъскіе...в ѿтѣю горѣ (Tx 100,100) ~ въ Светѣй горы Аѳбона (Св 381).

**ща(ища)/ рача** ‘хотеть, желать’ и под. (о последнем глаголе см.: РРОДД с. 427; СС с. 580). Несомненным локализмом является зафиксированный в Св глагол *рача* в указанном значении. См.: а то никой не рачи да ми настѣне да ма крѣсти (395), – при: ѿнѣ не щѣ никои да мї стање кѹмъ (Tx 105–1056), также – Ни рачеши ни едінь да са наемы (Св 394), в Tx – ø. Этот глагол не упоминается в исследовании Е. И. Деминой<sup>59</sup>; в современных болгарских говорах, по БДА (III, № 303, II, № 283), указанный глагол фиксируется крайне редко, – это, с одной стороны, р-н сев.-зап. Варны, а, с другой, – р-н Гоце Делчев (как правило, – параллельно с другими глаголами). Таким образом, наличие в Св фиксаций глагола *рача*, по-видимому, не может свидетельствовать об изменениях ЛексН в пользу данной лексемы, она остается несколько загадочным окказионализмом в языке Св.

**притча/гатанка** ‘притча, поучение’ (о последнем см.: БЕР 1, с. 232). В трех дамаскинах находим различное соотношение этих “книжного” и “народного” элементов, – с одной стороны, – последовательная замена первого вторым в Котл, при том, что в Tx параллельно фиксируются обе лексемы, вместе с тем, в силу

краткости текста, в Св представлена лишь лексема *притча*, см.: чтō е прýг'ча гáна (Tx 816) ~ що ё гáтанка гáна (Котл 53) ~ що е прýчта господна (Св 336); также – ѿ тъзи гатáн'ка (Tx 81) ~ тъзи гáтанка (Котл 53); чтō дýма та<зи га>тáн'ка....р'е хс. побнапоконъ тъзи прýг'ча (Tx 82) ~ р'е хс насéтне дрýга гáтанка (Котл 53; ♂). Повидимому, материал Котл мог бы свидетельствовать о росте употребительности *гатанка* в КЯНО, однако, несомненно, в языке существовала и лексема *притча* – как черта “высокого” стиля.

Данные Слова МГ подтверждают сделанный выше вывод о несомненном возрастании в XVIII в. в КЯНО заимствованных лексических элементов, которые знаменовали изменения в ЛексН под влиянием народно-разговорных идиомов; вместе с тем в языке “младших” дамаскинов сохранялись и старые заимствования, см., например, отмеченные и в Слове МЕ *аръ* ‘воздух’ и *метание* ‘поклон, коленопреклонение и под.’: а дрýги на аръ Ѹстáше... (Tx 836) ~ ...дрýги Ѹстáнаха... на арà (Котл 556); также – метáнє мнóго чýнтише (Tx 1046), в Св – ♂. Отмечены и примеры, свидетельствующие о конкуренции “старых” и “новых” заимствований, см.:

**кораб/гемия** ‘корабль, судно’. При этом, по данным Слова МГ, в Tx зафиксирована только первая лексемы, тогда как в Св – соответствующие варианты (в Котл – ♂).

Tx	Св
щýше да сё потопи корабть... и ѹлзæ ȝ корáбь (946)	щёши да са потопи корабать... и флéзы у корáботь да идë (367–368), но и:
проби сýч'ките корáбе ȝагарéн'ские ... трì корáбе Ѹстáше (966)	пробы сýч'ките гемíй агарéнский ... трí гемíи (372)
ѹлзоха ȝу корáбь... със' корáбь манастíр'ский (101)	със гемíя манастирска... влзоха у гемíата (384)

и др.

Определенный интерес при изучении динамики ЛексН КЯНО представляет взаимоотношение в тексте Слова МГ лексем *ров/трап* ‘яма, углубление’, первая из которых – исконная, принадлежащая “традиционному” языку, вторая – заимствование, имеющее народно-разговорный характер. Наблюдения показывают, что в “старших” дамаскинах (=Tx) отмечены варианты, тогда как,

например, в Св – лишь последняя лексема. См.:

Tx

да сē тӯри бӯ трапъ при лъвовете  
...не щёше да гō тӯри бӯ ён'зи  
трапъ... ў ён'зи трапъ... ён'зи  
трапъ...на ён'зи трапъ (926–93)  
но: ...й извáдиха... ѫ рбъть (93)

также: ...ймашь трапъ голѣ... ў  
трапъ при лъвовете... й трапъ на  
лъвовете... ў ён'зи трапъ...  
(936–94)

но: ...й прѣбѣ ў ён'зи рбъ...,  
извáди... ѫ рбва... ён'зи рбъ  
(936–94)

Cv

да са тӯри у трапотъ при  
львовите... не щёши негу да го  
фрыли у бнзы трапъ... у бнзы  
трапъ... да извади... от трапуть...  
на бнзы трапъ... чю от трапотъ...  
извадиха... от трапотъ (362, 364)  
...трапотъ на лъвовите... бнзи  
трапъ... извади... от трапотъ... у  
трапо (365–366)

Текст Слова МГ позволяет детально изучить случаи разночтений в аутентичных фрагментах лексем различного происхождения: **кнез/войвода/болярин/кмет**<sup>\*</sup>. В тех или иных комбинациях (и с той или иной частотностью) они встречаются в трех дамаскинах, при этом семантический объем лексем не совпадает полностью, и общим семантическим признаком является ‘имеющий власть (богатство); знатный человек’ и под; однако **кнез** и **войвода** означают также ‘имеющий власть (о высших силах)’. Ср., например, в Tx и Котл: кнэ́зове Ѽрхгѓо”... й кнэ́зъ сътворень бѓ... тоби бѓше кнэ́зъ на  
ѓгѓлсъки чинъ (Tx 83–84) ~ кнэ́зови Ѽрхагѓле... й воивода. стбрень  
бѓ ѫ бѓа... й тоби кнэ́зъ на Ѽгѓки чинъ (Котл 55–556). “Светское”  
значение указанных лексем может быть проиллюстрировано  
материалами Tx и Cv. См.:

Tx

ѡнїа кнэ́зове (866)  
воевода на Ѽрлимъ (906)  
й тамо бѓше нѣкои кнэ́зъ (97)

Cv

унéзы болѣры (343)  
войвѣдата ѡмъ, на Ерусалимъ  
(356)  
имаше нѣкои кнэ́зъ (374)

\* О **кнез** см.: БЕР 2, с. 495; СС, с. 301; о **войвода** – БЕР 1, с. 172; СС, с. 121; о **болярин** – БЕР 1, с. 66; с. 99; о **кмет** – БЕР 2, с. 494.

шо съ кнёзове (и начелници)  
(926)

да събере, что съ...судїе и  
кнёзове... судїе и кнёзоове (926,  
916)

шо са кмитовы (и начелници)  
(362)

господарє и сички кметове...судїе  
и кнёзове (359)

О значительной частотности лексемы *болярин* в данном значении говорят примеры из Тх и Св, см.: пыташе ѹ боларете свой (Tx 95) ~ ...боларите сы (Св 364); на дбрэзъ прѣтвориле съ като єдны боларе (Tx 1056) ~ ...като едні болары (Св 395); также – быше нѣкоа жена боларка (Tx 1036) ~ ...женá боларка (Св 390). Таким образом, вероятно, можно констатировать уменьшение частотности лексемы *кнез* в XVIII в., и, напротив, увеличение частотности *болярин*, ср. и появление в Св *кмет*.

Далее рассмотрим некоторые заимствования из греческого.

\**тысяча/хилляда* 'тысяча' (о первом см.: СС, с. 713, о втором – Skok I, s. 666). Первая лексема – исконный элемент, вторая – заимствование из греческого. При этом в Тх (и в единственном зафиксированном случае из Котл) последовательно употребляется \*тысяча (и др. формы), в Св же в большинстве случаев представлен грекизм. См.: ако р'е тысѹщъ тысѹщами (Tx 83, то же в: Котл 55), в Св 6. Напротив, – избъ седмъдесть тысѹщ людїе... избъ, бъ, тысѹще людїе (89–896) ~ избъ седемдесать хиллады чловѣци..., избъ... хилляде (Св 352–353); да вѣ дамъ двѣ тысѹще конѣ... рпѣ, тысѹще людїи (Tx 906, 916) ~ дамъ двѣ хилляде конѣ... сто и осемдесять и пять хилляди чловѣци (Св 357, 359). Однако и в Св находим исконную лексему – ѹ найде. тысѹща тысѹщъ, ѹ ст҃о тысѹщъ (Tx 89) ~ намерি тысѹщи тысѹщъ и сто тысѹщъ... чловѣци (Св 352).

\**гозба/трапеза* 'пир, угощение' (о первом см.: БЕР 1, с. 261; о втором – СС, с. 690). Более частотным и в XVIII в. остается исконное *гозба*, ср.: сторї гозба бѣ... гозбата прѣ єангела (Tx 89) ~ стурї гозба богу а мене ни струвай... занеши гозба... пред єангела (Св 351); и лишь в Котл отмечается старый грекизм *трапеза* – кога сѣди<sup>ш</sup> на трапезата (57)<sup>60</sup>.

\**агиязма/ѡ* 'источник со святой (=освященной) водой' (см.: БЕР 1, с. 22; РРОДД, с. 23). Данная лексема – по-видимому, заимствованная среднеболгарским языком из греческого<sup>61</sup>,

засвидетельствована в аутентичных фрагментах Тх и Св: ѹ́мать тъзи вѡдā. ѹ́ до днѣска като ѿгіаз'мо (Тх 103) ~ и ѹ́мать та́зы водá и до днѣска като ѿгіэма (Св 389).

**мартурисам** 'свидетельствовать' /ø/. В Слове МГ этот грецизм зафиксирован лишь 1 раз в Тх и Котл, см. следующий пример: на тѣх'ные бѣдѹмны книѓы така мартуриſсвать (Тх 82) ~ на тѣхните бѣдѹмни книѓи мартуриſсвать (Котл 536), данный фрагмент отсутствует в Св, однако именно в Св этот глагол представлен широко, см., например, замечание Л. Милетича в Словаре к памятнику: "очень часто"<sup>62</sup>. Поэтому может быть сделан вывод о росте числа словоупотреблений данного элемента в XVIII в., – по крайней мере, в некоторых дамаскинах.

**метох** 'владение монастыря' /ø/. Зафиксированы единичные случаи употребления данного заимствования из греческого в Тх и Св, – и как раз в Слове МГ. См.: ѹ́ на тбизи бѣстровь бѣше метох монастир'ски ѹ́ близъ тбога метоха... (Тх 1006) ~ и на тбози бѣстровь бѣши метохъ манастир'ски, и близо при тогбс метоха... (Св 383). Таким образом, данный лексический элемент, вероятно, оставался на периферии словаря КЯНО на протяжении всего времени его существования, – в силу специфики значения самого термина.

Наконец, рассмотрим и ряд вариантов, один из которых – исконная лексема, другой – заимствование из турецкого.

**зид/стена/дувар** 'стена'. В Тх и Котл фиксируются лишь исконные лексемы, ср.: не ѹ́дрьжава нїчтб. нї вратà. нї зидъ... (Тх 83) ~ не ѹ́дрьжава нїщо... и стѣна (Котл 546); напротив, только в Св употребляется соответствующий турцизм: и спрѣвиха слѣби... по дуварите (Св 371) ~ ѹ́стѣвише се... стѣбы по зидъ (Тх 96); ...е доваръ голѣмъ (Св 382) ~ ѹ́ нирѣ[=пирг] висбѣкъ (Тх 1006). В тоже время в Св зафиксировано и употребление исконного *стена*: и да падни на стените черкбоны (Св 376) ~ ...на стѣните цркбоны (Тх 98). О специфическом значении зид в Тх – 'обрывистый склон холма (горы)' – можно судить по следующему примеру: мѣжъ двѣ зиды... бѣдѹ (Тх 866), чему в Св соответствует лексема бряг: между́ два брега... до брегѣть (Св 349).

\* О зид см.: СС, с. 242; БЕР 1, с. 636; о стена – СС, с. 633; о дувар – Skok I, с. 461.

**съсед/комшия** (< тур. komsu – БЕР 2, с. 578) ‘сосед’. В данном случае заимствование *комшия*, принадлежавшее, несомненно, народно-разговорному языку, отмечается в Котл и в Св, тогда как в Тх – лишь исконное. Ср.: кáзва на със<éди>... си... тогáзи раскáже на съсéдете... (Tx 816, 82) ~ ...й кáзва на кумшиите си... й тоби кáзва на комшиите (Котл 53, 536); ср. и: дýмаше на кумшиéте сы... и комшиите й вíдéха (Св 394, 395) ~ й дýмаше на съсéдете сý... а съсéдете а вíдеть (Tx 105, 1056).

То же соотношение вариантов по дамаскинам отмечается и в случае **полза/файдá** ‘польза’<sup>63</sup>. Ср. примеры: коá тї е поб’за (Tx 1046) ~ кой тї е файдá (Св 393); коà поб’зà йма ў товà (Tx 108) ~ коà файдà йма ў това (Котл 596) ~ кой файдá йма от тўй (Св 400); коà пол’за ймаме й кое добро (Tx 106) ~ коà файдá ймаме и кое добро (Котл 596). Таким образом, есть основания говорить о заметных изменениях в ЛексН КЯНО, которые касаются вытеснения исконной лексемы и замены ее турцизмом; важно подчеркнуть, что пара *полза/файдá* употребляется во фрагменте, имеющем характер проповеди, что свидетельствует о значительной “укорененности” лексемы *файдá* как ЛексН.

Отметим еще два турцизма, которые употребляются только в Св, в Тх (и Котл) им соответствуют исконные лексемы.

**враг/душман(ин)** ‘враг’ (о последней лексеме см.: Skok I, s. 462). Ср.: й да пáднете прéд вáшите врágове... (Tx 107) ~ ...прéд вáшите врágове (Котл 586) ~ да вí оставt на душмáните ваши (Св 398); ў сíчките твой врágове... тâ навы на врágовете твой... (Tx 956) ~ ...навы на душмáните... от сíчките твойте душмáне (Св 369).

Другое заимствование – **механа** ‘ошибка, проступок и под.’\* – по-видимому, вряд ли может рассматриваться как влиявшее на изменение ЛексН КЯНО, – возможно, речь может идти об окказионализме, введенном создателем Св (показательно отсутствие его в Словаре к изданию памятника). См.: и ўщéха нéкоа мыханъ...да му намéртъ мыханá... да му намéримъ ни една мыхана (Св 361), в Тх турцизму соответствует лексема *кривина*: ...ущéха нéкоа крýвына

\* О *механа* (= ма[x]ана и под.) < тур.ma(h)ana < behane см.: БЕР 3, с. 635–636, 643; ср. и: (диал.) *манé* ‘праздна работа’ (ПРОДД, с. 248).

давнѣ биха найшлѣ... и... не мѣже" да найдемъ ни въ чтѣ крѣзына (Tx 926).

\* \* \*

Наши наблюдения над лексикой двух статей Tx, Котл и Св, с учетом параметра частотности лексических единиц, подтверждают точку зрения, что важной особенностью языка каждого из этих памятников (и, по-видимому, всей лексической системы КЯНО в целом и его ЛексН – в частности) является достаточно высокий уровень синонимии и – соответственно – выраженный характер лексического варьирования. При этом, несмотря на специфические особенности употребления лексических единиц в каждой из рассмотренных статей, в том случае, если в них фиксируются вариантовые пары, выводы, касающиеся их функционирования, изменений в ЛексН и под., оказываются близкими, что повышает достоверность этих выводов; если же используются данные лишь одной из статей, то подобные заключения менее достоверны (например, отсутствие в Слове МГ – в противоположность Слову МЕ – фиксаций фразеологизма *угаждам си на ума* не позволяет делать заключения о том, вступает ли в отношения вариативности глагол *мисля* и др.).

Д и н а м и к а ЛексН КЯНО может усматриваться, во-первых, в постепенном *устранении* некоторых вариантов, существовавших в КЯНО уже на начальном этапе его истории, или, по крайней мере, в существенном изменении соотношения частотности этих вариантов, – путем "архаизации" одного из них (т. е. ухода на периферию лексической системы) (ср.: *найда/намеря, ожидам/чакам, браня/запра, нога/крак, гора/планина* 'гора' и др.), или путем их семантико-стилистической дифференциации (ср. *притча/гатанка*); во-вторых, в постоянном появлении – под влиянием народно-разговорной речи, – новых вариантов, среди которых заметную роль играют заимствованные элементы (ср., например, *ров/трап, \*тысуща/хилада, зид: стена/дувар, съед/комшия* и др.; впрочем, обратный пример – *яр/въздух*); в некоторых случаях различная частотность вариантов могла бы указывать на принадлежность лексического элемента "норме" или "узусу" (ср.: *ища/рача*). Об изменениях ЛексН как будто может говорить и факт конституирования в КЯНО корпуса ситуативно совместимых вариантов

(=исконные и заимствованные лексемы), фактически выступающих в определенных контекстах в качестве нормативно равноправных (ср.: *чиня / сторя, чувам / пазя* ‘беречь, сохранять’ и др.) Наконец, динамизм ЛексН можно усматривать не только в замене той или иной лексической единицы, функционировавшей в “старших” дамаскинах, на другую лексему в “младших”, но и в *элиминировании* в последних самой конструкции (=словосочетания) (ср. судьба рефлексов \**начати* и словосочетаний с ним).

ЛексН КЯНО (resp. его лексическая система), которая, благодаря повышенной вариативности, кажется на первый взгляд подвижной, неустойчивой, на самом деле является достаточно стабильной (=динамизм на фоне стабильности), – это обеспечивается прежде всего за счет отсутствия варьирования в *большой* части словарного состава КЯНО<sup>64</sup>. Представляется, что указанная тенденция порождения, сохранения и функционирования вариантов в КЯНО и его норме, на наш взгляд, не противоречит “логике”, свойственной любой системе и направленной на поддержание стабильности последней, – поскольку в вариативности некоторых сегментов лексической системы КЯНО, возможно, находит отражение особенность “балканского” менталитета, для которого характерна глубинная ориентация на процесс м е д и а ц и и, когда, в частности, ситуация бинарных отношений (=противопоставлений), реализованная в формуле «или/или», (ср.: “традиционное [книжное] – новое [народно-разговорное]”, “свое – чужое”, “черта диалекта *x* – черта диалекта *y*” и под.) трансформируется в ситуацию обоюдной маркированности – «и/и», т. е. “и то, и другое”, что обеспечивает амбивалентность языковых форм и соответствует характеру балканской модели мира<sup>65</sup>.

<sup>1</sup> О термине и его содержании см. в исследовании Е. И. Деминой “Тихонравовский дамаскин. Болгарский памятник XVII в.” (т. III, София, 1985, с. 12). О КЯНО, как одной из конкретных реализаций некоего инвариантного целого (=“динамического объекта”), “историко-культурного и социального феномена болгарский литературный язык”, состоящего “в самом факте наличия у болгарского народа в послекирилло-мефодиевскую эпоху специально обработанного наддиалектного письменного (или также и устного на основе письменного) идиома, или ряда таких идиомов, функционирующих как средство цивилизации и обслуживающих общение в сфере достаточно высокой культуры” (Демина Е. И. Тихонравовский

дамаскин. Болгарский памятник XVII в. Т. III. София, 1985, с. 33); ср. также: Демина Е. И. Предвозрожденческий период в истории болгарского литературного языка // Болгарский литературный язык Предвозрожденческого периода. М., 1992, с. 15.

<sup>2</sup> Демина Е. И. Тихонравовский дамаскин... Т. III. София, 1985, с. 55.

<sup>3</sup> См. характеристику этого койне как реальной коммуникативной единицы, существовавшей в XVII в. в р-не Тетевена–Этрополе–Луковита в: Демина Е. И. Тихонравовский дамаскин... Т. III. София, 1985, с. 260, также с. 190.

<sup>4</sup> Соотношение этих понятий в данной "триаде" в общей форме может быть интерпретировано следующим образом: система воплощает структурные потенции языка (при том, что структура "внутренняя организация языка"), норма есть "совокупность наиболее устойчивых, традиционных реализаций элементов языковой структуры, отобранных и закрепленных общественной языковой практикой" (ср.: "норма и есть реализация языка" [Косериу Э. Синхрония, диахрония и история // Новое в лингвистике. III. М., 1963]), узус – "индивидуальная речь" (подробнее – ОЯ, с. 552 и сл.). Если различие между "системой" (= "структурой") и "нормой" очевидно, – в силу "избирательного" (= "селективного") характера нормы (= "число потенциально существующих в структуре возможностей языковых элементов может быть значительно больше, чем то, что реализовано в конкретном историческом языке" – Косериу Э. Синхрония, диахрония и история... с. 174, 236), то разграничение "нормы" и "узуса" требует некоторых пояснений (ср., например, бинарное отношение «схема» : «узус» у Л. Ельмслева [Пролегомены к теории языка // Новое в лингвистике. Вып. 1. М., 1960, с. 337, 361]). Введение понятие узуса кажется важным, поскольку норма "не покрывает всей совокупности реально существующих реализаций" и "не может оставаться единственным понятием, представляющим реализацию и функционирование языка". Узус, также понятие функционального плана, отличается от нормы тем, что "всегда содержит определенное число окказиональных, нетрадиционных и даже некорректных реализаций", и, таким образом, охватывает все реальные употребления языка. Следовательно, "структура языка и узус являются теми границами, в которых существует языковая норма" (ОЯ, с. 558), т. е. узус шире нормы.

<sup>5</sup> "Механизм" создания данного книжно-письменного идиома описывается следующим образом: "...порождение письменного высказывания при ориентации одновременно на систему выразительных средств, норму и узус традиционного литературного и народного языков, накопление в процессе отбора однотипных решений (т. е. создание нового письменного узуса); принятие данных письменных высказываний за образец и закрепление их особенностей на уровне письменного языка как системы; порождение новых

письменных высказываний при ориентации на уже принятые особенности реализации письменного языка как системы" (Демина Е. И. Тихонравовский дамаскин... Т. III. София, 1985, с. 58).

<sup>6</sup> Там же, с. 57.

<sup>7</sup> Там же, с. 60 и сл.

<sup>8</sup> Там же, с. 93.

<sup>9</sup> Специфика ЛексН (по сравнению с нормами иных уровней) характеризуется в общем виде тем, что инвентарь лексических единиц чрезвычайно широк, а их вариантность весьма значительна, при этом "преобладают варианты и синонимы, дифференцированные в функционально-стилевом, социальном, территориальном или хронологическом планах". Поэтому ЛексН рассматривается как "некая сложная совокупность разнообразных лексических слоев" (ОЯ, с. 562 и сл.).

<sup>10</sup> Демина Е. И. Тихонравовский дамаскин... Т. III. София, 1985, с. 63.

<sup>11</sup> Там же, с. 59.

<sup>12</sup> Об этом – там же, с. 74. По-видимому, для КЯНО, как одного из исторических типов болгарского ЛЯ, "не верифицируется" наличие теских общих признаков, присущих *современным* ЛЯ, как "обязательность", "обработанность", "осознанность" (об этих параметрах "нормы" см.: ОЯ, с. 562 и сл.).

<sup>13</sup> Демина Е. И. Тихонравовский дамаскин... Т. III. София, 1985, с. 66, 93.

<sup>14</sup> Там же, с. 66.

<sup>15</sup> Впрочем, для структуры языка вариантность языковых средств является избыточной, ср., например, мысль Э. Косериу о "реализациях", "оправданных с точки зрения парадигматики и бесполезных в синтагматическом плане" (Косериу Э. Синхрония, диахрония и история... с. 231).

<sup>16</sup> Признак «устойчивость/вариантность» считается одним из существенных параметров нормы, в том числе – ЛексН; при этом устойчивость не исключает значительной степени вариативности и не препятствует изменениям в языке (= "гибкая стабильность", "неустойчивое равновесие" и под. – Косериу Э. Синхрония, диахрония и история... с. 223 и др.; ОЯ, с. 559, 567 и др.). Предпосылкой вариативности на любом языковом уровне – в данном случае лексики – является многообразие структурных потенций, различным образом реализуемых в процессе исторического развития языка (= "внутренние причины"), а также различия территориального (диалектного) плана (= "внешние причины").

<sup>17</sup> ОЯ, с. 584–585.

<sup>18</sup> О некоторых важных чертах ЛексН КЯНО (например, о роли "славянизмов", описательных выражений и под.) см. Демина Е. И. Проблема нормы в формировании книжного болгарского языка XVII в. на народной основе // Славянское языкознание. VII Межд. съезд славистов. М., 1973, с. 133–137.

<sup>19</sup> Демина Е. И. Тихонравовский дамаскин... Т. III. София, 1985, с. 190, 260.

<sup>20</sup> Ср.: "изменения внутренне присущи языку", изменения начинаются в "слабых точках", – "там, где система не полностью соответствует потребностям выражения и общения говорящих", и вместе с тем "изменения ограничиваются устойчивостью традиции" и под. (*Косериу Э. Синхрония, диахрония и история...* с. 213, 215).

<sup>21</sup> Там же, с. 239.

<sup>22</sup> Типологически близкий процесс отмечается и в истории древнеславянского литературного языка, см.: Толстой Н. И. История и структура славянских литературных языков. М., 1988, с. 47 и сл.

<sup>23</sup> Демина Е. И. Предвоздрожденческий период в истории болгарского литературного языка // Болгарский литературный язык Предвоздрожденческого периода. М., 1992, с. 15.

<sup>24</sup> Демина Е. И. Тихонравовский дамаскин... Т. III. София, 1985, с. 20.

<sup>25</sup> Отсюда – отсутствие в конце указанного периода истории болгарского ЛЯ "достаточно стабильного книжно-литературного узуса", невозможность "широкого распространения и закрепления нормы, сложившейся в письменном языке книжников XVII в." (Демина Е. И. Предвоздрожденческий период в истории болгарского литературного языка..., с. 16). Указываются также и объективные – исторические, социально-экономические и др. – причины, в силу которых болгарское общество в то время еще не сформулировало задачу создания литературного языка нового типа – общенародного, кодифицированного, с единой нормой, что связывается уже с этапом конвергентного развития ЛЯ в эпоху формирования болгарской нации (подробнее: Демина Е. И. Предвоздрожденческий период в истории болгарского литературного языка..., с. 15; Демина Е. И. Проблема предистории болгарского литературного языка // *Kształtowanie się nowobułgarskiego języka literackiego*. Warszawa, 1987, с. 49 и др.).

<sup>26</sup> Термин "(лексический) вариант" принят нами для обозначения, в сущности, неоднородных явлений, объединяемых лишь соотношением в каждом сопоставляемом фрагменте соответствующих текстов, то есть "варианты" – это корреспондирующие *разночтения*, которые манифестируются как "подлинными" (= "ситуативно совместимыми", "межсистемными") синонимами, так и "условными", "внутрисистемными" (при совпадении хотя бы некоторых *сегментов* семантического объема лексем). Пример тщательного разграничения типов лексических изменений, представленных разночтениями, при анализе старых текстов, см., например, в: Панин Л. Г. Лингвотекстологическое исследование минейного Торжественника. Рукописи XIV–XVI вв. Новосибирск, с. 253–254. Опыт классификации противопоставленных в аутентичных фрагментах лексем использован нами при анализе лексических вариантов в дамаскинах – см. ниже. Не

учитывается и противопоставление понятий (и терминов) «варианты» (=«однокоренные слова, различающиеся в фонетическом, морфологическом и др. отношениях») – «(текстологические и лексические) дублеты» (=«разнокоренные слова в одном значении, которые не являются синонимами»» (см.: Цейтлин Р. М. Лексика старославянского языка. Опыт анализа мотивированных слов по данным древнеболгарских рукописей X–XI вв. М., 1977, с. 45, 46), поскольку иной уровень, кроме лексического, нами не учитывается.

<sup>27</sup> Ср.: «...в синхронии мы не можем зафиксировать изменение, мы не можем зафиксировать и неизменение..., чтобы обнаружить, что некий объект не изменяется, необходимо наблюдать его в два различных момента», и далее – «...то, что называется «изменение в языке» является таковым лишь по отношению к языку предшествующей эпохи, а с точки зрения современного языка это кристаллизация новой традиции» (Косериу Э. Синхрония, диахрония и история... с. 151, 155).

<sup>28</sup> Разумеется, и в первом случае нельзя исключать возможность изменения (=«вариантов»), источник которых – влияние болгарских говоров, отличных от тех которые образовали основу народно-разговорного компонента КЯНО XVII в.

<sup>29</sup> Демина Е. И. Проблема динамики литературно-языковой нормы // Традиция и новые тенденции в развитии славянских литературных языков: проблемы динамики нормы. М., 1994, с. 4; Демина Е. И. К теории диахронической социолингвистики: феномен динамики литературно-языковой нормы // Славянское языкознание. XII Межд. съезд славистов. М., 1998, с. 187.

<sup>30</sup> Демина Е. И. Проблема динамики литературно-языковой нормы..., с. 4; ср. и: «...Территориальные, региональные и социальные варианты могут войти в норму данного литературно-языкового языка – и тем самым свидетельствовать о ее “внутренней” динамике – лишь в том случае, когда это существенным образом не оказывается на характере системных отношений в субстанции и структуре данного языка» (там же); подробнее об этом и в: Демина Е. И. К теории диахронической социолингвистики: феномен динамики литературно-языковой нормы..., с. 186 и сл.

<sup>31</sup> Фактически при таком понимании данного термина речь идет уже не о динамике нормы конкретного ЛЯ, а о динамике нормативного процесса, в результате которого происходит смена литературно-языковых языков, каждый из которых обладает своей нормой (Демина Е. И. Проблема динамики литературно-языковой нормы..., с. 4; Демина Е. И. К теории диахронической социолингвистики: феномен динамики литературно-языковой нормы..., с. 191).

<sup>32</sup> В данном случае мы пользуемся термином «текст» в “узком” смысле – “текст конкретного памятника” (=дамаскина); об известной “недифференци-

рованности” термина «текст» см. и в: *Лихачев Д. С. Текстология. М., 1983, с. 127*; (ср. там же – “текст выражает произведение в формах языка”). Подчеркнем, что в ситуации “неконтролируемой традиции” под “текстом” (в сущности, – Текстом) понимают “инвариант, вариантами которого являются все дошедшие и недошедшие до нас рукописи”, вместе с тем они “выражают общие тенденции, которым следовали переписчики и редакторы”. В указанной ситуации движение Текста-инварианта во времени представляется сбалансированным, – благодаря соотношению “тенденции к дезорганизованности, распаду (энтропии)” (что связано со стремлением книжников сделать его более “понятным” читателю за счет, например, внесения “народно-разговорного” элемента) и “тенденции к большей организованности”, обеспечивающей диахроническое единство Текста (подробнее – *Кравецкий А. Г. К изучению текста богослужебных книг (Паримейная версия книги пророка Ионы) // “Вопросы языкознания”, № 5, 1991, с. 80.* Подобные условия, вероятно, могли иметь место в КЯНО лишь на начальном этапе его существования (XVII в.), однако уже к середине XVIII в., особенно в процессе его “децентрализации”, этот баланс был нарушен из-за усиления первой тенденции.

<sup>33</sup> *Лихачев Д. С. Текстология..., с. 181*, также с. 63, 570.

<sup>34</sup> Там же, с. 523 и сл.

<sup>35</sup> *Панин Л. Г. Лингвотекстологическое исследование минейного Торжественника..., с. 10.*

<sup>36</sup> Там же, с. 254.

<sup>37</sup> Полное тождество “функциональных” вариантов см., например, в: ḫ пртга дво вл̄чице що съ родила ба̄ іса ха (Tx 170) – ḫ преч̄таа дво вл̄чице бѣ що си родила бға̄ іса хр̄та (Котл 97) – дтво, владичице богородице дѣто си родїла господа нашего Йисуса (Св 513); січ’ки си дохбждахъ бў монастырь на цвѣтнаа не<sup>д</sup>ла (Tx 1656) – січ’ки си прихож<sup>д</sup>аха... на цвѣтната не<sup>д</sup>ла (Котл 906) – струваха таму до Врѣбница недѣла (Св 505); ...брѣзъ сѣти б҃ци (Tx 170) – (відѣхъ) йкбна ѡобразъ прѣстїи б҃ци (Котл 966) – една икбна на пресветаа (Св 513) и др.

<sup>38</sup> Ср., например: Ѵ давно бы<sup>х</sup> найшль нѣкого отца пущинїака да мѣ помблю (Tx 1656) – и дано би се найшль нѣкои мѣжъ въ пустинїа (Котл 89) – дано намери нѣкого старца пущинїака да чюба нѣкоа дѣма божїя (Св 505); защо с’ мѣ жена и гѣла с’мъ (Tx 1656) – защо самъ Ѣзъ жена гола (Котл 92) – ...че с’мъ гѣла каквато ма відишь, и друго, оти с’мъ жёнска страна (Св 507) и др. Повышенная экспрессивность присутствует в примерах из Св: амї са много ядуваще какъ не научї ѻмето (Св 512), при – Ѵ раскѣа се... какъ не попїта 旣ъзи какъ Ѵ бѣше 旣ме (Tx 175) – Ѵ раскѣа се... (Котл 102); дѣту претрѣп(хъ) и патихъ... (Св 516), при – ѩо с’мъ потеглила (Tx 1716, Котл 986) и др.

<sup>39</sup> Ср., например, – рече ѿ зосима със' ваша мѣтва ста, та є даль бѣ, сиц'ки мири съврьшень є и добрѣ (Tx 167) – и...то є дал' бгъ мири съврьшень и добре е (Котл 93), но в Св – отговори старець и каже. сиц'ките са добре сась твоата преподобна молитва (506) и под.

<sup>40</sup> Ср.: два лъва че стоить при тѣлѣто мѣрино и лижъть и нозѣте (Tx 175), то же в Котл – два лъва чи стоять... и ближатъ... (=народно-разговорная форма) и нозите (1036), а в Св – глѣда еднаго лъва дѣто лежѧщи (!) на краката светые (524).

<sup>41</sup> Очевидно, что подобное сопоставление текстов одной и той же статьи (=Слова) не всегда может быть осуществлено в полном объеме, – хотя бы в силу, с одной стороны, неодинакового состава эпизодов в дамаскинах разных типов, а, с другой, – различного качества переводов – “точный” перевод греческого оригинала или “вольный” перевод, приближающийся к пересказу (см.: Демина Е. И. Проблема нормы в формировании книжного болгарского языка XVII в. на народной основе // Славянское языкознание. VII Межд. съезд славистов. М., 1973, с. 122; Демина Е. И. Тихонравовский дамаскин. Болгарский памятник XVII в. Т. I. София, 1968, с. 62; специально о Слове МЕ – там же, параграфы 96–98).

<sup>42</sup> Однако в лингвистическом отношении тексты Слова МГ в трех дамаскинах демонстрируют в целом значительную близость (особенно Tx и Св), – большую, чем тексты Слова МЕ. Последнее может служить подтверждением точки зрения, согласно которой источником многих статей, например, в Св, были дамаскины нбт (подробнее: Демина Е. И. Тихонравовский дамаскин... Т. I. София, 1968, с. 220).

<sup>43</sup> Демина Е. И. Тихонравовский дамаскин. Болгарский памятник XVII в. Т. III. София, 1985, с. 184.

<sup>44</sup> Там же, с. 184.

<sup>45</sup> Там же, с. 185; ср. и: Младенов М. Ятовата граница в светлината на нови данни // Славистичен сборник. София, 1973, с. 252, карта 2.

<sup>46</sup> Демина Е. И. Тихонравовский дамаскин... Т. III. София, 1985, с. 179 и сл.

<sup>47</sup> Младенов М. Една лексико-семантична изоглоса в българския език: *чувам* ‘слушам’/ *чувам* ‘пазя, отглеждам’ // В памет на проф. Ст. Стойков. Езиковедски изследвания. София, 1974, с. 321 и сл., карта.

<sup>48</sup> Демина Е. И. Тихонравовский дамаскин... Т. III. София, 1985, с. 232.

<sup>49</sup> Там же, с. 186

<sup>50</sup> Там же, с. 187.

<sup>51</sup> Там же, с. 168.

<sup>52</sup> О серб. диал. *snaga* ‘сила’ и ‘тело [=как вместилище силы]’ см.: Skok III, с. 296; ср. и: Лъвов А. С. Очерки по лексике памятников старославянской письменности. М., 1966, с. 72.

- <sup>53</sup> Демина Е. И. Тихонравовский дамаскин... Т. III. София, 1985, с. 130–131.
- <sup>54</sup> Там же, с. 147 и сл.
- <sup>55</sup> Тур. *kefil*;ср. *кефил[ин]* в: БЕР 2, с. 347; РРОДД с. 203; Škaljić A. Turcizmi u srpskohrvatskom-hrvatosrpskom jeziku. Sarajevo, 1973, с. 186; *čefil* – Skok 1, с. 350.
- <sup>56</sup> Клепикова Г. П. К проблеме изучения греческих заимствований в языке новоболгарских дамаскинов XVII–XVIII в. // Славянское и балканское языкознание. М., 1999.
- <sup>57</sup> О кораб см.: БЕР 2, с. 626; СС, с. 291; Лъвов А. С. Очерки по лексике..., с. 283, 296 и сл.; о *гемия* – БЕР 1, с. 236; Škaljić A. Turcizmi u srpskohrvatskom-hrvatosrpskom jeziku..., с. 248 и др.
- <sup>58</sup> Демина Е. И. Тихонравовский дамаскин... Т. III. София, 1985, с. 227–228.
- <sup>59</sup> Там же, с. 227–228; см. упоминание работы Т. Бояджиева, посвященной географии глаголов со значением ‘хотеть’.
- <sup>60</sup> Об употреблении в КЯНО данного заимствования см. в: Клепикова Г. П. К стратификации лексических заимствований из греческого в памятниках новоболгарской письменности (XVII–XVIII вв.) // Время в Пространстве Балкан. М., 1994, с. 88.
- <sup>61</sup> Подробнее: Клепикова Г. П. К стратификации лексических заимствований..., с. 90.
- <sup>62</sup> О некоторых результатах изучения употребления лексемы в КЯНО см.: Клепикова Г. П. К проблеме изучения греческих заимствований...
- <sup>63</sup> О *файда* – см.: Skok I, с. 503; Škaljić A. Turcizmi..., с. 279; РРОДД, с. 532.
- <sup>64</sup> На наш взгляд, это косвенно подтверждает идею (высказанную при изучении богослужебных книг) о том, что разночтения разных типов (например, лексические варианты) концентрируются в определенных точках текста (=“узлах разночтений”, – по Э. Колвеллу, variation units, см.: Кравецкий А. Г. К изучению текста богослужебных книг..., с. 75).
- <sup>65</sup> Цивъян Т. В. Синтаксическая структура балканского языкового союза. М., 1979, с. 265; Она же. Лингвистическая основа балканской модели мира. М., 1990, с. 68.

## ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- БДА – Български диалектен атлас. Т. I–IV. София, 1968–1978.
- БЕР – Български етимологичен речник. Т. I–IV. София 1962–1995.
- Котл – Св. Софроний епископ Врачански. Катехизически, омилетични и нравоучителни писания. София, 1989.
- ОЯ – Общее языкознание. М., 1978.
- РРОДД – Речник на редки, остарели и диалектни думи. София, 1974.

Св – Милетич Л. Свищовски дамаскин. Новобългарски паметник от XVIII век // Български старини. VII. София, 1923.

Тх – Демина Е. И. Тихонравовский дамаскин. Болгарский памятник XVII в. Т. II. София, 1971.

СС – Старославянский словарь (по рукописям X–XI вв.) / Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. М., 1994.

ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков / Под ред. О. Н. Трубачева. М., 1974–.

Chantraine – *Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la langue grecque*. T. 1. Paris, 1968.

Skok – *Skok P. Etimologiski rječnik srpskohrvatskoga ili hrvatosrpskoga jezika*. T. I–III. Zagreb, 1971–1974.

## *Глава 6*

# ОБ ИСКУССТВЕННЫХ ПРАВИЛАХ СОВРЕМЕННОГО БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКА НА СТАДИИ ЕГО СТАНОВЛЕНИЯ (ЧЛЕННЫЕ ФОРМЫ)

Современный болгарский литературный язык сформировался в XIX в. на основе живой народной речи. Его основу составили говоры Восточной Болгарии (преимущественно центральнобалканские), но в сложившейся его структуре закрепились также и некоторые особенности западноболгарских говоров. В литературе, как известно, высказываются и другие мнения как о самом характере диалектной основы этого языка, так и о составляющих ее конкретных территориальных говорах и соотношении в литературном языке элементов говоров Восточной и Западной Болгарии.<sup>1</sup>

Начало формирования современного болгарского литературного языка относится, по нашему мнению, к 20-м годам прошлого столетия. Это годы, когда образованные и патриотически настроенные болгары решительно поднимают вопрос о необходимости скорейшего введения в школах образования на родном языке, издания на нем учебных, религиозных и других книг, предлагают с этой целью свои опыты литературной обработки народного языка в текстах изданных ими книг. Эти идеи и первые планы их реализации стали предметом живого обсуждения и острых споров среди болгар.<sup>2</sup> На эти же годы приходятся и первые издания Библии (Нового завета) в новоболгарском переводе, требовавшем в принципе достаточно строгой нормализации его языка. Тогда же уже ясно была осознана и в программе "Филологического общества" (Брашов) впервые заявлена необходимость составления болгарской грамматики и болгарского словаря как предпосылки создания нового литературного языка. Отсутствие грамматики, которая содержала бы описание правил такого языка, как и отсутствие словаря, который бы включал какой-то объем лексикона с указанием значений слов и их написанием, уже тогда рассматривалось как

препятствие, мешавшее книжникам того времени сочинять и переводить книги, следовать необходимым правилам языка.<sup>3</sup> В 20-е же годы XIX в. зародились и первые споры по отдельным вопросам устройства литературного языка, его графики и орфографии.<sup>4</sup>

Начальный период истории современного болгарского литературного языка завершается в 60-70-е годы прошлого века, к концу эпохи национально-культурного возрождения болгар, когда утвердилась его диалектная база, территориально ограниченная, и когда в основном сложились (сформировались) его нормы. Пять-шесть десятилетий (20-е – 60-70-е годы), в которые складывался современный облик функционирующего и ныне литературного языка в Болгарии, и составляют начальный этап его истории или стадию его становления.

Не будучи непосредственным продолжением существовавших у болгар в начале XIX в. книжных литературно-письменных традиций, современный болгарский литературный язык вместе с тем не создавался в полном отрыве от них. На его формировании сказалось и сильное влияние церковнославянского (русско-церковнославянского) языка, который в XVIII в. и в первой половине XIX в. был у болгар в широком распространении, отличался высокой престижностью и почти до середины века воспринимался ими как язык собственно древнеболгарский.<sup>5</sup> Иными словами, современный болгарский литературный язык сформировался на основе живой народной речи, но с известной опорой на церковнославянский, а во второй половине XIX в. – на древнеболгарский язык. При этом в одних случаях церковнославянский (и древнеболгарский, как и некоторые другие языки, в частности русский) выступал как прямой источник, из которого строители нового литературного языка черпали отсутствовавшие в народной речи элементы грамматической структуры и лексики. В других случаях церковнославянский и древнеболгарский служил в качестве своего рода арбитра в разрешении спорных вопросов нормализации языка, порожденных диалектными различиями в звуковом строе, грамматике, лексике, и отчасти связанным с этим расширявшимся разнобоем в практике письма (азбука, правописание).

Стадия складывания современного болгарского языка характеризовалась остройшей борьбой грамматистов и других образованных болгар, так или иначе причастных к его устройству и совершен-

ствованию и видевших свою задачу в скорейшей его нормализации – создании единого общеболгарского литературного языка, отвечающего возраставшим национально-культурным потребностям возрождающегося народа.

Важнейшим предметом споров и глубоких разногласий между книжниками в 30-40-е годы был вопрос о месте и роли церковнославянского языка в формировании нового литературного языка.<sup>6</sup> По этому вопросу существуют, как известно, разные точки зрения, которые можно свести к двум основным, представляющим два принципиально разных подхода к нормализации литературного языка.

Согласно одной точки зрения – ее развивали так называемые архаисты (К. Фотинов, Хр. Павлович и др.) – новый болгарский литературный язык должен в своем устройстве ориентироваться на церковнославянский и должен представлять собой приближенный к народной речи язык. Такая точка зрения разделялась сравнительно небольшим числом возрожденцев и довольно быстро, уже к середине 40-х годов, утратила место в спорах о формировании нового литературного языка. Одной из причин ее непопулярности и недолговечности был сам характер прокламируемого ее сторонниками литературного языка. Лишенный целого ряда характерных особенностей живой народной речи (например, членных форм, аналитического склонения, характерного звука [ъ] и др.), такой архаизированный язык казался искусственным, был довольно далек от народной речи и потому мало понятен тем из болгар, кто не изучал церковнославянского языка специально. В атмосфере широкого стремления болгар к развитию образования, литературы, журналистики и т. д., вызванного глубокими сдвигами в их общественной жизни, такой язык, как полагали многие деятели Возрождения, не мог быть эффективным средством развития культуры. В этом причина того, что отдельные опыты создания архаизированного типа нового литературного языка оказались непопулярными, не были поддержаны современниками.

Преобладающей оказалась точка зрения "новаторов" (В. Априлов, И. Богоров, Н. Геров, П. Славейков и многие другие), убежденных в том, что новый литературный язык следует строить на основе народной речи, должным образом обработанной и обогащенной из разных источников. При этом не исключался и церковнославянский (древнеболгарский), если почерпнутые из него

те или иные элементы включались в новый литературный язык не в ущерб элементам народной речи (например, причастия настоящего времени на *-ац* (-ящ), типа *гледац*, *горяц*, отсутствующие в народной речи). Считалось, что созданный на такой основе литературный язык заведомо будет понятен всем болгарам и потому в наибольшей степени будет отвечать нуждам и задачам возрождавшейся нации, развитию ее культуры.

Другая важнейшая проблема, оказавшаяся в центре горячих споров по языковым вопросам уже в 50-е годы и позднее, когда школа "архаистов" уже практически сошла с арены филологической борьбы – это проблема выбора диалектной основы формированногося литературного языка.<sup>7</sup> С этой проблемой столкнулись уже авторы первых печатных книг, изданных в 20-30-е годы (Софроний Врачанский, П. Берон, А. Кипиловский, Неофит Рильский, Р. Попович и др.), и они тогда, как и их соотечественники позднее, опирались каждый на свой родной говор (диалект, наречие), но они в то же время еще не ставили прямо вопрос о том, какой именно говор должен быть положен в качестве основы нового языка. Но уже в 30-е годы налицо была тенденция отдельных книжников превозносить достоинства собственного наречия и принижать чужое, и это вызывало справедливое недовольство других книжников – их современников. Не случайно, надо полагать, Неофит Рильский в своей "Болгарской грамматике" (1835) писал о таких книжниках, что они предпочитают "свое местное наречие без каких-либо оснований и доказательств и только свое местное наречие защищают и расхваливают, а чужое – плохое или хорошее – без разбору укоряют и унижают"<sup>8</sup>. Однако и тогда уже высказывалось мнение об исключительной важности выбора диалектной основы формированногося литературного языка. В 1838 г. русский ученый Ю. И. Венелин писал в небольшой книжке "О зародыше новой болгарской литературы": "Если народу пришла пора приниматься за грамоту, если его язык распался на несколько наречий, если неизбежен выбор одного из них для литературы, то сочинители должны быть весьма осторожны в этом выборе"<sup>9</sup>. Он считал, что выбор всеми книжниками какого-либо одного диалекта (наречия) в качестве литературного языка – дело крайне мало вероятное, которое может быть приписано только "счастливому случаю". Если же такой случай не представится и если появятся грамматики разных наречий и

книги на этих наречиях, то никто из сочинителей книг "не имеет права свой жаргон навязывать другому"<sup>10</sup>. Возникшие между сочинителями разногласия должны, как считал Ю. И. Венелин, решаться не ими самими, а "судом высшей филологии"<sup>11</sup>. Эти положения русского ученого спустя почти полтора десятилетия дословно повторил Н. Палаузов<sup>12</sup>.

Ю. И. Венелин в самом конце 30-х годов в общем предугадал, как в самом ближайшем будущем будет ставиться и разрешаться болгарскими книжниками вопрос о выборе диалектной основы литературного языка. У них не оказалось того "счастливого случая", который помог бы им с самого начала его развития утвердить в качестве его основы определенное наречие, и потому они писали сначала, ориентируясь каждый на свой родной говор, или, что для того времени в общем то же самое, подвергали его литературной обработке. Это, естественно, не могло не породить острых споров по вопросу о том, какое именно наречие (диалект, говор) и почему следует предпочесть при создании единого для всех литературного языка и допустимо ли вообще строить такой язык на базе одного наречия. "За" и "против" того или иного наречия или синтеза особенностей разных наречий высказывалось много книжников той поры. Споры между ними, однако, были разрешены не "судом высшей филологии", как предполагал Ю. И. Венелин, т. е. не в результате признания всеми болгарскими книжниками разработанного учеными-филологами пути устройства литературного языка, а самим ходом развития языка в разных сферах его приложения главным образом во вторую и третью четверти минувшего столетия.

Изучение многочисленных высказываний по языковым вопросам на страницах возрожденческих грамматик, других книг и периодических изданий показывает, что острые споры между представителями двух основных направлений по нормализации литературного языка – "архаистами" и "новаторами", как и между представителями каждого из них в отдельности, велись по многим вопросам, касающимся отдельных элементов формировавшегося литературного языка – его звукового строя, грамматики, лексики, а также графики и орфографии.

Большая часть норм современного болгарского литературного языка на стадии его становления вошла в него "в готовом виде" из народной речи. Это нормы как бы естественные – заложенные уже в

самой ее структуре; войдя в литературный язык, они составили его основу. Одни из них присущи народной речи в целом – всем местным говорам; они имеют, следовательно, общеболгарский характер. Другие из представленных в народной речи норм свойственны большей или меньшей части говоров и они имеют, таким образом, территориально ограниченный, локальный характер. Утверждение таких норм на стадии становления литературного языка сопровождалось устранием вариативности в грамматических предписаниях и в практике письма, вызванной диалектными различиями в звуковом строе, грамматике и лексике, а в письме также и различиями в правописании, которые отражают особенности принятой отдельными книжниками графики и орфографии.

Представляя в структуре литературного языка элементы, общие всем говорам или какой-либо их части, такие нормы в нормативную структуру болгарского языка в целом ничего нового не вносили. Новым оказывается лишь соположение отдельных норм в литературном языке, которое местным говорам может быть неизвестно. Ср., например, в современном литературном языке двоякое (якавое и екавое) произношение гласных на месте *ѣ* в определенных позициях – согласно норме восточноболгарских говоров, отсутствие редукции безударных гласных [е, о, а] – согласно норме произношения этих гласных в западноболгарских говорах (впрочем, закрепление такой нормы в литературном языке, как полагают некоторые ученые, возможно, обязано скорее письменной традиции, чем речевой практике жителей Западной Болгарии), деепричастия на *-айки*, *-ейки*, вошедшие в литературный язык из юго-западных болгарских говоров, и т. д.

В истории современного болгарского литературного языка на стадии его становления, однако, было немало попыток введения в него и таких норм, которых в живой речи вообще не было. Попытки эти обычно облекались в формулирование неких правил, согласно которым в литературном языке предписывалось образование или употребление отдельных элементов грамматической структуры, не существующее в народной речи. Не опирающиеся на реальную речевую практику, сочиненные (придуманные) самими грамматистами и другими книжниками, такие правила носили искусственный характер. Это были правила искусственные, эксплицировавшие нормы, которые, по их мнению, необходимо было ввести в

формировавшийся литературный язык для его совершенствования. Не все искусственные правила, которые предлагались возрожденцами, были ими сформулированы как предписывающая норма литературного языка. Некоторые из них, не будучи изложены в виде каких-то установок, были сразу "опробованы" в языке сочиненными книжниками текстов. Искусственный характер носят и такие предлагавшиеся возрожденцами правила, согласно которым отдельные общеболгарские элементы народной речи в складывавшуюся систему литературного языка не допускались. Народная основа, намеренно лишенная таких элементов, придавала ему облик некоторой неестественности – большей или меньшей в зависимости от характера ("веса") этих элементов в структуре народной речи.

Наиболее остро дискутировавшимся вопросом нормализации современного болгарского литературного языка на стадии его становления был вопрос о членных формах – "этот величайший камень преткновения для наших современных писателей", как характеризовал его в середине прошлого века Г. Крыстевич, один из видных радетелей за его создание на народной основе. В рамках дискуссии по этому вопросу и предлагавшихся разных его решений важное место занимают и попытки создания искусственных правил, регулирующих употребление или неупотребление членных форм в складывавшемся литературном языке. Опытам искусственного решения вопроса о членных формах посвящена настоящая статья.

Рассмотрим сначала предложения возрожденцев, предписывающие не допускать членные формы в литературный язык. Отказ болгарскому литературному языку в членных формах, если этот язык должен складываться на народной основе, на чем решительно настаивали "новаторы", или даже если он должен ориентироваться в большей или меньшей степени на церковнославянский (древнеболгарский), за что столь же решительно выступали некоторые возрожденцы- "архаисты", есть намеренное, осознанное лишение этого языка характернейшей особенности живой болгарской речи. Без членных форм грамматическая структура болгарского литературного языка предстает существенно трансформированной по сравнению со структурой народной речи. Недопущение членных норм в литературном языке следует, таким образом, рассматривать как искусственное правило. В отличие от других искусственных правил, касающихся членных форм, которые

рассматриваются ниже, данное правило не предусматривает (не влечет за собой) установление в литературном языке нормы, эксплицируемой специальными грамматическими показателями. Это – искусственное правило как бы со знаком "минус": обязательное отсутствие в литературном языке того, что составляет одно из характерных и отличительных свойств народного болгарского языка по сравнению с другими славянскими языками.

Первым, кто выступил против употребления членных форм в болгарском литературном языке, был К. Огнянович, серб по происхождению, долго учительствовавший в Болгарии и издавший в 30-50-е годы ряд книг на болгарском языке. В "Примечании" к книге "Житие светаго Алексия человека божия" (1833) К. Огнянович отметил, что в своем тексте "Жития" членных форм он не употребляет. Поскольку это "Примечание" – первое содержащее в литературе суждение о ненужности в болгарском языке членных форм, приведем его здесь полностью. К. Огнянович пишет: "Мѣстоименные частицы *тѣ*, *тѣ*, коихъ Болгари въ единственномъ, и *тѣ*, *тѣ*, въ множественномъ числѣ послѣ именъ существительныхъ и прилагательныхъ произносятъ, каквото: *слѣвата*, *морѣто*, *мошѣте*, *чудеса*, *дѣбромъ*, *бѣдныте* и пр. со всѣмъ изоставихъ. Защо ни единъ славенскій народъ ихъ послѣ именъ оупотреблява, сирѣть ни Rossi, ни Серби, ни Лехи, ни Чехи и пр. Защо бы ги пакъ Болгари оупотребляли, коги языкъ не оукрашавать но паче погрозень струвать; зато азъ ги за непотребни судихъ, и всекаде писахъ: *слѣва*, *мѣре*, *чудеса*, *дѣбро*, *бѣдны* и прочая. Обаче това все кога добиєме Болгарска Грамматїка ще да се исправи, и языкъ оукраси. А кога ще да буде не знамъ, но време треба да покаже, има ли Болгарїа достойныхъ сыновъ и родолюбцевъ"<sup>13</sup>.

К. Огнянович, таким образом, приводит два довода, против "непотребных" членных форм ("местоименных частниц"): во-первых, ни один из славянских языков, кроме болгарского, таких форм не имеет и, во-вторых, эти формы не украшают язык, а делают его некрасивым, грубым. С точки зрения сегодняшних представлений о членных формах эти доводы не выдерживают критики. Тот факт, что членные формы не употребляются в русском, сербском, польском и других славянских языках, разумеется, не может и не должен быть аргументом против введения их в литературном языке болгарском как отдельном, самостоятельном славянском языке,

поскольку эти формы общеупотребительны в народном языке. Представление же о них как о формах, которые не украшают язык, — свидетельство чисто субъективного отношения к ним К. Огняновича. Уже несколькими годами позднее другие возрожденцы будут настойчиво говорить о членных формах как о наиболее характерной особенности болгарского языка, которая придает ему такие качества как ясность и красота.

Обращает на себя внимание тот факт, что К. Огнянович перечисляет здесь не все членные формы, а только формы женского и среднего рода единственного числа и форму множественного числа. Членная же форма мужского рода единственного числа им не упоминается. Пропуск ее в приведенном фрагменте "Примечания", вероятно, случаен, хотя сам по себе и весьма примечателен, если иметь в виду, что именно из-за членной формы мужского рода велись жаркие споры среди тех, кто считал необходимым ввести членные формы в литературный язык. Отметим также, что в тексте книги К. Огнянович, вопреки своему утверждению, по крайней мере одну бесспорную членную форму "пропустил", ср.: *"Оу домашните и слуги постъ"* (с. 39). Правда, в конце книги в списке опечаток *домашните* он поправил на *домаши* (с. 63).

Нужно отметить также, что К. Огнянович, по-видимому, все же уже тогда не закрывал полностью членным формам дорогу в литературный язык. Конец приведенного выше "Примечания" можно понять так, что его мнение о "непотребности" этих форм можно будет поправить, когда будет создана грамматика болгарского языка. И действительно, уже в тексте небольшой его книжки "Календар за лето 1843" (1842) и последующих изданий К. Огнянович членные формы употребляет, в чем сказалось, видимо, авторитетное мнение Неофита Рильского и других болгар, последовательно отстаивавших и употреблявших эти формы.

Надо сказать, что, кроме "Жития светаго Алексия" К. Огняновича, членные формы не употреблялись уже и в ранее изданных текстах. Их нет, например, в "Евангелии от Матфея" в переводе архимандрита Феодосия (Теодосия, грека по происхождению), изданном в 1823 г. в Петербурге. Сохранив в переводе, сделанном с помощью неизвестного болгарина, много языковых особенностей церковнославянского оригинала, Феодосий отразил в нем, хотя и явно непоследовательно, также и ряд характерных новоболгарских

особенностей (например, *да* + формы настоящего времени глаголов вместо старого инфинитива на *-ти*, форма будущего времени с частицей *ще*, новоболгарские формы сравнительной степени с частицей *по*), но ни разу не употребил членную форму<sup>14</sup>. Не исключено, что именно отсутствие членных форм в языке этого перевода было одной из причин резко отрицательного суждения о нем группы образованных болгар, живших в Трансильвании и узнавших о переводе Феодосия<sup>15</sup>.

Третьим неболгарином, отвергнувшим членные формы, – после грека Феодосия и серба К. Огняновича – был русский ученый Ю. И. Венелин. Поводом к его выступлению послужило рассуждение Неофита Рильского о членных формах в его "Болгарской грамматике" (1835), о которой Ю. И. Венелин был высокого мнения, особенно о ее "Филологическом предуведомлении", но его мнения об этой грамматической особенности он не принял. "Как бы то ни было, – писал Ю. И. Венелин в уже упоминавшейся книге "О зародыше новой болгарской литературы", – но я совершенно одобряю мнение гг. македонца Хрис. Павловича Дупничанина, Огняновича и Априлова об изгнании из грамматики мнимых членов *атъ*, *та*, *то* и *о* или *а*"<sup>16</sup>. Причисляя Хр. Павловича и В. Априлова к гонителям членных форм, Ю. И. Венелин ошибался. На это вскоре после выхода книжки из печати обратил внимание Неофит Рильский. В письме к Р. Поповичу от 9 ноября 1838 г. он выражал удивление, что Венелин приписывает Хр. Павловичу "изгнание членов", в то время как на самом деле Павлович – "гонитель только члена *ататъ*, другие, например, *о*, он употребляет так же как и мы"<sup>17</sup>.

Как и К. Огнянович, Ю. И. Венелин "отлучение" или "изгнание" членных форм из литературного языка болгар обосновывает рядом доводов. Так, само различие членных форм в народном языке (например, *человѣко* в одних местах, *человѣкатъ* – в других), по его мнению, "доказывает, что и то, и другое не правильно, потому что одно другим уничтожается"<sup>18</sup>. Ю. И. Венелин исходит здесь из ошибочной посылки: неправильным является то, что не соответствует нормам традиционного литературного языка. В действительности же формы *человѣко* и *человѣкатъ* в современных говорах столь же "правильны", как и *человѣкъ* в церковнославянском или древнеболгарском. Допустив, что существует "такая область (у болгар – Г.В.), в которой не употребляют никакого мнимого члена",

Ю. И. Венелин и сделал вывод, что "самое правильное болгарское употребление будет *человѣкъ*", т. е. без членной формы<sup>19</sup>. В действительности, как теперь хорошо известно, употребление членной формы есть свойство всех болгарских говоров; говоров, в которых они не употребляются, нет.

В соответствии с таким отношением к членным формам Ю. И. Венелин отмечает, что язык перевода знаменитого "Кириакодромиона" Софрония Врачанского (1806) гораздо "правильнее" языка "Нового завета" в переводе П. Сапунова (1828) в частности потому, что у Софрония нет "уродливого *tatata*"<sup>20</sup>. Важным доводом Ю. И. Венелина против установления членных форм в болгарском литературном языке было также отсутствие их в других славянских языках. Употребление слов без членной формы, например, *человѣкъ*, "будет, — писал он, — правильно еще и потому, что так употребляют и прочие славянские народы"<sup>21</sup>. Правоту своего мнения Ю. И. Венелин видел и в том, что существовавшую, как он полагал, в русских говорах членную форму ("частицу") *атъ* "русские писатели и грамматики избегают как аномалию, как неправильность"<sup>22</sup>.

Против членных форм заставило выступить Ю. И. Венелина также и то, что их употребление — эта, по его выражению, "несчастная привычка простого народа" — было "настоящею и единственою причиною, что язык болгар начал лишаться правильных форм своих падежей"<sup>23</sup>.

Будучи сторонником закрепления падежей в грамматике болгарского языка<sup>24</sup>, он не мог согласиться с тем, чтобы в литературном языке были представлены членные формы, приведшие, как он полагал, к утрате падежей в народном языке. Сосуществование же падежей с членными формами Ю. И. Венелину казалось невозможным, и он, естественно, отказался от членных форм в пользу падежей.

Наконец, Ю. И. Венелин считал, что употребление членных форм является причиной того, что на болгарском языке нельзя будет сочинять стихотворных произведений. На вопрос, что же выиграют защитники *атъ*, *та*, *то* или *о*, он отвечал: "То, что болгаре не будут в состоянии писать стихов рифмами, если все существительные и во всех падежах будут иметь только (!!!) окончания *ат*, *та*, *то!*"<sup>25</sup>. Лишенное оснований, такое опасение уже через несколько лет было, как известно, развеяно

появившимися в печати стихотворениями Н. Герова и других первых поэтов эпохи Возрождения.

К полному неприятию членных форм в болгарском литературном языке Ю. И. Венелин пришел, видимо, не сразу. Во всяком случае в завершенной в 1834 г. "Грамматике нынешнего болгарского наречия" он, как установила Е. И. Демина<sup>26</sup>, их отмечает, хотя и называет указательными местоимениями или частицами *той*, *та*, *то*, *тѣ*, присоединяемыми к существительным в том случае, если "указание усиливается или если говорящий ударяет на какой-либо предмет", например, *рѣка-та*, *сердце-то*, *люде-тѣ*<sup>27</sup>. Если же, продолжает он, "ударение речения находится на прилагательном, то сия указательная частица переходит к оному от существительного", например: "Голѣмы-тѣ *человѣцы* *раждають* ся *сѣсь вѣкове*"<sup>28</sup>. Эти "указательные местоимения или частицы", т. е. фактически членные формы, встречаются и в обработанном им в качестве образца тексте "Чети о святой Пятнице (Параскевии) Терновской", приложенной к "Грамматике", где они пишутся через дефис (по мнению Е. И. Деминой, ошибочно): *сѣрдце-то*, *душу-тѣ*, *очи-тѣ*, *руцѣ-тѣ*, *отъ царства-та си* и др.<sup>29</sup>. Но уже и здесь, в "Грамматике", Ю. И. Венелин характеризует их употребление как "неправильное", как одну из "неправильностей и погрешек пишущих болгар против их языка (погрешек, обыкновенно происходящих от филологической необработанности)"<sup>30</sup>. Это происходит, по его мнению, от того, что если "простой болгарин по одному инстинкту употребляет указание там только, где оно нужно, пишущий, не зная грамматики своего языка, *весьма часто* ставит оное без нужды, там, где оно не годится" (курсив наш. – Г.В.)<sup>31</sup>.

Как видим, Ю. И. Венелин в "Грамматике нынешнего болгарского наречия" в общем не отвергает совершенно членных форм: если "весьма часто" они пишутся там, где они не нужны ("без нужды"), то в каких-то редких случаях ("не *весьма часто*") употребление их он, надо полагать, не считал неправильным. В целом же, как указывает Е. И. Демина, Ю. И. Венелин в данном труде "выступает за то, чтобы они (членные формы – Г.В.) употреблялись как можно реже"<sup>32</sup>, и этим утверждением она существенно корректирует распространенное до последнего времени мнение о том, что Ю. И. Венелин здесь якобы вообще не касался членных форм<sup>33</sup>.

Мнение Ю. И. Венелина о членных формах, изложенное в "Грамматике нынешнего болгарского наречия", образованным болгарам того времени осталось неизвестным по той причине, что труд этот тогда не был опубликован (он вышел в свет только в 1997 г.). Но его отрицательное мнение о них в книге "О зародыше новой болгарской литературы" некоторые из них хорошо усвоили и под его сильным влиянием стали в Болгарии решительными противниками закрепления в складывавшемся литературном языке членных форм.

Наиболее решительно против членных выступил в 1845 г. Христаки Павлович во втором издании своей "Грамматики славено-болгарской", где дал этому развернутое обоснование. Если в первом ее издании (1836) в специальном разделе "Членове" он приводит членные формы всех родов и чисел, а в другом месте объясняет правила их написания, то во втором издании он отказывается от них и дает им резко отрицательную характеристику. Основная причина перемены в его отношении к членным формам заключается в том, что Хр. Павлович делает в начале 40-х годов крутой поворот в сторону сближения грамматики болгарского языка с грамматикой церковнославянского (староболгарского или славенского, как он пишет). В предисловии "Прелюбезна болгарска юносте!" ко второму изданию "Грамматики" он отмечает: "Издавамъ ю уже второ много по совершенну от первыя: защо многу недостатки въ ней дополнихъ, излишния (кои то са членове) изгнахъ, падежи умножихъ и къ Староболгарскому (Славенскому) языку ю приближихъ"<sup>34</sup>.

Решающим обстоятельством, заставившим его отказаться от членных форм, было для Хр. Павловича отсутствие их в староболгарском и неясность их происхождения в народном болгарском языке. Отметив, что "простолюдная разговоръ има и девета часть слова членъ, кой то не знамъ отъ гдѣ е влезналъ въ ней и какъ е навыкнатъ не сущу ему в матери, то есть въ славенскомъ языцѣ", он далее констатирует: "азъ обаче го изгнахъ изъ настоящїя Грамматики, кою сложихъ за да руководствуваамъ Болгарскую юность къ благородной разговори"<sup>35</sup>.

Другим аргументом против принятия членных форм в литературном языке было для Хр. Павловича убеждение в том, что они не украшают язык, а наоборот, портят его, делают безобразным. Теперь он уже считает, что членные формы – это "не е друго, но само една гнусота, едно нищо, или по добре да речемъ: едно големо

препятствіе къ благородной разговори и израженію высокихъ разумовъ"<sup>36</sup>. Он утверждает, что употребление членных форм *о*, *а*, *атъ*, *та*, *то*, *те*, *тѣ* – этих "гнусностей" – при отсутствии падежей не создает ясности выражения и представляет собой тот гордиев узел, который слушающие и пишущие не в силах развязать и понять. С возмущением он говорит, что членные формы, как и "другие гнусности", к которым он относит юсы, не украшают язык, а его "огнушават, защо сички тїи са воистину квасъ Фарисейский, кой то осквернява сичкое смѣшеніе, сирѣть причинява языку безобразіе, гнусота и премногое потемненіе"<sup>37</sup>. Возражая тем, кто, подобно Неофиту Рильскому, полагает, что всячое имя в сочетании с членной формой становится "определенено и явно", Хр. Павлович указывает, что такую определенность можно выразить и с помощью указательных местоимений (*земи това перо* вместо *земи перо то*), и советует оставить эти "пусты членове".

Характеризуя членные формы как препятствие к "благородной речи и выражению высоких разумов", Хр. Павлович имел в виду, несомненно, и то, что они якобы мешают созданию стихов. Изгнание же членных форм, введение падежей и др. позволит, как он полагал, "прелюбезной болгарской юности" писать "гладко и сладко, еще же и сось ритмы, какъ то и сродній тебѣ Сербинъ, думамъ, и Руссъ, а простый слогъ простымъ да оставяшь сось *о*, *атъ*, *та* *та* *ма*, *то* *то* *то* и сось разны други гнусоты"<sup>38</sup>. Упоминание здесь серба и русского едва ли случайно. Вполне вероятно, что он имел тут в виду К. Огняновича и Ю. И. Венелина, считавших, как уже сказано выше, что членные формы не украшают, а безобразят язык и делают невозможным сочинение стихов.

Важно также отметить, что Хр. Павлович, как и Ю. И. Венелин, одну из причин отказа от членных форм видит в стремлении устраниТЬ разногласия между книжниками. Он писал, что "изгнал член", "за да освободимъ отъ кавги и несогласия нашыя писатели понеже отъ нихъ нѣкои го употреблявать *о*, нѣкои *атъ*, и пак нѣкои *те* и нѣкои *тѣ*"<sup>39</sup>.

В середине 40-х годов вслед за Хр. Павловичем против введения членных форм в литературный язык выступил К. Фотинов, первоначально, как и Хр. Павлович, их употреблявший в своих ранних изданиях, например, в книге "Общее землеописание" (1843), в первых выпусках журнала "Любословие" (1844–1845). Правда,

уже и в этих изданиях, особенно в "Любословии", употребление членных форм не было столь последовательно, как в языке произведений других авторов. В последних выпусках этого журнала К. Фотинов членные формы уже не употребляет. Отказ от них объясняет отсутствием членных форм в церковнославянском (древнеболгарском) языке<sup>40</sup>. К отказу от них его подтолкнуло, вероятно, и резко отрицательное мнение о них Хр. Павловича.

В 40-е же годы без членных форм писали и некоторые другие возрожденцы, например, М. Киfalов в книге "Заради возрождение новой болгарской словесности или науки" (1842), П. Пиперов в книге "Приключения Телемаха сына Одисееваго" (1845), которые, не объясняя своих мотивов отказа от них, вероятно, просто последовали совету Ю. И. Венелина.

Позднее, уже в 50-е годы, без членных форм писал Г. Раковский, рассматривавший *тъ*, *та*, *то* как первоначальные указательные местоимения, которые некоторыми принимаются за членные формы<sup>41</sup>. Отсутствие членных форм в его известной книге "Показалец или ръководство, как да ся изисквѣт и издирят найстари чърти нашего бития, язика, народопоколения, старого ни правления, славнаго ни пришествия и проч." (1859) нашло одобрение со стороны Александра Экзарха, редактировавшего в то время газету "Цариградский вестник"<sup>42</sup>. Членные формы отсутствуют не только в произведениях Г. Раковского, опубликованных во второй половине 50-х годов, но и в его письмах того времени (в некоторых из них, правда, они очень редко все же встречаются). Но уже через 5–6 лет в сочинениях, изданных в самом начале 60-х годов и позже (до его смерти в 1867 г.), как и в адресованных разным лицам письмах, Г. Раковский вновь возвращается к прежней практике широкого употребления членных форм, какой он придерживался в начале своей книжной деятельности, в частности в незавершенных мемуарах "Неповинный болгарин" (1854)<sup>43</sup>.

В самом конце 50-х годов против членных форм выступил Ст. Горский на том основании, что они якобы "препятствуют поэзии", т. е. созданию стихотворных сочинений<sup>44</sup>. Ст. Горскому решительно возразил Петко Славейков, сами стихи которого наглядно опровергали несостоительное мнение противника членных форм. Иронизируя по поводу сомнений Ст. Горского, П. Славейков писал: "Но после того, как мы выбросили членные формы, не

возникнут ли новые препятствия и что с ними придется делать? И их придется выметать? Но в таком случае не умнее ли будет вместо того, чтобы отбрасывать членные формы и другие трудности, взять какой-нибудь другой язык, более легкий для поэзии, не имеющий членных форм, имеющий с десяток падежей и богатый рифмами?"<sup>45</sup>. Отказ от членных форм – это разрушение грамматики, норм языка ради поэзии, в котором сама поэзия не нуждается. П. Славейков подчеркивает, что совет Ст. Горского отказаться от членных форм – это бесплодное усилие, которое "может зародиться, только в мозгу таких гениальных преобразователей языка, каким является г. Горский"<sup>46</sup>.

Последним из возрожденцев, отказавшихся от употребления членных форм, был В. Друмев. Как известно, в первом издании его повести "Нещастна фамилия" (1860) эти формы отсутствуют. Однако В. Друмев вскоре изменил к ним свое отношение, и во втором издании этой повести (1873) он уже восстановил их употребление:

Из всего сказанного выше о попытках грамматистов и других книжников отказаться от употребления членных форм в формировавшемся литературном языке и закрепить этим самым в нем не свойственное народной речи, искусственное правило, существенно меняющее важный фрагмент грамматической структуры болгарского языка, можно заключить следующее.

В обоснование такого правила выдвигались различные аргументы: 1) отсутствие членных форм в церковнославянском и древнеболгарском, как и в других славянских языках; 2) разнообразие членных форм, якобы свидетельствующее об их "неправильности", излишестве, а также неясность их возникновения в народной речи болгар; 3) "непривлекательность" членных форм – это не "украшение", а "уродство" языка", "гнусность"; 4) препятствие членных к сочинению стихотворных произведений.

Мотивы такой аргументации понятны. Это и "внутреннее не-приятие" членных форм неболгарами (К. Огнянович, Ю. И. Венелин и др.), родной язык которых их не знает. Не случайно, надо думать, первыми против членных форм выступили именно те, для кого болгарский язык не был родным. С этим связано и чисто субъективное отношение к членным формам как к чему-то обезображивающему, уродующему язык, воспринятое и некоторыми

болгарскими грамматистами и писателями. Это, далее, просто плохое знание живого языка болгар, приведшее, в частности, к заключению о мнимой невозможности сочинения стихотворных (рифмованных) произведений. Наконец, – и это, может быть, главное – отказ членным формам в праве употребления в создавшемся новом литературном языке связан у некоторых возрожденцев с сознательной его архаизацией, проявлявшейся в отказе и от других характерных особенностей народной речи. Хр. Пыррев совершенно прав, рассматривая отказ от членных форм и их защиту как верный показатель того, приверженцами какого характера литературного языка были те или иные возрожденцы. "Отсутствие членных форм в письменных проявлениях того времени, – говорит он, – это надежный признак того, что соответствующие возрожденцы были более или менее архаизаторами в строительстве национального литературного языка; и наоборот, употребление таких форм недвусмысленно свидетельствует, что такие возрожденцы (подавляющее большинство) принимали живую народно-разговорную речь в качестве основы того же литературного языка"<sup>47</sup>.

Высказывания К. Огняновича, Ю. И. Венелина, Хр. Павловича и других противников утверждения в новом литературном языке членных форм вызвали резкую реакцию многих, в том числе и очень видных деятелей Возрождения, внесших существенный вклад в устройство этого языка. Их многочисленные выступления в защиту членных форм вообще и за их непременное закрепление в литературном языке по существу вылились в мощное движение за его формирование на народной основе с сохранением в нем характерных особенностей народного языка, одной из которых, а точнее – важнейшей из которых как раз и является наличие членных форм.

Первым в защиту членных форм в литературном языке, как и по ряду других вопросов, выступил Неофит Рильский в его знаменитом "Филологическом предуведомлении" в "Болгарской грамматике" (1835)<sup>48</sup>. Автора первой болгарской грамматики, как и многих образованных его соотечественников того времени и позднее, смущало то обстоятельство, что в авторитетном для них церковнославянском ("славенском") и в других славянских языках членных форм нет и что болгарский – единственный среди славянских языков, где они употребляются. Немало смущений

вызывал и тот факт, что в самом народном языке болгар членные формы произносятся по-разному. Неофит Рильский в самом начале своих рассуждений о членных формах как бы в некоторой растерянности отмечает: "Что же касается членов, которых существительные имена в [языке]-матери (т. е. славенском) не имеют, а болгарский их имеет непременно..., то я не знаю, что сказать"<sup>49</sup>. Несмотря на ряд недоуменных вопросов, возникающих в связи с таким положением дел, в частности и сложный вопрос относительно происхождения отдельных членных форм в болгарском языке, Неофит Рильский в конце концов приходит к заключению, что членные формы возникли в болгарском языке из "славенских" источников, и, будучи верным основной своей идеи о том, что новый литературный язык должен создаваться на базе живого народного языка, он решительно выступил за введение членных форм в этом языке. В обоснование этого требования он выдвигает ряд доводов.

Неофит Рильский подчеркивает прежде всего, что членные формы – это характерная черта болгарского языка, его отличительное свойство, которого нет ни в каком другом славянском языке. Он отмечает также, что, в отличие от старого языка "славенского", членных форм не имеющего, "болгарский их имеет непременно"<sup>50</sup>. Этую же мысль Неофит Рильский весьма образно выразил несколько позднее в одном письме к Р. Поповичу. Имея в виду мнение Ю. И. Венелина о ненужности членных форм в болгарском литературно языке, Неофит Рильский пишет: "А знает ли он [Венелин], что болгарский язык не будет существовать во веки без членов? И мне кажется, что, если даже и пророк Илья сойдет с неба, народ все равно их возьмет и выучит..."<sup>51</sup>.

Неофит Рильский указывает также, что членные формы не обезображивают болгарский язык, а, наоборот, украшают его: не уродство языка, а его "превосходный дар". "Без членных форм, – считает он, – болгарский язык ничего не стоил бы; именно этот дар делает его намного краше других, родственных ему, языков"<sup>52</sup>. Одним словом, членные формы, по мнению Неофита Рильского, это не недостаток, а преимущество языка, им обладающего, по сравнению с теми, которые их не имеют. Хотя Неофит Рильский и не говорит прямо, в чем заключается это преимущество болгарского языка, но очевидно, что он имеет в виду здесь следующее:

присоединение членных форм вносит значение определенности – они придают существительным "определенное значение" ("определен разум")<sup>53</sup>.

Далее, Неофит довольно резко выступил против того, что К. Огнянович как неболгарин не только характеризует членные формы как уродство языка, но хочет "по-разбойничьи отнять их у него (т. е. у болгарского языка – Г.В.) и оставить его как какого-то голого человека, дабы он потом перед всеми стыдился"<sup>54</sup>. Он считает, что К. Огнянович не имеет морального права давать болгарам совет отказаться от того, что каждый болгарин впитал с молоком матери. "Но мы, подлинные чада Болгарии, – эмоционально писал Неофит Рильский, – никогда не дерзнем, чтобы послушаться этого злого совета и обнажить себя, чтобы обезобразить красоту нашего языка болгарского, который украшается членными формами как некоим драгоценным изделием"("съ некоя драгоцѣнна оутварь")<sup>55</sup>.

Как видим, Неофит Рильский придавал большое значение членным формам как характерной особенности болгарского языка, во-первых, и был непримирим к отрицательным суждениям о них, исходящим не от болгарины, во-вторых. Для него было совершенно ясно и бесспорно, что членные формы как неотъемлемое достоинство народного болгарского языка должны быть непременно представлены и в формировавшемся новом литературном языке.

Столь же энергично в защиту членных форм выступил В. Априлов – другой видный деятель национально-культурного движения болгар. Как и Неофит Рильский, он неоднократно подчеркивал, что членные формы – наиболее характерная черта всего болгарского языка, и именно поэтому литературный язык не может и не должен ее лишиться. "Никак нельзя отказаться от члена, – писал В. Априлов, – и мне кажется, член есть характеристическая черта болгарского языка"<sup>56</sup>. Поскольку членные формы – эта "характеристическая черта болгарского языка" – употребляется всеми болгарами, включая и тех, кто живет в малейших уголках страны, то никто, подчеркивал В. Априлов, не имеет права изгнать их из языка<sup>57</sup>.

Как и Неофит Рильский, В. Априлов решительно возражал К. Огняновичу, отметив, что с оценкой, которую Неофит дал мнению первого критика членных форм, "согласны все болгары, простой народ и писатели"<sup>58</sup>.

Решительно отверг В. Априлов и соображения, высказанные профессором Рищельевского лицея М. Соловьевым, посоветовав тому хорошо изучить "Филологическое предуведомление" Неофита Рильского. Вероятно, в силу особого уважения к Ю. И. Венелину В. Априлов мягче отнесся к отрицательному мнению Ю. И. Венелина о членных формах, отметив, что его "теория" о членных формах "не совсем согласна с нынешним, живым языком"<sup>59</sup>. Известное же резко отрицательное мнение соотечественника Хр. Павловича о членных формах В. Априлов характеризовал как "афорическое", а его неприязнь к ним объяснил тем, что тот "насытился переправленным русским языком" и стремился проповедовать этот язык, а не "оригинальный болгарский язык" ("оригиналната българщина")<sup>60</sup>.

В. Априлов подчеркивал бесплодность любых усилий лишить болгарский язык его "характеристической черты". Он писал: "Наиправсъм будет любой труд заставить весь народ говорить согласно их (противников членных форм – Г.В.) учению, потому что народ уже имеет свой язык (с этими формами – Г.В.)."<sup>61</sup>

С обоснованием необходимости закрепления членных форм в литературном языке выступил также и Г. Крыстевич, вошедший в историю его нормализации прежде всего как автор известных четырех "Писем о некоторых трудностях болгарского правописания", написанных в 1844 г. и опубликованных позднее, в 1858–1860 гг. в журнале "Български книжици". Г. Крыстевич доказывает, что членные формы – не излишество языка, а его существенное преимущество, которое состоит в том, что они придают именам определенность смысла – "един определен разум"<sup>62</sup>, и благодаря этому своему значению они должны войти в литературный язык. Г. Крыстевич отмечает, что такая "определенность смысла" может быть выражена и с помощью местоимений, прилагательных и других средств, но полагает, что членные формы – "лучший способ такого определения"<sup>63</sup>. Характеризуя членные формы как "самую большую и наиболее отличительную черту новоболгарского языка", Г. Крыстевич не колебался в том, что они обязательно должны быть закреплены и в литературном языке.

Выступления Неофита Рильского, В. Априлова, Г. Крыстевича и других грамматистов, а также практика многих их современников привели к тому, что к рубежу 40-50-х годов прошлого века вопрос о

включении членных форм или точнее – вопрос о сохранении (не изгнании их) в складывающемся литературном языке был уже решен. Для созидателей этого языка и подавляющей части образованных болгар единственной правильной была уже восторжествовавшая точка зрения тех, кто отстаивал и доказывал необходимость закрепления членных форм в новом литературном языке как обязательного элемента его грамматической структуры. Победа этой точки зрения стоит в прямой зависимости с тем, что в ходе жарких споров по вопросу о характере самой основы утвердились мнение о формировании этого языка на базе современной для той поры народной речи со всеми характерными для нее новоболгарскими особенностями.

Отстояв членные формы в спорах с их противниками, защитники этой особенности народной речи встали перед нелегкой задачей выбора конкретных членных форм, которые необходимо было закрепить в литературном языке. Правда, здесь разногласия между книжниками того времени касались не всех членных форм, а преимущественно членной формы мужского рода единственного числа. Не вызывали никаких разногласий лишь членные формы среднего рода единственного числа *то* и множественного числа *та*. В отношении членной формы женского рода единственного числа и членной формы множественного числа споры велись главным образом в плане орфографии – различение членных форм женского рода *та* и *тъ*, множественного числа *тѣ*, *те*, *ти* и *ты*. В отношении же членной формы мужского рода единственного числа развернулись довольно острые споры среди грамматистов и обнаружился весьма заметный разнобой в языковой практике многих возрожденцев. Причина этого лежит в том, что именно эти членные формы представлены в народном языке большим разнообразием вариантов, почти каждый из которых имел больше или меньше своих приверженцев среди книжников той поры. Это обстоятельство и породило начало "вечного вопроса в перечне ("в броеницата") всех наших опытов устройства болгарского правописания после Освобождения", как охарактеризовал его А. Теодоров-Балан, один из активных участников разрешения этого вопроса в конце XIX – начале XX вв.<sup>64</sup>.

Значительное разнообразие членных форм в народной речи – местных говорах – было известно уже в 30-е годы. Во всяком

случае, Неофит Рильский в своей "Грамматике" констатирует, что членные формы "в болгарском языке в каждом месте различно и несогласно произносятся"<sup>65</sup>. Он указывает следующие 8 разновидностей членных форм: 1) *о - человѣко, столо*; 2) *отъ - человѣкотъ, столотъ*; 3) *а - человѣка, стола*; 4) *атъ - человѣкатъ, столатъ*; 5) *е - крае, коне, царе*; 6) *етъ - крайетъ, деньетъ, царьетъ*; 7) *а - кона, края*; 8) *атъ - конатъ, крайатъ*. Он считает, что любая из этих членных форм могла бы быть воспринята в литературном языке, если бы было доказано, что она "правильна" и поэтому, признается "хорошей и приятной"<sup>66</sup>. Книжная практика его современников демонстрирует разнообразие членных форм, употребленных ими в своих книгах. Неофит Рильский отмечает, что в известных ему печатных изданиях употребляются членные формы *о, отъ, а, атъ, етъ*<sup>67</sup>. Эти обстоятельства, а также понимание Неофитом Рильским необходимости нормализации, какого-то упорядочения употребления членных форм, которое должно быть поддержано всеми пишущими болгарами, привело его к формулированию того искусственного правила, которое увязывает употребление разных членных форм с синтаксической функцией существительных и которое в трансформированием виде закреплено и в современном литературном языке.

Однако прежде чем остановиться на этом правиле, посмотрим, какие членные формы употребляли современники и ближайшие предшественники Неофита Рильского. Оказывается, что уже до Неофита Рильского книжники придерживаются той же практики, какой придерживаются их соотечественники и после выхода в свет его "Грамматики", а именно, одни последовательно употребляют только одну членную форму, другие – две и более.

Так, одну членную форму употребляют: *-атъ* – А. Кипиловский в изданном им переводе книги "Священное цикообращение" (1825), *-а* – П. Сапунов в переводе "Нового завета" (1828)<sup>68</sup>. К этой же группе относят и В. Неновича, который, как полагают некоторые исследователи, употребляет только членную форму *-етъ*<sup>69</sup>. Это, однако, неверно, во-первых, потому, что В. Ненович употребляет не только эту членную форму, но и *-ѧтъ*, *-атъ* и *-атъ* (в его написании: *ѧ-тъ, а-тъ, а-тъ*); примеры см. ниже. В некоторых трудах указывается также, что только одна членная форма (*-о*) выступает и в книге "Арифметика или наука числителна"

Хр. Павловича (1833)<sup>70</sup>, что тоже неверно (примеры см. ниже). Почти общепризнано, что одну членную форму *-ът* (в написании *-ать*, *-Ать* под ударением, *-атъ*, *-атъ* без ударения) употребляет П. Берон в своем знаменитом "Букваре с различными поучениями", более известном под названием "Рыбный букварь" (1824). Однако в тексте этой книги есть случаи употребления и другой членной формы, о чем также см. ниже.

Две членные формы *-о* и *-а* употребляет Хр. Павлович в названной выше "Арифметике". (Через десять с лишним лет Хр. Павлович, как видно из сказанного выше, решительно выступил за изгнание членных форм из литературного языка). Две членные формы *-атъ* (*-ять*) и *-а* (*-я*) употребляет в это же время и Неофит Бозвели в своей "Славяноболгарской грамматике" (1835).

Три членные формы *-о*, *-отъ* и *-осъ* встречаются в языке Й. Кырчовского, издавшего во втором десятилетии XIX в. несколько книг в своем переводе.

Все названные здесь возрожденцы, употребляющие одну членную форму, используют ту, которая встречается в их родных говорах. Такого же происхождения и одна из двух или трех членных форм, употребляемых и другими книжниками.

В плане нормализации употребления членных форм особый интерес представляют тексты книжников, использующих две или три формы.

Что касается Й. Кырчовского, то, как указывает Р. Цойнская в своей известной монографии о языке этого возрожденца, все три употребляемые им членные формы, а именно *-о*, *-отъ* и *-осъ*, "правоправны в синтаксическом отношении и не зависят от синтаксической позиции имени существительного"<sup>71</sup>; срв.: *и мы рéкаль цáрть, а монахóсь се пошáдиль, а стáрецо не мы ѣговориль*, где к существительным в функции подлежащего присоединены все три членные формы, и *поклонíлсε до земли на стáрецо, ѣиде Иáмено при Цáро*, где к существительным в функции косвеных падежей присоединены членные формы *-о* и *-отъ*. Членная форма *-осъ* встречается в текстах Й. Кырчовского только дважды – *монахóсь* в приведенном примере и *калѓеросъ* (указан без контекста).

Так же "свободно и без какого-либо правила", т. е. не связывая с синтаксической функцией существительных, употребляет членные формы *-япъ*, *-атъ*, *-атъ* и *-етъ* В. Ненович в своей книге

"Священная история церковная" (1825). Первые две из них – *-ѧть* и *-атъ* – присоединяются здесь к именам на твердый, а *-атъ* и *-етъ* – на мягкий конечный согласный имени. Все они употребляются в сочетании с именем как в именительном, так и в косвенном падеже, с той лишь разницей, что *-ѧть* и *-етъ* встречаются чаще, чем *-атъ* и *-атъ*. Вот несколько примеров. С членной формой *-ѧть*: *Оу какѡ состоѧніе е астାналь человѣкъ-тъ подиръ грѣхъ-тъ* (с. 6); *мжжъ-тъ съ е называѣть Адамъ* (с. 5); срв. также: *да донесѧть кївѡтъ-тъ (сѧдъкъ-тъ) на засѣтъ-тъ* (с. 19). Членная форма *-атъ*: *на человѣка-тъ* (с. 34), *на Захаріа сващеннника-тъ* (с. 5) и др. Членные формы *-атъ* и *-етъ*: при *цѣла-тъ* (с. 12), на *спасителя-тъ* (с. 45) и *царь-ѣть* (с. 23), изъ *камень-еть* (с. 13). С прилагательными соединяется почти исключительно членная форма *-етъ*: *стѣры-етъ законъ* (с. 40), *столны-етъ градъ* (с. 21).

Членные формы *-атъ* (*-ѧть*) и *-а* (*-я*) употребляются в упомянутой выше "Славяноболгарской грамматике" Неофита Бозвели, составляющей третью часть пособия "Славеноболгарское детоводство за малките деца" (1835); срв.: *Орачать от хомотять повѣска; Жетваря жне съ серпать*, где членные формы *-атъ* (*-ѧть*) и *-а* соединены с существительными в функции подлежащего, и *Младенца научава рѣчите на языка*, где *-а* присоединена и к существительному в функции косвенного падежа. Ст. Стойков отмечает, что в текстах, содержащихся в "Грамматике", предпочтение отдается полной членной форме *-атъ* (*-ѧть*)<sup>72</sup>.

Отметим попутно, что членные формы *-о* и *-ѣ* (*-а*) употребляет и Софроний Врачанский – автор первой печатной болгарской книги "Кириакодромион" или "Недельник" (1806). Судя по примерам, приведенным К. Ничевой в монографии о языке этой книги, употребление обеих форм не увязывается у Софрония Врачанского с синтаксическими функциями существительных, срв. в функции именительного падежа: *свѣтъ нѣ броіль нѣ за що, пропаѣналь мѣстъ – женѣха влѣзе оу дѣмъ свѣй, поишѣль епїскона, да са оумалава и на монастыра дохѣда;* в функции косвенных падежей: *и като прифасаль... на ада, да пазатъ грѣба*<sup>73</sup>.

Однако как будто уже и в 20-е годы можно видеть зачатки разграничения употребления двух членных форм мужского рода единственного числа в зависимости от синтаксических функций существительных. Такие зачатки можно обнаружить в языке

знаменитого "Рыбного букваря" П. Берона. Принято считать, что П. Берон здесь употребляет только одну членную форму *-ът* (в его написании *-ть* под ударением и *-ть* без ударения)<sup>74</sup>. Вместе с тем исследователи, занимавшиеся изучением языка этой книги, отмечают, что наряду с широким употреблением родительно-винительных форм на *-а* от собственных и одушевленных существительных типа *Сократа, человѣка, філософа, безъмника* в тексте "Рыбного букваря" встречаются также и формы на *-а* от неодушевленных существительных типа *прозорица, двора*, в которых конечное *а* может рассматриваться как членная форма. Так, Р. Русинов, хотя и указывает, что П. Берон "употребляет только полную членную форму", сразу же здесь отмечает, со ссылкой на одну из статей Б. Цонева<sup>75</sup>, что в "Рыбном букваре" встречаются и "редкие случаи" использования краткой членной формы *-а* (*-а*), которая, в отличие от полной, пишется слитно, а не через дефис, например: *на двора, на прозорица, от прозорица, падна на носа́ му*<sup>76</sup>. Менее уверенно характеризует конечное *а* в этих примерах Ст. Стойков. Он полагает, что *прозорица* в "Извика отъ прозорица" (с. 76), *кораба* в "Когато влазяще въ кораба" (с. 79; на этой странице данного примера нет) "могут быть восприняты и как формы с членом ("членувани форми") и как косвенные падежные формы, хотя они и не являются одушевленными существительными"<sup>77</sup>. Несколько ниже Ст. Стойков указывает, что подобного рода "формы с падежным окончанием *а*", типа указанных *прозорица, кораба* (у него и *корабля*), "с нашей точки зрения могут быть восприняты и как формы с членом (определенные)", но, возможно, так же их воспринимал и сам П. Берон ("може би у него също така са членувани")<sup>78</sup>. В подтверждение этого Ст. Стойков ссылается на опубликованную в 1911 г. статью К. Петрова о котелском говоре – родном говоре П. Берона, согласно которой в нем наряду с полной членной формой *-ът* встречается и краткая членная форма *-ъ (-а)*<sup>79</sup>.

Важно отметить, что Ст. Стойков и Р. Русинов никакой зависимости употребления П. Бероном полной и краткой членных форм от синтаксической функции существительных не устанавливают. Приводимые же ими примеры как будто показывают, что краткая членная форма П. Бероном не используется в тех случаях, когда имя существительное выступает не в функции

подлежащего (срв.: *извика от прозорица, падна на носăму и др.*) и при этом действительно лишь в редких случаях. Обычно же к существительным в функции косвенных падежей присоединяется полная членная форма, например: *ѡтиде валк-атъ при овчérь-атъ* (с. 56), *ѡтиде при цárь-тъ* (с. 72), *ѡт тютиóнь-атъ* (с. 93), *пбкрыв-атъ имъ да стíга до вéрх-атъ* на *вода-та* (с. 105). В функции же подлежащего П. Берон употребляет существительные только с полной членной формой *-атъ* (*-атъ*).

Совсем иная картина предстает в языке книги Хр. Павловича, "Арифметика или наука числителна" (1833), на которую обратила внимание Б. Стоянова в опубликованной в конце 70-х годов заметке "К вопросу об установлении полной и краткой членной формы при именах м.р. ед.ч. в болгарском литературном языке". Она констатирует "тот очень важный факт, что Павлович использует две членные формы *-о* и *-а* с существительными мужского рода единственного числа в зависимости от синтаксической функции существительного в предложении", отметив, что такое "разграничение проведено совершенно последовательно"<sup>80</sup>. Разграничение в употреблении данных членных форм (они пишутся в "Арифметике" по-разному — через дефис, слитно или раздельно) заключается в следующем: существительные в функции подлежащего или сказуемого определения всегда принимают членную форму *-о* — "*Знаменатель-о*" подписува под произведенietо; *Раздѣляvasa знаменатель-о* на числителя; существительные в функции косвенных падежей принимают членную форму *-а* — докле стигнешъ оная недѣля, що и търсиш глас *a*; конец на *мѣсяцослова*; сумма от *остаток а* и *умалителя*; на *верх-а* на тоя перст; под *остаток а* подписуваса *еднаквый о знаменатель*.

Таково же распределение в употреблении членных форм *-о* и *-а* и в книгах Хр. Павловича "Разговорник греко-болгарский" и "Писменник общеполезен", изданных в том же году (1835), когда вышла из печати и "Болгарская грамматика" Неофита Рильского. Приводим все примеры из статьи Б. Стояновой:

Членная форма *-о*: в "Разговорнике греко-болгарском" — *Как прелсти дiаволъ-о первого человѣка; Прiатель-о въ нужда се познава; Що е дiаволъ-о; дождъ-о* ны плаши; в "Писменнике общеполезном" — *И страхъ-о ми не быде всуе; И това е надпис-о; Увѣрява ны на това опыт-о во многу человѣци;*

Членная форма *-а*: в "Разговорнике греко-болгарском" – *дървото за огњи; имамъ работа въ града; да я исушишъ на огњи; Тури ли вода на огњь-а; Потенъ да не стоишъ на ветръ-а;* в "Письменнике общеполезном" – *слѣдувай пътъ-а; Подлогъ-а си онъ ще ви каже изъ устъ; Свободни-те художества и науки возвышавать родъ-а; Сички-те боим се за животъ-а му; презъ день-а.*

Согласно наблюдениям Б. Стояновой, в названиях трех книгах Хр. Павловича в принятом им разграничении членных форм имеется лишь одно исключение, когда членная форма *-а* соединена с существительным в функции не именительного, а косвенного падежа: *тълчок-о, сирѣчъ онова, сось което се чука у хаванъ-о.* Автор заметки не исключает, что в данном случае имеет место неисправленная опечатка<sup>81</sup>.

Так же строго разграничиваются Хр. Павловичем членные формы м.р. ед.ч. и в соединении с прилагательными, порядковыми числительными и местоимениями, например: в "Арифметике" – *15-тый о день е ни лош ни добр, но: Найди лунный-а круг на оная година;* в "Письменнике общеполезном" – *Ако иска некой да найде солнечный-а кругъ; священный-о закон изискува я отъ мене, но: около десетый-а часъ; храни мой-а светъ.*

Мы намеренно привели здесь весь содержащийся в заметке Б. Стояновой материал, чтобы не оставалось никаких сомнений в обоснованности ее заключения, которым она заканчивает свою заметку: "за два года до выхода в свет "Болгарской грамматики" (1835) Н. Рильского Хр. Павлович уже прилагает на практике правило разграничения членных форм в зависимости от синтаксической функции имен мужского рода единственного числа, которое он совершенно последовательно соблюдает в первых своих трудах"<sup>82</sup>.

Данное правило Хр. Павлович в 1836 г. закрепил в своей "Грамматике славеноболгарской", где в разделе о членных формах ("Членове") для именительного падежа существительных мужского рода в единственном числе указана членная форма *-о*, а для винительного – членная форма *-а*<sup>83</sup>. Самого этого правила Хр. Павлович довольно строго придерживается и в тексте "Грамматики", хотя и употребляет членные формы не всюду, где они должны бы выступать. Срв. членную форму *-о* в соединении с именами в функции именительного падежа: *Наречиे то, союзъ о и*

*междометіє то начертаватсѧ многовидно и многобразно* (с. 32); **Членъ о самъ по себе не означава нищо** (с. 34); членная форма -а в сочетании с именами в функции косвенных падежей – *Ако ли мыслимъ разъмъ а на каде отхожда* (с. 45); *Первата бѣква въ начална та въ параграфъ а рѣчъ пишесе главна* (с. 48).

Из сказанного выше видно, что еще до выхода в свет "Болгарской грамматики" Неофита Рильского с его обоснованием употребления трех разных членных форм в зависимости от синтаксической функции соответствующих имен существительных, в болгарских печатных текстах были представлены одна (-ът, -ат, -ет, -а), две (-ът и -а; -о и -а) и даже три (-о, -от, -ос) членные формы. Употребление двух (и трех – как у Й. Кырчовского) членных форм в этих текстах не связано с синтаксической функцией соответствующих существительных, кроме членных форм -о и -а, которые уже в 1833 г. последовательно употреблял Хр. Павлович в книге "Арифметика или наука числителна". И хотя в этой книге нет какого-либо обоснования разграничения в употреблении членных форм -о и -а, Хр. Павлович, закрепивший -о за именем в функции подлежащего, а -а за именем в функции других членов предложения, первым приложил на практике искусственное правило их разграничения, и его, таким образом, есть все основания считать автором рассматриваемого правила. Это правило – придуманное, искусственное, потому что в народном болгарском языке, где членные формы составляют его важнейшую отличительную особенность, подобного разграничения членных форм нет.

В связи с этим возникает вопрос, нет ли какой-либо связи между практикой употребления членных форм -о и -а у Хр. Павловича с правилом, сформулированным Неофитом Рильским. Отметив, что Хр. Павлович поддерживал контакты с Неофитом Рильским, Б. Стоянова совершенно резонно ставит вопрос: "В результате ли этих контактов Павлович принял в упрощенном виде идею Н. Рильского о необходимости трех членных форм м.р. ед.ч. в зависимости от падежной функции имени (-о – для им.п., -а – для род.п. и -ат – для вин.п.) или же он сам, своим путем пришел к такой идеи, установить трудно"<sup>84</sup>. Действительно, без прямых свидетельств того, что Неофит Рильский еще до выхода в свет "Арифметики" Хр. Павловича обдумывал или даже уже обдумал идею о трех членных формах и эта идея так или иначе стала

известна автору "Арифметики", ответить на так поставленный вопрос едва ли возможно. Но Б. Стоянова, как нам кажется, упускает из виду и вполне возможное движение идеи о разных членных формах в противоположном направлении – от Хр. Павловича к Неофиту Рильскому. То, как употребляются членные формы в "Арифметике" Хр. Павловича, Неофит Рильский, конечно, хорошо знал. Он, например, дважды отмечает в "Болгарской грамматике", что Хр. Павлович употребляет членную форму *-о*. Так, перечисляя членные формы, встречающиеся в книгах современников, Неофит Рильский пишет, что "член *-о* каждый может видеть в Арифметике Хрисанта"<sup>85</sup>. В другом месте он указывает, что в именительном падеже имен хорошо бы употреблять членную форму *-о* и писать ее – во избежание недоразумений ("да не производи смущение") – слитно с именем, как это делает Хр. Павлович в своей "Арифметике"<sup>86</sup>. Следовательно, вполне могло быть и так, что Неофиту Рильскому практика разграничения членных форм *-о* и *-а*, приложенная Хр. Павловичем в его "Арифметике", понравилась, и он решил ей последовать, добавив (усложнив тем самым) к ним членную форму *-атъ* и сформулировав в "Болгарской грамматике" хорошо известное правило синтаксического разграничения членных форм *-о*, *-а* и *-атъ*. Иными словами, нельзя исключать (по крайней мере, в настоящее время) того, что сама идея такого разграничения членных форм в действительности принадлежала Хр. Павловичу, а не Неофиту Рильскому. Важно при этом отметить, что Хр. Павлович, как сказано выше, остался верен своему правилу употребления двух членных форм и после издания "Болгарской грамматики" Неофита Рильского и закрепил его в "Грамматике славеноболгарской". Правда, прошло совсем немного времени, и Хр. Павлович решительно отказался от любых членных форм, стал их непримиримым гонителем, и, может быть, это обстоятельство заслонило тот важный факт его литературно-книжной биографии, что он оказался у самых истоков зарождения в складывающемся новом литературном языке того искусственного правила, которое дожило в болгарском литературном языке до наших дней и вызывает недовольство у многих современных грамматистов, писателей и других представителей современной болгарской интеллигенции.

Обратимся теперь к хорошо известному в литературе искусственному правилу употребления членных форм, предложенному Неофитом Рильским в 1835 г.

Выше уже отмечено, что наличие членных форм в болгарском языке при отсутствии их в "языке материнском (т. е. славенском)" ставило автора "Болгарской грамматики" перед трудноразрешимым вопросом — как поступить с членными формами? "О членах, — воскликнул он, — не знаю, что сказать!" (с. 42–43). Трудность решения этого вопроса, по его мнению, заключается в том, что членные формы в болгарском языке "в каждом месте различно и несогласно произносятся" (с. 43), и это, как видно из его рассуждений, касается прежде всего членной формы мужского рода единственного числа. Неофит Рильский указывает следующие восемь ее разновидностей: *-о* — *человѣко, столо;* *-отъ* — *человѣкотъ, столотъ;* *-а* — *человѣка, стола;* *-атъ* — *человѣкатъ, столатъ;* *-е* — *крае, коне, царе;* *-еть* — *крайетъ, деньетъ, царьетъ;* *-а* — *кона, крайа;* *-атъ* — *конатъ, крайатъ.* По его мнению, любая из этих членных форм могла бы быть принята в литературном языке: "если кто признает какую-либо из вышеупомянутых членных форм правильной, та и будет хороша и приятна" (с. 52). В другом месте Неофит Рильский, впрочем, указывает и еще две членные формы — *-ѧть* и *-ѧ,* которые выступают тогда, когда на них падает ударение. Но эти формы он в расчет почему-то не принимает, считая их, вероятно, разновидностью членных форм *-атъ* и *-а,* которые по неизвестной ему причине ("я не знаю, почему так происходит, пусть каждый думает") у некоторых односложных существительных перетягивают на себя ударение: *страхѧть, светѧть, градѧть и страхѧ, светѧ, градѧ* и др. (с. 56).

Из восьми указанных выше членных форм Неофит Рильский отбирает для литературного языка три — *-о*, *-а*, *-атъ.* Остальные по разным причинам им отвергаются. Так, членную форму *-а* вводить в литературный язык ("да се пише") не следует потому, что это *а* здесь произносится как *ї* и *а* и, следовательно, есть не что иное, как та же членная форма *-а* (с. 43–44)<sup>87</sup>. Пары членных форм *-о* и *-отъ*, *-а* и *-атъ* различаются только тем, что к двум из них добавлено *т* (с. 45), и очевидно, что различие между *-о* и *-отъ*, *-а* и *-атъ* Неофит Рильский считал несущественным. По-видимому, так же расценивал он и различие между *-а* и *-атъ*, о которых в таком плане он, правда, ничего не говорит, но которые рассматриваются им как орфографические разновидности членных форм *-а* и *-атъ.*

Из восьми названных членных форм, которые, как пишет Неофит Рильский, имеются в болгарском языке " злоупотреби-

тельно", преобладают ("са господственno") три: *-o*, *-a* и *-e*. Членные формы *-e* и *-etъ* он во внимание не принимает ("исфърлиме на страна") потому, что это формы локального распространения: членная форма "*-етъ*" – это только местная, а не общая, ... также и *-e*" (с. 44).

В итоге Неофит Рильский оставляет только членные формы *-o* и *-a*, а также расширенные "добавленным" *и* формы *-отъ* и *-атъ*, которые различаются своей употребительностью: членная форма *-o* гораздо употребительнее, чем *-отъ*, а членная форма *-атъ* употребительнее формы *-a*. Учитывая большую употребительность *-o* и *-атъ*, он решает, что в литературном языке обе эти формы и могут быть оставлены как правильные до известного времени ("до послѣ"), так как обе они равно употребительны (с. 45). В другом месте он пишет о трех "равно употребительных членных формах", к которым, кроме *-o* и *-атъ*, причисляет и *-a* (с. 62).

В своей "Болгарской грамматике" Неофит Рильский и предлагает закрепить три "равно употребительные членные формы" *-o*, *-атъ* и *-a*. В разграничении же их употребления он исходит из отсутствия падежных окончаний в болгарском народном языке, полагая, что употребление различных членных форм может быть использовано для различения падежей. Он писал: "И так как весьма кстати ("благовременно") нам представляются три различные членные формы мужского рода единственного числа и все три равно употребительные в Болгарии, то, мне кажется, хорошо бы расположить эти три членные формы как равноупотребительные в трех разных падежах и употреблять их в письменном языке, где они вне всякого сомнения будут служить там для большего уяснения смысла; так почему же не воспользоваться ими" (с. 62–63). Неофит Рильский следующим образом распределяет функции между членными формами: членную форму *o*, характеризуемую им как "най приискрен и правilen (член)", закрепляет за именительным падежом, членные формы *-a* и *-атъ* – за косвенными падежами, из них *-a* за родительным, а *-атъ* за дательным и винительным, при этом членную форму *-a* он предлагает употреблять только с одушевленными существительными<sup>87</sup>.

Такова совершенно искусственная, не находящая никакой аналогии в живом народном языке (в говорах), система членных форм (как и падежей) и их распределения, предложенная

Неофитом Рильским. Нужно подчеркнуть, что он и сам, судя по всему, хорошо понимал искусственность данного правила, не настаивал на избранных им членных формах и считал, что они могут быть отвергнуты. Он писал, что изложил свое "мнение только, а не непреложное определение (потому что другой может рассуждать об этих вещах лучше и может изложить лучшее мнение), а когда и другие изложат свои мнения и другое мнение покажется лучшим и более основательным, то я готов склонить голову свою пред правдой (но не пред сомнением) и последовать лучшему и более правильному мнению"<sup>88</sup>.

Разграничивая падежи с помощью различных членных форм, которые он иногда называет падежными членами [например, ("родительный членъ или падежъ"), "родителнать членъ а"<sup>89</sup>] Неофит Рильский преследовал и другую, весьма важную в то время цель, а именно – примирить приверженцев разных членных форм. Использование в литературном языке разных членных форм, по его мнению, "всякому будет угодно, потому что этим не уничтожаются местные члены"<sup>90</sup>. Понятное стремление Неофита Рильского устранить разногласия между болгарскими книжниками по этому вопросу нашло, как видим, выражение в создании искусственной системы из трех членных форм.

Итак, основным критерием в определении "правильности" членной формы, т. е. пригодности ее для закрепления в литературном языке, для Неофита Рильского является степень ее употребительности, распространенности. Он отклоняет членные формы малоупотребительные, т. е. территориально менее распространенные. Нужно отметить, что он в общем правильно определяет, что наиболее употребительными являются членные формы -о и -атъ (-ъть под ударением). Такой подход к выбору членных форм в качестве предлагаемой нормы литературного языка свидетельствует о его понимании того, каким путем может быть установлено единство литературного языка.

Однако совершенная искусственность и громоздкость предложенной Неофитом Рильским системы из трех падежей и их закрепления за определенными падежами едва ли могла рассчитывать на успех. В полном объеме его предложение никем из грамматистов и книжников поддержано не было, за исключением одного лишь Хр. Сичан-Николова, который в конце 50-х годов

решил последовать примеру Неофита Рильского и ввести три членные формы *-а*, *-атъ* и *-о*<sup>91</sup>. В доказательство целесообразности употребления всех этих членных форм он не привел никаких доводов, что вызвало справедливые замечания Т. Стоянова-Бурмова<sup>92</sup> и Г. Крыстевича<sup>93</sup>. Но сама идея о возможности и целесообразности различия именительного и косвенных падежей посредством разных членных форм была подхвачена немалым числом возрожденцев, которые, однако, вместо трех членных форм Неофита Рильского употребляли, как это до него делал Хр. Павлович, две членные формы. Состав этих двух членных форм, использовавшихся для разграничения именительного и косвенного падежа, у разных возрожденцев был разный: *-о* и *-от* у Р. Поповича, *-ът* (*-ят*) и *-а* (*-я*) у представителей Тырновской школы, *-ат* и *-а* у Н. Пырванова и др. Разграничение употребления членных форм в зависимости от синтаксической функции падежей поддержали и другие грамматисты и книжники – Й. Груев, Д. Войников, Ив. Момчилов, Петко Славейков и др.<sup>94</sup>.

Истоки существующего в современном болгарском литературном языке искусственного правила употребления членных форм *-ът* и *-а* в зависимости от синтаксической функции существительных (*-ът* – при существительных в функции именительного падежа, *-а* – при существительных в функции косвенных падежей) лежат, как видно из сказанного выше, в практике разграничения двух членных форм у Христаки Павловича и трех членных форм у Неофита Рильского, которой они придерживались в 30-е годы. Нужно при этом подчеркнуть, что до опубликования в 1977 г. статьи Б. Стояновой единственным истоком данного правила признавалась “Болгарская грамматика” Неофита Рильского. Так, Л. Андрейчин писал, что начало существующей практики употребления полной и краткой членных форм “идет от грамматических представлений Неофита Рильского”, который при отсутствии в то время более ясного взгляда на явления языка, попытался искусственным путем объединить в литературном языке фонетические разновидности членных форм разных говоров, распределяя их употребление по признаку, не имеющего ничего общего с грамматической природой членной формы<sup>95</sup>. В академической “Истории новоболгарского литературного языка” также констатируется, что рассматриваемое правило было “впервые введено Неофитом Рильским”<sup>96</sup>. Расши-

рению употребления полной и краткой членных форм в зависимости от синтаксической функции существительных способствовало то, что в третьей четверти прошлого века указанное их разграничение было поддержано многими авторитетными возрожденцами и закреплено в качестве нормы в описаниях грамматики болгарского языка, созданных известными представителями Пловдивской и Тырновской школ. Л. Андрейчин указывает, что это правило “первоначально... было установлено еще в практике Пловдивской и Тырновской школ до Освобождения и оно связывается с более старой традицией, созданной Неофитом Рильским”<sup>97</sup>.

Что же касается конкретного книжника-возрожденца, предложившего или сформулировавшего рассматриваемое здесь правило, то мнения исследователей по данному вопросу расходятся.

Еще в самом начале завершающегося ХХ столетия С. Велев писал, что “правило употребления существительных мужского рода в именительном падеже с полной, а в винительном падеже с неполной членной формой придумано учителем Ботьо (Ботьо Петковым – отцом выдающегося поэта и общественного деятеля Христо Ботева. – Г.В.)”<sup>98</sup>. Такую же точку зрения, хотя и не столь уверенно, почти через полстолетия высказали М. Димитров и Л. Андрейчин. Первый из них в опубликованной в 1949 г. статье, посвященной Ботью Петкову, пишет: “Судя по всему (“по всичко изглежда”), он (т. е. Ботьо Петков. – Г.В.) является действительным создателем правила употребления полной членной формы -ът в именительном падеже и краткой членной формы -а в косвенном падеже”<sup>99</sup>. Отметим, что М. Димитров, упустив из виду известное обоснование разграничения трех членных форм, данное в “Болгарской грамматике” Неофита Рильского, ошибочно утверждает здесь, что “Ботьо Петкову принадлежит первый опыт урегулирования теоретическим путем членных форм мужского рода в практике нашего литературного языка”<sup>100</sup>. Одновременно с М. Димитровым, в том же 1949 г. и тоже в статье о Ботью Петкове, Л. Андрейчин пишет: “Судя по всему (“по всичко изглежда”), именно Б. Петков является создателем правила употребления членной формы -ът... в именительном падеже и -а... в косвенном падеже”<sup>101</sup>. Позднее в другой работе Л. Андрейчин эту же точку зрения высказывает с большей уверенностью: “его (данного правила. – Г.В.) родоначальником считается Ботью Петков, отец Христо Ботева”<sup>102</sup>.

Говоря о Ботьо Петкове как о создателе или родоначальнике существующего в современном болгарском литературном языке правила употребления членных форм *-ът* и *-а*, исследователи имеют в виду статью этого возрожденца “О болгарском языке”, опубликованную в 1857 г. в трех номерах газеты “Цариградски вестник”. Рассматривая здесь вопрос о необходимости упорядочения в употреблении членных форм мужского рода, Б. Петков предлагает следующее: “Но мы хорошо сделаем, если в винительном падеже не употребим член *тъ*, чтобы а) не вызвать отвращения из-за многократного его употребления в предложениях, б) отличить именительный от винительного, например, если мы скажем “Разбойникъ-ть убиль търговецъ-ть”, мы не поймем, кто кого убил; поэтому хорошо бы употребить винительный падеж без члена, изменив только окончание слова, например: “Разбойникъ-ть убиль търговца”, и 3) потому, что во многих местах Болгарии член *тъ* употребляется вместо *а*”<sup>103</sup>.

Иной точки зрения придерживается Ст. Стойков. В упоминавшемся выше его исследовании о членных формах он указывает, что “не мог точно установить, кто первым ввел это правило (о двух членных формах. – Г.В.) в наш литературный язык”, но, в отличие от Л. Андрейчина и других, “склонен допустить, что оно было сформулировано Иоакимом Груевым”, который, по его мнению, последовательно прилагает его в 1852 г. в изданном переводе повести А. Вельтмана “Райна князя болгарской”<sup>104</sup>.

Очевидно, что окончательно вопрос об авторстве рассмотренного выше искусственного правила употребления двух членных форм, существующего в современном болгарском литературном языке, будет решен после специального изучения всех болгарских текстов, изданных в 30-50-е годы XIX в.

Искусственные правила употребления членных форм в болгарском литературном языке на стадии его становления не ограничивались только рассмотренными случаями, касающимися разграничения падежей и синтаксических функций сочетающихся с ними существительных. Было предложено и искусственное правило употребления членных форм у двух и более прилагательных и причастий, выступающих в качестве однородных определений. Этот любопытный эпизод в истории нормализации нового болгарского литературного языка до сих пор оставался вне поля зрения

исследователей. И хотя правило это, о котором речь пойдет ниже, в отличие от принятого многими возрожденцами и позднее кодифицированного в качестве литературной нормы синтаксического правила употребления полных и кратких членных форм единственного числа мужского рода, не было в свое время поддержано, оно также заслуживает внимания как одно из множества свидетельств широкого интереса создателей нового литературного языка к остро стоявшей перед ними проблемой членных форм.

Особое правило употребления членных форм при однородных определениях, выражаемых прилагательными и причастиями, было сформулировано в 1844 г. Г. Крыстевичем во втором из упомянутых выше его "Писем", посвященном обсуждению проблемы членной формы – "величайшему, – как подчеркнул Г. Крыстевич, – камню преткновения для современных болгарских писателей"<sup>105</sup>. В этом "Письме" Г. Крыстевич рассматривает три вопроса: что такая членная форма ("член"), нужна ли она какому-либо языку и какие членные формы нужны "новоболгарскому письменному языку".

Выступив здесь решительно за утверждение в формировавшемся литературном языке членных форм и подробно изложив свою точку зрения относительно их выбора и написания, Г. Крыстевич в конце этого раздела формулирует правило употребления членных форм в сочетаниях существительного с двумя и более прилагательными и причастиями. Согласно этому правилу членная форма должна присоединяться не к каждому прилагательному или причастию, а лишь к последнему из них, стоящему непосредственно перед существительным. Например, вместо *красна-та, добротелна-та и великолѣпна-та царица* следует писать *красна, добротелна и великолѣпна-та царица*, вместо *человѣколюбиви-ти, милостиви-ти и даровити-ти царіе* надо писать *человѣколюбиви, даровити и милостиви-ти царіе*<sup>106</sup>.

Посылая "Письма" в редакцию журнала, Г. Крыстевич выражал надежду, что ознакомление с ними его соотечественников на страницах этого издания может оказаться полезным для "установления некоторой правильности и устроенности нашего новоболгарского правописания"<sup>107</sup>.

Известно, что болгарский народный язык некоторыми из образованных возрожденцев, причастных к формированию нового литературного языка, характеризовался как грубый, лишенный

мягкости, благозвучия. Такого мнения придерживались преимущественно те из них, кто связывал его нормализацию и совершенствование с ориентацией в значительной степени на церковнославянский и древнеболгарский языки. Одну из причин грубости народного языка и его неприемлемости в чистом виде в качестве языка литературного, они видели в частности в самом наличии членных форм, как и в их частом употреблении. Чтобы избежать укоров своих современников в том, что болгарский язык – "грубый и грохочущий" ("стропотен") из-за употребляемых членных форм и чтобы сделать его "более мягким и гладким, не лишая его точности и определенности", придаваемой ему членной формой, Г. Крыстевич и предложил принять в литературном языке указанное выше правило. Он полагает, что, согласно этому правилу, "единственная членная форма, относящаяся вообще ко всем предшествующим прилагательным, выражает то же ("върши работа"), как если бы все они имели членную форму, и в то же время она (т. е. оставляемая только при последнем прилагательном членная форма – Г.В.) сокращает, слаживает и делает слово более приятным ("скасява, оглажда и ослаждава"), не причиняя ему никакого ущерба"<sup>108</sup>.

С предложенным Г. Крыстевичем правилом не согласился И. Богоров. Он указал, что в соответствии "со свойством болгарского языка" при наличии ряда прилагательных, сочетающихся с одним существительным, членная форма должна присоединяться не к последнему из них, а к первому, например: *Българский, народенъ и различенъ языъкъ може да стане единъ и всеобщъ; Котленска-та, планинска, быстра и студена вода е добра за пиене; Высоко-то, зелено и къчясто дърво държи добръ сънкъ; Милостиви-ти, честити и даровити царие ся грыжатъ за народа; Селски-ты, тънкы, высокы, бѣли и чървени хубави момы пѣжатъ; Хубавы-ты, малкы и чисты дѣца сѫ една радость.* И. Богоров поясняет, что, если вместо свойственного болгарскому языку употребления членной формы при первом прилагательном поставить ее при последнем, другие прилагательные, т. е. предшествующие ему, окажутся как бы не значимыми, не существенными ("оставать както несѫществени")<sup>109</sup>.

Вместе с тем И. Богоров указывает и на то, что есть случаи, когда членная форма должна присоединяться ко всем прилагательным. Это бывает тогда, когда в качестве определений выступают притяжательные прилагательные, например:

*Французско-то, ингелизско-то, австрійско-то и турско-то управлінія сѧ говорны да си помогать.* Как видим, И. Богоров здесь правильно отметил одну из важных особенностей употребления членных форм с прилагательными, каждое из которых как бы является самостоятельным, равноправным с другим определением существительного, обозначающего в таких случаях не один и тот же предмет, а разные (в приведенном примере – *французско-то управлініе, ингелизско-то управлініе* и др.).

Однако и И. Богорову наличие ряда прилагательных с членными формами, следующих одно за другим, видимо, казалось громоздким, неблагозвучным и, чтобы избежать этого недостатка, он считал возможным оставить прилагательные после существительного, которое в подобных случаях одно только и будет выступать с членной формой. Так, вместо приведенной выше фразы он предлагал писать: *Управлінія-та французско, ингелизско, австрійско и турско направихъ говоръ по между си*<sup>110</sup>.

И. Богоров отметил также, что Г. Крыстевич сам не следует строго своему правилу, поскольку в его тексте встречаются и случаи с употреблением членной формы при первом из прилагательных, сочетающихся с одним и тем же существительным, например: *въ наше-то ново-българско правописаніе* вместо ожидаемого, согласно правилу, *въ наше ново-българско-то правописаніе* подобно тому, как употреблена членная форма в цитируемом им примере *за напечтаніе въ достопохвалны и многополезны-ты Българскы книжицы*<sup>111</sup>.

Замечания И. Богорова послужили Г. Крыстевичу поводом для разъяснения предложенного им правила. Он отметил, что И. Богоров его не понял, и четко указал, что его предложение сводилось к тому, чтобы писать одну членную форму при последнем прилагательном или причастии только в тех случаях, когда они все в живом языке употребляются с членной формой. И здесь Г. Крыстевич уже дает развернутое разъяснение своему правилу: "Если два и более прилагательных или причастий, предшествующих какому-либо имени, согласно повседневной живой речи ("обычайного говоряние") или, если хотите, согласно свойству нашего языка ("по свойството на язикът ни") все они принимают член, то, по нашему предложению, можно оставить член только при последнем из них, чтобы он мог относиться вообще и к другим прилагательным, то те

из них, которые член не принимают, должны и остаться без него, в том числе и близстоящие к имени; член же следует присоединить только к тому прилагательному, которое ему предшествует"<sup>112</sup>.

Г. Крыстевич отметил также, что в своем тексте в полном согласии с приведенным правилом в одних случаях - в соответствии со "свойством языка" - он пишет "*въ наше-то ново-българско правописанie*", а не "*въ наше ново-българско-то правописанie*", как якобы следовало бы, по мнению И. Богорова, писать согласно рассматриваемому правилу (это могло бы быть, если бы болгары обычно говорили "*въ наше-то ново-българско-то правописанie*", а этого в повседневной речи болгар нет); в других случаях, как "*въ достопохвалны и многополезны-ты Български книжицы*", потому, что в повседневной речи ("по обычая") членная форма выступает при первых двух прилагательных, но здесь она невозможна и при последнем прилагательном *български*, ибо присоединить ее к этому прилагательному совершенно невозможно, как было бы невозможно и сказать "*въ достопохвалны-ты и многополезны-ты Български книжицы*"<sup>113</sup>.

По мнению Г. Крыстевича, И. Богоров не прав, полагая, что членные формы присоединяются ко всем притяжательным прилагательным, но не допуская, что это же относится также к качественным и количественным прилагательным. Присоединяется ли, однако, членная форма ко всему ряду прилагательных или только к одному из них, зависит от типа данных прилагательных: если все они прилагательные притяжательные, качественные или количественные, тогда каждое из них принимает членную форму или же, согласно предложенному Г. Крыстевичем правилу, последнее из них, за которым следует существительное; если же с данным существительным сочетаются прилагательные разного типа (например, притяжательные и качественные), то членная форма присоединяется к первому из них. Оценивая с этой точки зрения приведенные И. Богоровым примеры, Г. Крыстевич отмечает, что тот прав, когда пишет: "*Българский (Българския-тъ), народенъ и различенъ язык*", "*котленска-та, планинска, быстра и студена вода*", "*селски-ты, тынки, высокы, бѣлы и чѣрвены момы*", потому что *българскіятъ, котленска-та, селски-ты* - это прилагательные притяжательные, а остальные - качественные. Но И. Богоров, по мнению автора правила, не прав, когда пишет "*высоко-то, зелено и*

*кычясто дърво*", "*милостиви-ти, честити и даровити царе*", "*хубавыты малки и чисты дѣтца*", поскольку все приведенные здесь прилагательные – качественные, и нет никакой причины присоединить членные формы к первым из них и не присоединять к другим.

Но и это еще не все. Так как прилагательное *малки* в последнем из указанных И. Богословым примере – прилагательное количественное, то, по мнению Г. Крыстевича, вместо "*хубавы-ты малки и чисты дѣтца*" было бы "лучше и сообразнее ("по сходно") со свойством нашего языка" писать "*хубави и чисти-ти малки дѣца*"<sup>114</sup>. Здесь качественные прилагательные *хубави* и *чисти* охватываются правилом Г. Крыстевича, и потому с членной формой оказывается второе из них (*чисти-ти*), а *малки* как прилагательное другого семантического плана – количественное – от них как бы отграничивается.

Таково предложенное Г. Крыстевичем правило употребления членных форм в сочетаниях с однородными определениями, выраженными прилагательными и причастиями, и пространное разъяснение того, как оно должно прилагаться в литературном языке. Более чем очевидно, что это – громоздкое, совершенно искусственное построение, которое не основывается ни в малейшей степени на речевой практике болгар. Его введение в литературный язык не диктовалось объективной необходимостью столь радикальной нормализации употребления членных форм в указанных сочетаниях с существительными, поскольку разнобоя, видимой неразберихи в этом практически не было. Оно диктовалось лишь субъективным желанием одного из возрожденцев, включившимся в процесс нормализации нового литературного языка, придать ему больше благозвучия за счет употребления якобы не украшающих язык членных форм *та*, *та*, *та* или *ти*, *ти*, *ти*.

Овладение рассмотренным правилом, определяющим порядок присоединения членных форм в сочетаниях из двух и более прилагательных и причастий в зависимости от их значения, оказалось бы, судя по всему, весьма проблематичным. Предложению Г. Крыстевича его современники не последовали. Показательно в этом отношении мнение Петко Славейкова – крупнейшего писателя и общественного деятеля эпохи Возрождения, активно занимавшегося и языковыми проблемами того времени. В опубликованной в 1859 г. статье "Несколько слов о собирании и языке притч", коснувшись

вопроса о разнообразии членных форм в болгарском языке и их происхождении, П. Славейков кратко заметил, что он поддерживает мнение Г. Крыстевича во всем, кроме прилагательных<sup>115</sup>. Очевидно, что он имел здесь в виду рассмотренное выше правило Г. Крыстевича об употреблении членных форм в сочетаниях прилагательных в функции однородных определений.

Искусственными правилами употребления членных форм, рассмотренными выше, не исчерпываются попытки болгарских книжников эпохи Возрождения решить этот сложный для них вопрос на стадии становления современного болгарского литературного языка. Такие попытки не ограничивались только конкретными предложениями, нашедшими отражение в грамматиках и отдельных статьях (заметках), посвященных членным формам, реальное употребление которых в оригинальных и переводных текстах того времени было гораздо разнообразнее. Тщательный анализ всей картины, отражающей многочисленные опыты реальной нормализации употребления членных форм, в том числе и особенно членной формы мужского рода единственного числа, должен составить предмет отдельного исследования.

<sup>1</sup> См., например: *Андрейчин Л.* Из историята на нашето езиково строителство. София, с. 24–46; *Русинов Р.* История на новобългарския книжовен език. София, 1984, с. 165–181; История на новобългарския книжовен език. Отговорни редактори Е. Георгиева, Ст. Жерев, В. Станков, София, 1989, с. 68–100; *Венедиктов Г. К.* Из истории современного болгарского литературного языка. София, 1981, с. 28–82, 119–141; *Он же.* Болгарский литературный язык эпохи Возрождения. Проблемы нормализации и выбора диалектной основы. М., 1990, с. 34–41, 152 и сл.

<sup>2</sup> *Венедиктов Г. К.* Из истории современного болгарского литературного языка..., с. 28–82.

<sup>3</sup> Там же, с. 101–106.

<sup>4</sup> Там же, с. 107–118.

<sup>5</sup> *Андрейчин Л.* Из историята на нашето езиково строителство, с. 25–28; История на новобългарския книжовен език, с. 29–35.

<sup>6</sup> *Венедиктов Г. К.* Болгарский литературный язык эпохи Возрождения..., с. 34–41.

<sup>7</sup> *Венедиктов Г. К.* Из истории современного болгарского литературного языка..., с. 63–82; История на новобългарския книжовен език..., с. 165–176.

<sup>8</sup> *Рилски Н.* Болгарска грамматика сега перво сочинена. Крагуевац, 1835, с. 3.

- <sup>9</sup> Венелин Ю. О зародыше новой болгарской литературы. М., 1838, с. 37.
- <sup>10</sup> Там же.
- <sup>11</sup> Там же.
- <sup>12</sup> Палаузов Н. Няколко мисли за болгарското правописание // "Цариградски вестник", год. В, № 81, 12. IV. 1852.
- <sup>13</sup> Огнянович К. Житие светаго Алексия человека божия. В Будине граде, 1833, с. 62.
- <sup>14</sup> Венедиктов Г. К. О языке первого издания Нового завета в новоболгарском переводе // Слово и культура. Памяти Н. И. Толстого. Т. I. М., 1998, с. 58.
- <sup>15</sup> Там же, с. 52–53.
- <sup>16</sup> Венелин Ю. Указ. соч., с. 48.
- <sup>17</sup> См. "Периодическо списание", 1888, кн. XXV–XXVI, с. 61. Ошибочное мнение о том, что В. Априлов якобы отказался от членных форм, иногда повторяется и в наше время (см., например: Радкова Р. Неофит Рилски и новобългарската култура. София, 1975, с. 154).
- <sup>18</sup> Венелин Ю. Указ. соч., с. 45.
- <sup>19</sup> Там же.
- <sup>20</sup> Там же, с. 59.
- <sup>21</sup> Там же, с. 46.
- <sup>22</sup> Там же.
- <sup>23</sup> Там же.
- <sup>24</sup> Там же.
- <sup>25</sup> Там же, с. 47.
- <sup>26</sup> Демина Е. И. О первом опыте кодификации болгарского литературного языка эпохи Возрождения. Концепция Ю. И. Венелина // Ю. И. Венелин в Болгарском возрождении. М., 1998, с. 110–111.
- <sup>27</sup> Венелин Ю. И. Грамматика нынешнего болгарского наречия. М., 1997, с. 85.
- <sup>28</sup> Там же, с. 86.
- <sup>29</sup> Демина Е. И. Указ. соч., с. 110.
- <sup>30</sup> Венелин Ю. И. Грамматика нынешнего болгарского наречия..., с. 87.
- <sup>31</sup> Там же.
- <sup>32</sup> Демина Е. И. Указ. соч., с. 110.
- <sup>33</sup> Там же, с. 121, сноска 80.
- <sup>34</sup> Павлович Хр. Грамматика славено-болгарска. Белград, 1845, с. I–II.
- <sup>35</sup> Там же, с. 3, сноска.
- <sup>36</sup> Там же.
- <sup>37</sup> Там же, с. II.
- <sup>38</sup> Там же.
- <sup>39</sup> Там же, с. 3, сноска.
- <sup>40</sup> См. "Любословие", 1846, февраль, с. 19–20.
- <sup>41</sup> Раковски Г. С. Показалец или ръководство, как да ся изисквът и издирият

най-стари чърти нашего бития, язика, народопоколения, старого и правления, славного и прошествия и проч. Одесса, 1859, с. XIX.

<sup>42</sup> См. "Архив на Г. С. Раковски". София, 1952, с. 172.

<sup>43</sup> Подробнее о членных формах у Г. Раковского см.: Вълчев Б. Раковски – книжовникът филологът. София, 1993, с. 86–94, 120–126; см. также: История на новобългарския книжовен език..., с. 186–187. В одной из ранее изданных работ автора настоящих строк со ссылкой на статью Р. Русева ("Раковски и въпросът за определителния член" // "Български език", 1962, кн. 5) ошибочно указывается, что Г. Раковский в своих произведениях восстанавливает членную форму -о (Венедиктов Г. К. Болгарский литературный язык эпохи Возрождения..., с. 81–82). Это – досадное недоразумение: в указанной здесь статье Р. Русева о членной форме -о ничего не говорится.

<sup>44</sup> Горски Ст. За българско рвение // "Цариградски вестник", 1859, № 413.

<sup>45</sup> См. "Ответ на циркуляра г-на Горского" // "България", год. I, 1859, № 15.

<sup>46</sup> Там же.

<sup>47</sup> Първев Хр. Славенобългарската грамматика на Христаки Павлович // Хр. Павлович. Грамматика славено-болгарска. Фототипно издание. София, 1985, с. VI.

<sup>48</sup> Рилски Н. Болгарска грамматика..., с. 42 и сл.

<sup>49</sup> Там же, с. 42–43.

<sup>50</sup> Там же, с. 43.

<sup>51</sup> Цит. по: Арнаудов М. Априлов. Живот, дейност, съвременници. София, 1935, с. 181.

<sup>52</sup> Рилски Н. Болгарска грамматика..., с. 43.

<sup>53</sup> Там же.

<sup>54</sup> Там же, с. 52.

<sup>55</sup> Там же, с. 53–54.

<sup>56</sup> Априлов В. Дополнение к книге: Денница новоболгарского образования. СПб., 1842, с. 25.

<sup>57</sup> Там же. См. также: Априлов В. Мисли за сегашното българско учение. Одеса, 1847, с. 33.

<sup>58</sup> Априлов В. Дополнение..., с. 25.

<sup>59</sup> Там же, с. 23–24.

<sup>60</sup> Априлов В. Мисли за сегашното българско учение..., с. 33.

<sup>61</sup> Там же, с. 18.

<sup>62</sup> Кръстевич Г. Писма за някои си мъчности на българското правописание. Писмо II. За членът. // Български книжици, 1858, ч. III, кн. 2, с. 164.

<sup>63</sup> Там же, с. 18.

<sup>64</sup> Цит. по публикации: Стойкова А. Академик Теодоров-Балан до професор Ст. Стойков // "Език и литература", 1992, кн. 4, с. 27.

<sup>65</sup> Рилски Н. Болгарска Грамматика, с. 43.

- <sup>66</sup> Там же, с. 52.
- <sup>67</sup> Там же, с. 45, сноска.
- <sup>68</sup> Стойков Ст. Членуване на имената от мъжки род, единствено число, в българския книжовен език // "Годишник на Софийския университет", т. XLVI, 1949/1950. Историко-филологически факултет, кн. 4. Езикознание и литература. София, 1950, с. 5; История на новобългарския книжовен език..., с. 391.
- <sup>69</sup> Стойков Ст. Указ. соч., с. 5; История на новобългарския книжовен език, с. 391.
- <sup>70</sup> Там же.
- <sup>71</sup> Цойнска Р. Езикът на Йоаким Кърчовски. София, 1979, с. 145–146.
- <sup>72</sup> Стойков Ст. Указ. соч., с. 6.
- <sup>73</sup> Ничева К. Езикът на Софрониевия "Неделник" в историята на българския книжовен език. София, 1965, с. 24–25, 226.
- <sup>74</sup> См., например: История на новобългарския книжовен език, с. 391.
- <sup>75</sup> Цонев Б. Д-р Петър Хаджи Берович-Берон // Сборник д-р Петър Берон по случай стогодишнината на Рибния буквар (1824–1924). София, 1981, с. 17.
- <sup>76</sup> Русинов Р. История на българския правопис. София, 1981, с. 17.
- <sup>77</sup> Стойков Ст. Указ. соч., с. 5.
- <sup>78</sup> Там же.
- <sup>79</sup> Петров К. Принос към говора на гр. Котел // Известия на Семинара по славяеска филология, кн. III, София, 1911, с. 210.
- <sup>80</sup> Стоянова Б. Към въпроса за установяване на пълен и кратък член при имената от м.р. ед.ч. в българския книжовен език // "Български език", 1977, кн. 2, с. 133.
- <sup>81</sup> Там же, сноска 4.
- <sup>82</sup> Там же, с. 134.
- <sup>83</sup> Хр. Павлович. Грамматика славено-болгарска. В Будиме, 1836, с. 8.
- <sup>84</sup> Стоянова Б. Указ. соч., с. 134.
- <sup>85</sup> Рилски Н. Болгарска грамматика..., с. 45.
- <sup>86</sup> Там же, с. 55.
- <sup>87</sup> Там же, с. 63–64, 163.
- <sup>88</sup> Там же, с. 66.
- <sup>89</sup> Там же, с. 163, 164.
- <sup>90</sup> Там же, с. 63.
- <sup>91</sup> Сичан-Николов Хр. К. Грамматика или буквеница словенска. Цариград, 1858, с. V.
- <sup>92</sup> [Стоянов-Бурмов Т.]. Струва ли за употребление в училищата, като учебна книга, Буквенницата Сичан-Николова? // Български книжици, 1859, ч. I, кн. 1, с. 232.
- <sup>93</sup> Кръстевич Г. Книжевний дневник // Български книжици, 1859, ч. II, кн. 2, с. 43.

<sup>94</sup> См., например: История на новобългарския книжовен език, с. 391.

<sup>95</sup> Андрейчин Л. Характер и произход на някои структурни особености на новобългарския книжовен език // Славистичен сборник. София, 1963, с. 163. Это же см.: [Андрейчин Л.] Някои въпроси около изграждането и разvoя на българския книжовен език // Андрейчин Л., Попова В., Първев Хр. Христоматия по история на новобългарския книжовен език. София, 1973, с. 20.

<sup>96</sup> История на новобългарския книжовен език..., с. 391.

<sup>97</sup> Андрейчин Л. Из историята на нашето езиково строителство..., с. 166; см. также: Стойков Ст. Указ. соч., с. 9; История на новобългарския език..., с. 391.

<sup>98</sup> Велев С. Ботю Петков // "Училищен преглед", 1906, год. XI, кн. 10, с. 1015.

<sup>99</sup> Димитров М. Ботъо Петков // Христо Ботев. Сборник по случай сто години от рождението му. София, 1949, с. 22.

<sup>100</sup> Там же.

<sup>101</sup> Андрейчин Л. Ботъо Петков като филолог // "Език и литература", 1949, кн. 2, с. 147.

<sup>102</sup> Андрейчин Л. Българският правопис след Освобождението // Из историята на българския книжовен език. Ч. II. София, 1964, с. 126.

<sup>103</sup> Петков Б. За българският язик // "Цариградски вестник", год. 7, № 336, 6. VII. 1857.

<sup>104</sup> Стойков Ст. Указ. соч., с. 9.

<sup>105</sup> Кръстевич Г. Писма за някои си мъчности... // Български книжици, 1858, ч. III, кн. 2, с. 163.

<sup>106</sup> Там же, с. 211.

<sup>107</sup> Кръстевич Г. Писма за някои си мъчности... писмо I. За азбуката // Български книжици, 1858, ч. II, кн. 2, с. 312.

<sup>108</sup> Там же.

<sup>109</sup> [Богоров]. [Рец.]: Писма за някои си мъчности на българското правописание. От Гавриила Кръстовича. Писмо II. За членът // Български книжици, 1858, ч. III, кн. 1, с. 29.

<sup>110</sup> Там же.

<sup>111</sup> Там же.

<sup>112</sup> Кръстевич Г. Книжевний дневник // Български книжици, 1859, ч. I, кн. 1, с. 16.

<sup>113</sup> Там же, с. 17.

<sup>114</sup> Там же, с. 18.

<sup>115</sup> Славейков П. Р. Няколко думи за събирането и за езика на прitchити // Български книжици, 1859, ч. III, кн. 1, с. 250.

## *Глава 7*

### **СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ КАК ФАКТОР ДИНАМИКИ ЛИТЕРАТУРНОЙ НОРМЫ**

Наше обращение к проблеме языковой конкуренции не было случайным. Полученные в ходе многолетних исследований данные<sup>1</sup> наглядно показали, что изучение этого уникального языкового феномена, имеет исключительную значимость для понимания специфики функционирования языковой материи, характера и темпа ее изменения, становления и развития важнейших языковых тенденций, в том числе и для определения степени словообразовательной продуктивности деривационных формантов.

Конкуренция принадлежит к числу наиболее своеобразных и наиболее интересных языковых явлений. Предпосылкой для его возникновения служит образование в некоторых точках языковой системы в рамках одного и того же синхронного среза более или менее множественных очагов скопления изофункциональных средств. Уточним, что мы имеем в виду лишь такие изофункциональные обозначения, которые, отличаясь по своему внешнему оформлению, являются полностью идентичными в семантическом и стилистическом отношении. В силу этого они могут свободно заменять друг друга в тексте без ущерба для заключенной в нем смысловой и стилистической информации.

Иными словами, речь идет о дублетах, совмещенных во времени и соотносимых с одним и тем же фрагментом плана содержания. Ср. по этому поводу высказывание Ш. Балли: "Две заменяющие формы... должны представлять, помимо тождества значений, полную разнородность означающих и абсолютное тождество функций. Редко случается, чтобы эти условия удовлетворялись одновременно"<sup>2</sup>.

Что касается словообразовательной конкуренции, то необходимым условием ее возникновения является существование в едином временном пространстве идентичных в семантическом и стилистическом отношениях образований, соотносимых с одной и той же производящей основой и разнящихся друг от друга только видом

форманта. Нарушение семантической и стилистической идентичности в этом случае незамедлительно влечет за собой прекращение конкуренции. Причем существенным может оказаться и появление на первый взгляд незначительных семантических или же стилистических нюансов. Так, например, лексемы *žáčka* и *žákyně* в сущности имеют сходное значение – ‘ученица’, однако у *žáčka* преобладает значение ‘ученица-школьница’, а у *žákyně* ‘ученица, воспитанница какого-то специалиста’, т. е. о наличии полной дублетности здесь можно говорить лишь с известной оговоркой, хотя в определенных контекстах обе лексемы практически могут заменять друг друга. Отметим также, что предполагаемые словообразовательные дублеты должны принадлежать к одной и той же фазе деривационной цепочки<sup>3</sup>. Последнее особенно важно для экспрессивной лексики, словоизводство которой допускает использование так называемых вторичных процедур. Так, например, с существительным *svetr* в современном чешском языке соотносятся деминутивы *svetřík*, *svetýrek*, *svetříček*, входящие в состав деривационной цепочки *svetr > svetřík / svetýrek* (первая фаза) > *svetříček* (вторая фаза). В этом случае деминутивы *svetřík*, *svetýrek* могут рассматриваться как дублеты, поскольку они принадлежат к одной и той же фазе деривационной цепочки; деминутив *svetříček* таковым не является в силу наличия у него значения усиленной степени уменьшительно-эмоционального признака. Как дублеты могут оцениваться, к примеру, русск. *белёхонъкий / белёшенький*, являющиеся вторичными производными в цепочке: *белый > беленький > белёхонъкий / белёшенький*.

Не являются дублетами однокоренные дериваты, отличающиеся друг от друга не только видом суффикса, но и привносимой им семантикой или же стилистической окраской: *diskotéka* – *diskárna* (наличие стилистического отличия – сленговость); аналогично в русском: *перестроечник* – *перестройщик*; выраженное семантическое отличие характерно для таких случаев, как: *houslista* ‘скрипач’ – *houslař* ‘скрипичный мастер’; *lampárná* ‘ помещение, где хранятся лампы железнодорожников’ – *lampovna* ‘ помещение, где хранятся лампы шахтеров’; *návrhář* ‘модельер’ – *návrhovatel* ‘истец’; *sluchadlo* ‘слуховой аппарат’ – *sluchátko* ‘наушник’; cf. также русск. *экологист* ‘участник экологического движения’ – *эколог* ‘специалист по экологии’; *газовик* ‘специалист по добыче газа’ – *газовщик* ‘специалист по

обслуживанию газовых приборов' и т. п. Не являются дублетами и феминативы с суффиксами *-ypě* и *-ová*: *ministrová* 'жена министра' и *ministryně* 'женщина-министр'. Наличие стилистического различия препятствует развитию конкуренции между дериватами с суффиксами *ok(a)* и *-ová* при обозначении жены соответствующего лица: *doktorka* – *doktorová*, *advokátka* – *advokátová* 'жена доктора, адвоката' и пр. Существительные с суф. *-ok(a)* в этом случае употребляются, как правило, в разговорной речи; с *-ová* (в том же значении) – в литературном языке (впрочем, использование последних по экстралингвистическим причинам становится все более и более редким).

Сам факт возникновения дублетов по своей сути противоречит тенденции языковой экономии, так как подобная асимметрия между планом выражения и планом содержания приводит к появлению избыточных языковых средств. Для исследователя изучение подобных очагов представляет большой интерес, поскольку со значительной степенью вероятности они сигнализируют наличие некоторого напряжения в языковой системе. Без преувеличения можно сказать, что очаги аккумуляции изофункциональных языковых манифестаций являются в своем роде пульсом языковой материи, позволяющим диагностировать ее наиболее динамичные звенья. Именно поэтому тщательная каталогизация и по возможности эксплицитная интерпретация подобных случаев способствует выявлению потенциальных путей развития языковой материи.

В свете сказанного выше правомерно сделать вывод о том, что конкуренция возникает на стыке двух важнейших тенденций: варьирования языковой материи и языковой экономии. Обе эти тенденции действуют как бы в одной "связке", причем первая тенденция предопределяет вторую. Именно на их пересечении и зарождаются импульсы языковой эволюции<sup>4</sup>. Как справедливо отмечает Л. П. Крысин, "Тенденция к увеличению вариантности противоположна действующей в литературном языке тенденции к функциональной и стилистической дифференциации вариативных средств, к уменьшению свободной варьируемости как свойства системы"<sup>5</sup>.

Способность к варьированию является универсальным свойством языковой материи, обусловленным действием как внутренних, т. е. имманентных закономерностей языковой системы, так и экстралингвистических факторов, в частности, социальной природой языка, его функционированием в качестве коммуникативного средства в

рамках определенного, достаточно пестрого по своему составу социума. Именно варьирование языковой материи создает благоприятную почву, своего рода питательную среду для возникновения конкуренции.

С точки зрения языковой экономии сосуществование в одной и той же синхронной плоскости функционально не разграниченных дублетных обозначений, как уже отмечалось, представляет собой факт нежелательный, избыточный. В силу этого логически предсказуемым завершением процесса конкуренции является вытеснение из употребления либо разграничение сфер функционирования соответствующих дублетов.

Именно конкуренция служит мощным инструментом осуществления языковой экономии. Устранив избыточные, дублетные образования, она способствует снятию напряженности в системе. Приведем в этой связи высказывание Б. Тринки: "В языке не могут существовать две различные формы, имеющие одну и ту же функцию. Две древнечешские формы ёка и ёка, обозначающие ту же самую реалию ("река"), не могут сохраняться в языке одновременно, одна из двух должна исчезнуть. Когда одна и та же идея или же отношение с тем же самым смысловым и аффективным содержанием передавались по фонетическим соображениям или же вследствие диалектного различия двумя вариантами, действовала тенденция употребления каждого варианта с оттенком. В противном случае один вариант должен был исчезнуть"<sup>6</sup>.

Из сказанного выше следует, что конкуренция есть явление не только синхронное, но и в значительной степени сиюминутное, с поправкой, разумеется, на замедленность темпа протекания языковых изменений. По сути дела, речь идет о своеобразном состоянии подвижного равновесия, которое вполне естественно не может быть продолжительным. Установить наверное, какой из дублетов в рамках данного синхронного среза окажется в будущем наиболее перспективным, наиболее продуктивным и, соответственно, станет составной частью нормы литературного языка порой довольно трудно. В этом случае направленность конкуренции, приводящей к размежеванию сосуществующих в едином времени дублетов, зачастую может быть лишь "нащупана". В связи с этим возникает достаточно сложный вопрос, касающийся сущности кодификаторской деятельности.

Конкретно, должен ли кодификатор нормы литературного языка намеренно ускорять ход конкуренции, т. е. размежевания дублетов, и тем самым вмешиваться в языковое развитие или же, напротив, ему следует занять выжидательную позицию, позицию стороннего наблюдателя. Именно эту проблему ставит в своей статье Д. Буттлер<sup>7</sup>, предлагая как ее возможное решение активное участие лингвиста в языковой футурологии, языковой "инженерии", планомерно направляющей функционирование литературного языка, с учетом актуальных потребностей общества. Позиция польской исследовательницы заслуживает внимания. Нельзя, однако, не отметить, что ориентация лишь на "потребности общества", вряд ли может иметь в этом случае решающее значение. Лингвистическое прогнозирование будет успешным лишь при учете результатов предварительного детального изучения внутриязыковых закономерностей и, в частности, данных диахронии, т. е. сопоставления разных стадий протекания этого процесса.

Усматривая тесную взаимосвязь между языковой динамикой и вариантностью языковой материи, чешский ученый Вл. Барнет справедливо отмечал, что диахронная вариантность проявляется в вытеснении одного языкового явления другим; синхронная – предполагает изучение конкуренции сосуществующих языковых явлений<sup>8</sup>.

Несмотря на исключительное познавательное и прогностическое значение фактов конкуренции как объекта научного наблюдения, этот феномен изучен совершенно недостаточно. Свою роль, очевидно, играет сложность самого исследуемого явления, трудность сбора и анализа необходимых языковых фактов, отсутствие разработанной методики разграничения варьирующихся обозначений, которая бы позволила установить, идет ли речь действительно о дублетах или же о синонимах, сосуществующих в рамках одного и того же синхронного среза. Важным представляется установление, насколько это возможно, причин возникновения конкуренции и т. п.

При изучении хода развертывания и результатов конкуренции мы использовали различную методику, в частности, прибегали к сопоставлению соответствующих помет в разновременно издававшихся словарях, учету данных экспертиз, частотности употребления тех или иных лексем в тексте. Для современного периода важны были и результаты анкетирования носителей языка.

Считаем важным особенно подчеркнуть, что изучение языковой конкуренции имеет большое значение для рассмотрения проблемы динамики нормы литературного языка, находящейся в поле зрения настоящей статьи. Как нам представляется, это позволяет с большой долей достоверности выявить доминирующие, наиболее жизнеспособные, а тем самым и наиболее перспективные языковые манифестации, проследить не только их становление, но и вытеснение из употребления манифестаций отживающих, непродуктивных.

Анализ материала наглядно показывает, что на ранних этапах существования литературного языка, когда его норма еще не совсем устоялась, кодификация обычно не имеет строго регламентирующего характера, она допускает более широкий набор изофункциональных вариантов, т. е. применяется как бы метод "проб и ошибок". Наглядной иллюстрацией этого служат словари чешского литературного языка эпохи национального Возрождения и, в частности, словарь Й. Юнгмана<sup>9</sup>, который во многом носит рекомендательный, а не предписательный характер. Так, в данном словаре, отражающем основные принципы предложенной Й. Юнгманом и его единомышленниками языковой программы, реестр допустимых варьирующихся обозначений для одного и того же понятийного содержания особенно велик. Он включает заимствования (заимствоваться могут не только отдельные лексемы, но и словообразовательные форманты) из близкородственных языков, диалектов чешского языка, новообразования и т. п.

По мере укрепления литературной нормы происходит "отбор возможных допущений за счет потеснения менее перспективных вариантов. Так, в чешском языке XIX, отчасти также XX в. феминативы от *Nomina agentis* на *-tel* могли образовываться путем присоединения конкурирующих суффиксов *-ka* и *-kyně* (ср.: *učitel* – *učiteika*, *učitelkyně*). В современном чешском языке конкуренция этих формантов в данной структурной позиции практически полностью завершилась вытеснением дериватов с суф. *-kyně*: они либо полностью отсутствуют в словарях, либо сопровождаются ограничительными пометами. Рассмотрение феномена языковой конкуренции в рамках небольшой статьи, разумеется, может быть лишь фрагментарным. В качестве иллюстративного материала нами будут использоваться главным образом данные чешского и русского языков, в основном относящиеся к модификационным словообразовательным

категориям: существительным со значением женского лица, деминутивным существительным, прилагательным со значением степени качества. Выбор именно этих категорий мотивировался рядом причин. Во-первых, данная лексика была нами в свое время достаточно тщательно монографически обследована с использованием большого фактического материала, относящегося к различным эпохам развития литературного чешского языка. В ходе этого изучения мы имели возможность проследить не только образование очагов словообразовательной конкуренции, но и их последующую эволюцию. Во-вторых, данные словообразовательные категории, особенно деминутивы и прилагательные со значением степени качества, имеют развернутые деривационные гнезда, в частности в чешском языке, они включают большое количество изофункциональных производных. Это особенно заметно у прилагательных, наделенных ярко выраженной экспрессивной окраской и имеющих в связи с этим разветвленные словообразовательные гнезда с множественными однокоренными изофункциональными образованиями<sup>10</sup>.

Следует отметить, что, несмотря на то, что в конкурентную борьбу вовлекаются отдельные лексемы, в действительности речь идет о процессах, развертывающихся на более высоких уровнях деривационной системы: словообразовательные типы, способы словообразования и т. п. Именно поэтому изучение хода конкуренции является одним из важнейших критериев определения степени словообразовательной продуктивности<sup>11</sup>, динамики словообразовательной нормы в литературном языке.

Как показывает материал, стабилизация словообразовательной нормы быстрее происходит в тех деривационных категориях, которые принадлежат к центральным магистралям номинации. Это во многом обусловлено высокой частотностью соответствующей лексики в речевом потоке, ускоряющей в свою очередь селекцию конкурирующих формантов. Так, например, высокая частотность в чешском языке существительных, обозначающих лиц женского пола (прежде всего парных феминативов), а также деминутивов способствует более быстрому протеканию конкуренции. У прилагательных со значением степени качества, занимающих более периферийное положение в системе номинации, этот же процесс развивается медленнее, соответственно и становление словообразовательной нормы проходит менее динамично. Сказанное выше является дополнительным подтверждением верности тезиса о неравномерности темпа развития языковых

изменений как в отдельных языках (в том числе и близкородственных), так и на разных уровнях одного и того же языка. Различие в скорости протекания языковых процессов отмечается и внутри одного и того же уровня языковой системы, в частности, словообразовательного<sup>12</sup>. Изучение прилагательных со значением степени качества наглядно показало, что у лексем с более высокой фреквенцией, как правило, отмечаются разветвленные синонимические пучки, т. е. они являются своего рода микроцентрами, фокусирующими словоизводство. Так, одним из таких центров у прилагательных со значением интенсификации признака является адъектив *malý* (об уровне фреквенции мы судили как по данным FS, так и по нашим собственным экспертизам), у которого нами было зарегистрировано в совокупности около 40 производных со значением интенсификации признака (что, впрочем, отнюдь не означает, что все они равнозначны по своей употребительности). Приведем лишь некоторые из них: первичные дериваты (*malinky*, *malíčký*, *maloučký*, *malounký*, *malitký*) > вторичные дериваты (*maliněnký*, *malilinký*, *malinkatý*, *malininký*, *maliňounký*; *malilinkatý*, *maličíčký*, *maliličký*, *malouličký*, *maloninký*, *malouninký*, *malilounký*, *maloulunký*, *maloulinký*, *malulinký*, *malilitký*) > дериваты третьей степени (*malilinkatý*, *malounininký*). Ср. также деривационную цепочку у прилагательного *малы'* в белорусском: *маленьki*, *маленечki*, *малесеньki*, *малюсеньki*, *малéненьki*, *малóтki*, *малюпúченъki*, *малюпúленъki*, *малюцóленъki* (Тур. сл. – мы благодарим В. В. Усачеву за предоставленный нам пример из белорусского языка).

У прилагательных со значением ослабленного признака наибольшее (10) количество синонимичных дериватов также отмечено у прилагательного *malý*.

Оговоримся, однако, что низкая фреквенция словообразовательной категории в целом, ее малая востребованность, во многом является причиной заторможенности ряда языковых процессов, замедляется, например, размежевание синонимичных дериватов по степени их употребительности; снижается темп развития конкуренции, процесса стирания словообразовательного значения. Не случайно в 40% случаев дериваты с суф. *-ičk-*, *-ink-*, *-oučk-*, *-ounk-*, входящие в чешском языке в состав одного и того же адъективного словообразовательного гнезда, являются полными, т. е. недифферен-

цированными дублетами. Впрочем, суффиксы с начальным "о" оказываются все же более конкурентоспособными. Высокая частотность использования слов, напротив, стимулирует их поляризацию, более быстрый отсев дериватов с менее жизнеспособными суффиксами.

Вопрос выбора форманта из числа синонимичных приобретает особую остроту при образовании неологизмов, в том числе окказионализмов, а также при адаптации заимствований – так, например, для обозначения лица, занимающегося ракетом (существительное ракет вошло в употребление в начале "перестройки"), могли использоваться следующие дериваты: *ракетир* (его вариантная огласовка *ракетёр*), *ракетист* (в устном публичном выступлении, 1989 г.), *ракетмен* (ТВ, программа "600 секунд", 1989). Ныне по истечении неполного десятилетия из этого ряда дублетов сохранилось лишь *ракетир* (*ракетёр*).

Приведем в качестве иллюстрации некоторые примеры дублетов, зарегистрированные в рамках одного и того же словообразовательного гнезда в современном чешском языке (заметим, что в соответствующих словарях или же справочниках типа Правил правописания наиболее употребительные дублеты приводятся на первом месте): (*rukavice* / *rukavička*) *Na ruce má gumovou rukavici. Ani ted' ji nesnímá, ale ještě ponoří do krve druhou rukavičku.* Joe Alex. Povím vám, jak zahynul. Praha, 1968-A; (*holubice* / *holubička*) *Odkdy je holub, přesněji holubice nebo holubička symbolem míru.* Vlasta, 1970. Как мы видим, в контексте дериваты *rukavice* / *rukavička* и *holubice* / *holubička* свободно варьируются, впрочем, SSČS указывает наличие уменьшительного значения у *holubička* и *rukavička*, отличающее их от соответствующих производящих лексем. Приведем другие примеры: (*zemědělka* / *zemědělkyně*, *maratónka* / *maratónkyně*) *Nejsou však ojedinělé ani případy, kdy se tvoří přechýlená ženská podoba dvojím způsobem, např. zemědělkyně a zemědělka... lze utvořit jak podobu maratónka, tak podobu maratónkyně.* Práce, 1981-A (*zemědělec* – *zemědělka* i *zemědělkyně* Pr. 93; в Pr. 57 приводится лишь *zemědělka*; женские соответствия к *maratónec* в обоих справочниках отсутствуют); *pustila učnici k pokladně... A učenky oprášovaly sirupy.* Vlasta, 1979 (*učen* – *učnice*, *učeňka* Pr. 93; в Pr. 57, SSČS дано лишь *učnice*); ср. также: *To jste tedy učená. Učenkyně nebo učenice?* H. Prošková. Tajemství planet,

1976-A; *moje spiklenyně se otočila*. J. Souchop. Hluboko nahoře, 1982-A (впрочем, в Pr. 57, SSČS и Pr.93 приводится лишь *spiklenka*); *bohemista – bohemistka* (однако в разговорной речи весьма образованной собеседницы, владеющей литературным языком, нами было зафиксировано и *bohemistička*, отсутствующее в словарях). Колебания в выборе суффикса феминатива отмечено и в следующих случаях: *psychiatr – psychiatrička* Ak.slov. (в Pr. 57 и Pr.93 оно отсутствует), см. в контексте: *Denní porada se dostává do proutu. účast: profesor, psychiatrička MuDr Eva Blažková... pracovní terapeutka.* Vlasta, 1983 (однако в разговоре мы слышали и *psychiatryně*); *magistr – magistra* Ak.slov., Pr. 57, SSČS и Pr.93, однако в контексте воспроизведены как *magistra*, так и *magistryně*: *Vybavovali se s magistryněmi a magistry jako rovný s rovným.* Rudé právo, 1982-A (впрочем, в последнем случае *magistry* может относиться и к мужчинам); *dramaturg – dramaturgyně, dramaturžka* Ak.slov., SSČS, *dramaturgyně* nebo *dramaturžka* Pr. 57; *dramaturgyně* i *dramaturžka* Pr.93; *chirurg – chirurgyně, chiruržka* Ak.slov., SSČS; *chirurg – chiruržka i chirurgyně* Pr. 93 (опрос носителей языка также показал предпочтительность *chiruržka*); *chirurg – chirurgyně* nebo *chiruržka* Pr. 57; ср. в контексте: *s lékařkou-chirurgyní jsme se seznámili.* Vlasta, 1972, письмо читателя; *Už moje prababička byla první lékařkou v Gruzii, a dokonce chiruržkou.* Vlasta, 1972, интервью, речь собеседника); *člen – členka* (однако в контексте зарегистрирован, повидимому, окказионализм *členyně*: *tři členkyňe okrašlovacího kroužku.* B. Hrabal. Každý den, 1979-A). Ср. дублеты у Nomina abstracta: *konzumentství – konzumnost* (в контексте: *Kulturní život proměněný v kulturní konzumentství.* Rudé právo, 1983-A; *spotřebitelská psychologie, konzumnost.* Rudé právo, 1980-A) и под.

Как дублеты могут квалифицироваться, например, заимствования (или же калька) и их деривационная адаптация в чешском языке: *kulometčík* 'пулеметчик' – *kulometník*; *šturmovština* 'штурмовщина' – *šturmování* и пр., где вторые компоненты пар постепенно вытеснили из употребления своих заимствованных предшественников.

В дальнейшем мы специально остановимся на некоторых структурных предпосылках возникновения дублетов, а также на рассмотрении хода конкуренции на таких уровнях словообра-

зовательной системы как словообразовательный тип и способ словообразования.

### **Основные правила словообразовательной комбинаторики**

Как показало исследование большого фактического материала, дистрибуция словообразовательных формантов регулируется рядом системных закономерностей, действие которых во многом предупреждает столь нежелательное с точки зрения языковой экономии пересечение структурных связей изофункциональных формантов, т. е. схождение потенциальных дублетов в одном и том же словообразовательном гнезде.

В ряду этих закономерностей решающее значение имеет совместимость дистрибутивных параметров производящих основ и суффиксов, обуславливающая предпочтительное соединение некоторых видов основ с определенными суффиксами. В рассматриваемых нами деривационных категориях численность так называемых "изолированных позиций", исключающих присоединение других суффиксов, особенно велика у наиболее продуктивного суффикса *-øk-*, что подтверждает его доминирующее положение. Так, у феминативов современного чешского литературного языка суф. *-øk-* более предпочтителен в комбинации с существительными на *-tel*, *-itel*, *-ař*, *-ář*, *č*, *-ista* и пр. Дериватам с суффиксами *-ice*, *-nice*, как правило, соответствуют производящие существительные на *-ík*, *-ník*; основам на *-ce* – суф. *kyn(ě)* и т. п.

Вместе с тем нередки и случаи, когда структурные связи различных формантов пересекаются с друг другом, что, собственно, и способствует возникновению конкуренции. Примером последнего могут служить деминутивы мужского рода, образованные в современном чешском языке посредством суффиксов *-øk-* и *-ík-*, у которых удельный вес пересечения структурных связей названных формантов составляет 10% для первого суффикса и 41% – для второго. Приводимые данные говорят об относительной неуязвимости позиций суф. *-øk-*, причем неуязвимости возрастающей (ср. 22% в древнечешском языке; 18% – в чешском языке эпохи Возрождения<sup>13</sup>).

При определении дистрибутивных параметров участников деривационного акта – производящих основ и суффиксов – решающее значение имеет фонемная манифестация наиболее тесно смыкающихся структурных сегментов.

## **Установление дистрибутивных параметров производящей основы**

Для определения дистрибутивных параметров производящей основы наиболее важна манифестация ее контактной зоны. Понятие контактной зоны нами рассматривается в ряде работ<sup>14</sup>. Впервые применив это понятие при описании комбинаторики деминутивных формантов, мы апробировали его впоследствии на большом фактическом материале, охватывающем, в частности семь словообразовательных категорий имени существительного в славянских языках: *Nomina agentis*, *Nomina actoris*, *Nomina attributiva*, *Nomina loci*, *Nomina mota*, *Nomina deminutiva et meliorativa*, *Nomina essendi*<sup>15</sup>. Проведенное исследование подтвердило целесообразность применения этого понятия.

Под контактной зоной имеется в виду финальный сегмент основы, в состав которого входит не только конечная, но и, что особенно важно, предконечная фонема. Именно от манифестации предконечной фонемы вокалом или же консонантом (без дальнейшей детализации ее фонетико-артикуляционной характеристики) в решающей степени зависит дистрибутивный тип основы, ее комбинаторные параметры. В соответствии с этим в составе производящих основ выделяются:

- а) основы со **стабильной** манифестацией предконечной фонемы:
- аа) вокальный тип VK; бб) консонантный тип K<sub>1</sub>K;
- б) основы с **варьирующейся** манифестацией предконечной фонемы, т.е. VK/φK или же φK/VK (при доминирующем в составе парадигмы консонантном падежном алломорфе).

Что касается **конечного** компонента контактной зоны основы, то в отличие от целого ряда дериватологов мы не склонны переоценивать его значимость для выбора словообразовательного форманта, хотя определенная взаимосвязь здесь все же имеется. Так, общизвестным фактом является присоединение в русском языке суффиксов -ник- (*Nomina agentis*) к основам на *ст*, *зд*; -чик- – к основам на *д*, *т*. Красноречивой иллюстрацией сказанного являются также *Nomina agentis*, у которых в результате преобладания основ на финальный гласный (после усечения конечного *-ти* исходного глагола) доминируют консонантные форманты;ср. русск. *-тель*, *-льщик*, *-лфиц*, *-нфиц* (*искать* – *искатель*, *носить* – *носильщик*, *страдать* – *страдалец*; ср. окказионализм **развалыщик империи**. Радио "Эхо Москвы" 98) и т. д.

На наш взгляд, фонетико-артикуляционные свойства исходного консонанта важны для выявления прежде всего механизма сцепления морфем друг с другом, т. е. стыковых чередований (именно в контактной зоне основы происходят морфологические чередования, сигнализирующие смыкание основы и суффикса).

Мотивировать в синхронном плане присоединение тех или других словообразовательных аффиксов исключительно фонетико-артикуляционными свойствами финалей основы в целом не представляется возможным. Это подтверждают, в частности данные графико-статистического анализа деминутивов<sup>16</sup>.

### **Установление дистрибутивных параметров суффикса**

В отличие от основы дистрибутивные параметры суффикса зависят от вокальной или же консонантной манифестации его зачина. На этом основании выделяются следующие типы суффиксов:

а) суффиксы со **стабильным** зачином:

– вокальная манифестация зачина во всех падежных словоформах: (чешск.) *-ař-/-ář-, -ík-, -ic(e), -ym(ě), -ičk-*; (русск.) *-ак-, -ичк-, -иц(a), -ын(я), -ость* и пр.

– консонантная манифестация зачина: *-kyn(ě), -ník-* и пр.

б) суффиксы с зачином, **варьирующими** при парадигматическом изменении слова по типу *VK/∅K*, где представлены следующие падежные алломорфы: *-ek- / -ok- / -ec-; -ek-/ -ok-* или же по типу *∅K/VK* (*-ц(o)/-ец-* и пр.). Заметим, что вокальный алломорф суффиксов *-ек-, -ок-, -ец-* и др. отмечается в комбинации с нулевой флекссией; в остальных словоформах фиксируется алломорф с беглой гласной. Впрочем, если исходить из доминирующего падежного алломорфа (с учетом и фреквенции суффиксального деривата в тексте), то эти аффиксы могут быть отнесены к консонантным практически во всех славянских языках, кроме болгарского, где стабильно сохраняется предконечный вокал; ср.: *ветрец, градец, дъждец*<sup>17</sup>.

Как показал материал, основным регулятором деривационной комбинаторики является **правило притягивания противоположностей**, в соответствии с которым основы с консонантной контактной зоной, как правило, соединяются с вокальными формантами (во избежание скопления согласных на стыке морфем) и, напротив, основы с вокальной контактной зоной тяготеют к консонантным формантам (хотя в целом эти основы имеют универсальную комбинаторику, т. е. могут сочетаться с любыми формантами).

Установленные комбинаторные закономерности проводятся достаточно последовательно, во многом они имеют универсальный характер. Тем не менее даже их соблюдение не исключает возможности пересечения структурных связей словообразовательных суффиксов в результате действия устойчивых лексических связей, традиций словоупотребления, опосредованного и непосредственного влияния других языков. Так, например, в полностью идентичной структурной позиции в одном случае (*háj*) в сильной позиции оказывается деминутивный суф. *-øk-*; в другом (*čaj*) – *-ík-* и т. п. Немалое значение имеет и проводимая в ту или иную эпоху языковая политика; ср., например, тенденцию "маскулинизации" обозначений лиц женского пола, проявившуюся в 50–60-е годы этого столетия в польском литературном языке (соответствующая дискуссия по этому поводу развернулась, в частности в журнале *Poradnik językoowy*, где противники конкретизации признака пола при обозначении лиц, имеющих титулы, звания и т. п., аргументировали это тем, что подобное уточнение столь же несущественно, как и уточнение цвета глаз "у господина министра"). Примечательно, что современное французское языковое законодательство требует неукоснительного соблюдения в литературном языке фиксации с помощью средств словообразования пола лиц, занимающих те или иные должности, выполняющих функции и пр.

Невзирая на сказанное выше, вряд ли есть основания сомневаться в правомерности выявленных комбинаторных закономерностей. Это, кстати, полностью подтверждается ходом конкурентной борьбы, когда в сильной позиции, как правило, оказываются форманты, дистрибутивные параметры которых оптимально соответствуют строению контактной зоны соответствующих основ.

Проиллюстрируем примерами возникающие комбинаторные ситуации:

1. Основы с предконечным консонанттом + вокальный формант (русск.) *морда* – *мордочка*, *дождь* – *дождик*, *гвоздь* – *гвоздик*, *сестра* – *сестричка*; (чешск.) *docent* – *docentík*, *cukr* – *cukřík*, *hadr* – *hadřík*, *vítr* – *větřík*; *ministr* – *ministryně*, *obr* – *obryně*, *mistr* – *mistrová* и пр.

2. Основы с предконечным вокалом + консонантный формант Вокальные основы (равно как и суффиксы) отличаются

комбинаторной "неприхотливостью", они сочетаются с суффиксами как с вокальным, так и с консонантным зачином, однако наиболее предпочтительными все же являются консонантные форманты;ср.: (русск.) *голова* – *головка*, *рука* – *ручка*, *правозащитник* – *правозащитничек* (окказионализм – Радио "Эхо Москвы" 98); (чешск.) *květ* – *kvítek*, *ryba* – *rybka*, *ruka* – *růčka* и многие другие. Ср. примеры присоединения вокальных суффиксов: (русск.) *геолог* – *геология*, *часы* – *часики* и пр.; (чешск.) *prorok* – *prorokyně*, *sok* – *sokyně* и пр.

### 3. Основы с варьирующейся манифестацией контактной зоны

Данные основы для нас наиболее интересны, поскольку у них ярче всего проявляются избирательные способности форманта, т. е. вокальный формант тяготеет к алломорфу с консонантной контактной зоной; консонантный – к вокальному. Так, словообразовательная интерпретация деминутивов *cimerka* и *cimřička* зависит от соответствующего падежного алломорфа (*cimør-* / *cimer*) существительного *cimra* (от немецкого *das Zimmer*). Причем деминутив *cimerka* может быть соотнесен с алломорфом *cimer-*, представленным в род. п. мн. ч. (возможна, впрочем, и альтернативная мотивировка, соотносящая с *cimør*, при использовании вставного гласного «*ø* / *e*», разрежающего комбинацию согласных). Деминутив *cimřička*, напротив, соотносится с доминирующим падежным алломорфом *cimør-*, причем скопление согласных в контактной зоне основы присоединению суффикса с вокальным зачином препятствием не является (см. ниже).

Проведенное исследование большого и разнообразного деривационного материала в целом показало количественное преобладание производящих основ с **вокальными** контактными зонами, сочетающихся соответственно прежде всего с суффиксами консонантного типа, хотя у них могут отмечаться и вокальные форманты (мы уже упоминали о комбинаторной неприхотливости последних). Не случайно поэтому в деривационном инвентаре многих словообразовательных категорий доминирующее положение занимают именно консонантные форманты. В целом, как было установлено, оптимальным является **двуухформантный центр** словообразовательной категории, включающий по одному вокальному и одному консонантному суффиксу. Взаимодополняя друг друга в комбинаторном отношении, они, взятые в совоокупности, покрывают возможный

набор структурных позиций<sup>18</sup>. Так, например, неудобство присоединения консонантного форманта *-øk-* к основе со скоплением согласных в контактной зоне (в односложном слове *mistr*) делает необходимым привлечение для образования феминативов вокальных суффиксов *-oxá* (*mistrová*) или же *-yně* (*mistryně*) (ср. также: *rotmistr* – *rotmistryně* Ak.slov. (*v hodnosti rotmistryně*. Rudé právo, 1982). Аналогичным образом распределяются структурные позиции между деминутивными суффиксами *-øk-* и *-ík-*, где суф. *-ík-* (в отличие от суф. *-øk-* присоединяется к основам с консонантным строением контактной зоны: *akt* – *aktík*, *cent* – *centík*, *flirt* – *flirtík*, *svetr* – *svetřík* и т. п., фиксируемым как словарями (в том числе и SSJČ), так и эксперциями.

Наличие двухформантного суффиксального центра словаобразовательной категории отвечает правилу комбинаторной достаточности, так как входящие в его состав аффиксы по своей дистрибуции находятся в отношении дополнительного распределения, т. е. восполняют возможную комбинаторную “ущербность” друг друга.

Говоря о наличии тех или иных комбинаторных “предпочтений”, нельзя не учитывать, что на практике они могут корректироваться, что проявляется в возможности присоединения к одним и тем же лексемам формантов с разными дистрибутивными параметрами, т. е. создается ситуация, благоприятная для возникновения словаобразовательной конкуренции.

### ***Структурные предпосылки появления словообразовательных дублетов***

К числу причин, обусловливающих появление словообразовательных дублетов, следует отнести, в частности:

- а) наличие основ с вокальными контактными зонами, допускающими присоединение как консонантных, так и вокальных суффиксов;
- б) наличие в суффиксальном инвентаре одной и той же словообразовательной категории формантов с идентичными структурными параметрами;
- в) возможность присоединения формантов к различным алломорфам одной и той же производящей основы (при варьирующейся манифестиации строения контактной зоны основы);
- г) возможность применения соответствующего адаптивного меха-

низма в виде чередований, усечения «нежелательных» структурных сегментов и пр., позволяющего преодолеть структурную несовместимость производящих основ и суффиксов.

Проиллюстрируем соответствующими примерами три последних случая (о первом мы уже говорили выше):

### Ситуация «б»

Ярчайшим примером наличия в деривационном инвентаре словообразовательной категории формантов со сходными дистрибутивными параметрами являются деминутивные суффиксы существительных м. р. с консонантом *«k»* и *«c»*, т. е. *-øk-* и *-øc-*. Поскольку оба форманта принадлежат к одному и тому же типу консонантных суффиксов, их комбинаторные параметры совпадают. Суффикс *-øc-* по ряду причин<sup>19</sup> оказался непродуктивным, поэтому в данной словообразовательной категории он в большинстве славянских языков стал избыточным и был вытеснен более успешным конкурентом суф. *-øk-*. В современном литературном чешском языке суф. *-øk-* “узурпировал” деминутивное словоизводство у существительных мужского рода (89%), очень сильны его позиции в женском роде. У существительных среднего рода он несколько уступает суффиксу *-i(i)čøk-*. Аналогичная судьба постигла в этой же словообразовательной категории суффикс *-ic(e)* (существительные ж. р.), который со временем был вытеснен суф. *-ičøk-*, т. е. в отличие от первого случая конкуренция развернулась между суффиксами с вокальным зачином.

В словообразовательной категории феминативов у основ на *-tel-* между собой конкурировали суффиксы консонантного типа *-øk-* и *-kyn(ě)*. В конечном итоге в данной структурной позиции победил суф. *-øk-* (ниже мы приведем некоторые примеры). Несколько иначе проходит конкуренция тех же суффиксов у основ на *-ec*: *spojenec* (падежные алломорфы *spojenec* / *spojenøc-*) – *spojenkyně*, *spojenka* (именно в такой последовательности они приведены в Рг. 98). Впрочем, деривационный механизм, сопутствующий образованию этих феминативов, может интерпретироваться по-разному: либо усечение контактной зоны производящей основы *-øc-*, в результате чего консонантные форманты *-kyně* и *-ka* оказываются в более благоприятной для них фонемной ситуации, т. е. в комбинации с вокальной контактной зоной *-en-* (*spojenec*), либо образование от

словоформы косвенных падежей *spojenøc-*. Обе интерпретации равно допустимы.

### Ситуация «в»

При наличии у производящей основы падежных алломорфов с разной манифестиацией контактной зоны (вокальной и консонантной) соответствующие суффиксы могут “выбирать” подходящий для них по строению контактной зоны алломорф. Ср.: существительное *koberec* имеет два варьирующихся алломорфа: *koberec-* / *koberøc-*, соответственно деминутив *kobereček* соотносится со словарным алломорфом основы *koberec-* (при чередовании конечного «с / č»), деминутив *koberčík* – с алломорфом косвенных падежей *koberøc-*. Ср. также: *vrabec* – *vrabeček*, *vrabøc* – *vrabčík*. Приведем и другие примеры: существительное *loket* (*loket-* / *lokøt-*): *loket-* + *-øk-* > *lokýtek* (чертодование *e* / *ý*); *lokøt-* + *-ík-* > *loktík*; *uhel-* / *uhøl-*: *uhel-* + *-øk-* > *uhýlek* (обычно дериват с чередованием *e* / *ý* менее употребителен); *uhøl-* + *-ík-* > *uhlík*; *ret-* / *røt-*: *ret-* + *-øk-* > *retek* J; *røt-* + *-ík-* > *rtík* (приводится всеми словарями); ср. образование феминативов от существительного *učeň*, имеющего варьирующиеся алломорфы *učeň-* / *učøň-*: *učeň-* + *-øk-* > *učeňka*; *učøň-* + *-ic-* > *učnice* и многие другие.

Таким образом, у одной и той же лексемы отмечается присоединение конкурирующих друг с другом аффиксов. Существенно при этом, что, как мы могли убедиться, далеко не всегда словарный алломорф (им. п. ед. ч.) может выступать в качестве единственного исходного звена деривационного акта.

### Ситуация «г»

Пересечение у одной и той же производящей основы разных суффиксов с идентичным словообразовательным значением может обуславливаться применением соответствующего адаптивного механизма в виде чередований, усечений основы и пр. Так, в приводимых выше примерах феминативы *dramaturgyně*, *dramaturžka*; *chirurgyně*, *chiruržka*, соотносимые соответственно с *dramaturg*, *chirurg*, присоединение суф. *-øk-* становится возможным лишь после чередования финального *g* > *ž*; для присоединения суф. *-yňe* подобная адаптация не требуется. В результате вкладывания гласного (чертодование *ø* / *ý*) становится возможным присоединение консонантного суффикса к основе консонантного типа (наряду, впрочем, с вокальным суффиксом); ср.: *svetr* > *svetřík*, *svetyrek*; *vítr* > *větřík*, *větýrek* (ср. в

тексте лирической поэмы начала XIX в. – альманах “Весна”: *A větýrek něžným spěchem / Luhem květnatým zavívá. Šumí větrík luhem, sadem).*

### **Развертывание конкуренции на разных уровнях**

#### **словообразовательной системы**

#### **Конкуренция на уровне словообразовательного типа**

Изучение хода конкурентной борьбы сопряжено с необходимостью сбора и соответствующего осмыслиения достаточно большого языкового материала. Так, при рассмотрении конкуренции суффиксов *-øk(a)* / *-kyn(ě)* / *-yn(ě)* в литературном чешском языке нами было обследовано 160 случаев конкуренции феминативов, из них в 127 была зафиксирована сильная позиция *-øk(a)*, в 10 – *-kyn(ě)* или же *-yn(ě)*; в 23 – исход борьбы остался неясен<sup>20</sup>. У суффиксов *-øk-* и *-ík-* (*Nomina deminutiva* м. р.) было проанализировано 245 случаев конкуренции данных формантов, из которых в 122 более конкурентоспособным был суф. *-øk-*; в 78, напротив, в более сильной позиции оказался *-ík-*, в 45 – процесс остался незавершенным) и пр.<sup>21</sup>.

Приведем примеры конкуренции суффиксов *-øk(a)* и *-kyn(ě)* при образовании феминативов в литературном чешском языке – для того, чтобы проследить развертывание этого процесса в истории чешского литературного языка мы приведем здесь данные диахронического обследования словарей, в частности будем учитывать эволюцию словарных помет в разновременно издававшихся словарях (приведем расшифровку наиболее употребительных словарных помет: \* «малоупотребительный»; † «вышедший из употребления»; řídč. «редкий», zastar. «устаревший» и пр.).

Предваряя рассмотрение, отметим, что основным полем конкуренции суффиксов *-øk(a)* и *-kyn(ě)* в какой-то мере и по сей день являются основы существительных мужского рода со значением лица на *-ec* (падежные алломорфы *-ec-* / *-øc-*). Причем происходит некоторое разграничение сфер употребления этих суффиксов: к существительным мужского рода, у которых в качестве производящей основы выступает имя существительное, как правило, присоединяется суф. *-øk-*, дериват с *-kyn(ě)* обычно вытесняется:

*cizinec* – *cizinka, cizinkyně* J; *cizinka, \*cizinkyně* PS; *cizinka* SSJČ, SSČS, Pr 93

vlastenec – *vlastenka, vlastenkyně J; vlastenka, + vlastenkyně PS, SSJČ; vlastenka SSČS*

У основ существительных мужского рода на *-ec*, восходящих к прилагательным и причастиям, попеременно побеждают то суф. *-ok-*, то *-kyn(ě)*:

vychovanec – *vychovanka, \*vychovankyně PS; vychovanec – vychovanka SSJČ*

opatrovanec – *opatrovanka, opatrovankyně J; opatrovanec – opatrovanka PS, SSJČ*

chráněnec – *chráněnka, chráněnkyně PS; chráněnec – chráněnka SSJČ, SSČS*

Впрочем, иногда в аналогичных условиях побеждает суф. *-kyn(ě)*:

přívrženec – *\*přívrženka, přívrženkyně PS; přívrženec – přívrženkyně SSJČ, SSČS, Pr 93*

vyhnaneč – *vyhnanka, vyhnankyně J; vyhnaneč – \*vyhnanka, vyhnankyně PS, SSJČ; vyhnaneč – vyhnankyně Pr 93*

zajatec – *\*zajatka, zajatkyně PS; zajatec – zajatkyně SSJČ*

Судя по всему, у существительных данного структурного типа устанавливается некое подобие подвижного равновесия обоих формантов, об этом говорят, в частности, случаи дублетности, отмечающиеся в современном чешском литературном языке. Ср.:

stoupenec – *stoupenka, stoupenkyně PS, SSJČ; stoupenec – stoupenkyně SSČS*

spojenec – *spojenkyně, spojenka PS, SSČS, Pr 93; spojenec – spojenkyně, spojenka SSJČ* řidč.

oblíbenec – *oblíbenka, oblíbenkyně PS; oblíbenec – oblíbenkyně SSČS; oblíbenec – oblíbenka i oblíbenkyně Pr 93*

cvičenec – *cvičenka SSJČ, SSČS, Pr 93* (любопытно, что в тексте небольшого по размерам спортивного обзора, опубликованного в 1958 г. в журнале "Власта", зарегистрировано как *cvičenkyně* – один раз, так и *cvičenka* – пять раз)

zemědělec – *zemědělka, zemědělkyně PS; zemědělec – zemědělka, řidč. zemědělkyně SSJČ; zemědělec – zemědělka i zemědělkyně Pr. 93*

svěřenec – *svěřenka, svěřenkyně J; svěřenec – svěřenka, zastar. svěřenkyně PS; svěřenec – svěřenka, řidč. svěřenkyně SSJČ; svěřenec – svěřenka SSČS*

Наиболее последовательно суф. *-kyn(ě)* побеждает в конкуренции с суф. *-ok(a)* у феминативов, образованных от существительных мужского рода с основой на *-ce*.

Особый интерес представляет изучение конкуренции суффиксов *-ok(a)* и *-kyn(ě)* у феминативов, образованных от существительных мужского рода со значением лица с основой на *-tel-* (девербативов). В сущности в современном литературном чешском языке этот процесс уже завершился (за исключением некоторых остаточных явлений). Весьма примечательной является эволюция словарных помет у конкурирующих лексем:

*ctitel* – *ctitelka*, *ctitelkyně* J; *ctitel* – *ctitelka*, + *ctitelkyně* PS; *ctitel* – *ctitelka*, pon. zast. *ctitelkyně* SSJČ; *ctitel* – *ctitelka* SSČŠ

*glasatel* – *glasatelka*, *glasatelskyně* J; *glasatel* – *glasatelka*, + *glasatelskyně* PS, SSJČ; *glasatel* – *glasatelka* SSČŠ

*jednatel* – *jednatelka*, *jednatelskyně* Kott; *jednatel* – *jednatelka* PS, SSJČ, SSČŠ

*kazatel* – *kazatelka*, *kazatelskyně* J, Kott; *kazatel* – *kazatelka* PS, SSJČ

*karatel* – *karatelka*, *karatelskyně* J, Kott; *karatel* – *karatelka* PS, SSJČ, SSČŠ

*obyvatel* – *obyvatelka*, *obyvatelskyně* J, Kott; *obyvatel* – *obyvatelka*, + *obyvatelskyně* PS; *obyvatel* – *obyvatelka* SSJČ, SSČŠ

*překladatel* – *překladatelka*, *překladatelskyně* J, Kott; *překladatel* – *překladatelka*, \**překladatelskyně* PS; *překladatel* – *překladatelka* SSJČ, SSČŠ

*ředitel* – *ředitelka*, *ředitelskyně* J, Kott; *ředitel* – *ředitelka*, + *ředitelskyně* PS, SSJČ; *ředitel* – *ředitelka* SSČŠ

*spisovatel* – *spisovatelka*, *spisovatelskyně* J, Kott; *spisovatel* – *spisovatelka*, + *spisovatelskyně* PS, SSJČ; *spisovatel* – *spisovatelka* SSČŠ

*učitel* – *učitelka*, *učitelkyně* J, Kott; *učitel* – *učitelka*, + *učitelkyně* PS, SSJČ; *učitel* – *učitelka* SSČŠ (примечательно, что в XIX в. еще были возможны контексты типа *najaly se služky*, *učitelkyně i učitelové*. B. Němcová. Báchorky. Позднее образования типа *učitelkyně* были полностью вытеснены из употребления).

*vychovatel* – *vychovatelka*, *vychovatelskyně* J; *vychovatel* – *vychovatelka*, + *vychovatelskyně* PS, SSJČ; *vychovatel* – *vychovatelka* SSČŠ

*vydavatel* – *vydavatelka*, *vydavatelkyně* J., Kott; *vydavatel* – *vydavatelka* PS, SSJČ

Число примеров может быть умножено.

Как мы видим, в указанной структурной ситуации суф. *-øk-* в истории чешского литературного языка оказался более конкурентоспособным, поэтому словообразовательная норма в данном фрагменте деривационной системы практически полностью стабилизировалась (к числу исключений относится, например, *přítelkyně*, в основном вытеснившее *přítelka*).

Как мы могли убедиться, конкуренция является длительным процессом, развертывающимся постепенно, так что в некоторых случаях процесс конкуренции, отчетливо наблюдаемый в XIX в., продолжается и в XX столетии.

Проведенное исследование позволяет заключить, что в чешском литературном языке феминативы, идентичные по своей семантике и стилистическому использованию, могут быть образованы посредством различных суффиксов от одних и тех же производящих основ. Из материала также следует, что наиболее продуктивные словообразовательные форманты оказываются наиболее жизнеспособными и в процессе конкуренции.

Сказанное прежде всего относится к суффиксу *-øk-*, занимающему доминирующее положение в данной словообразовательной категории. Именно этот суффикс имеет наиболее широкие деривационные связи, в репертуаре его производящих основ широко представлены заимствованные лексемы, как правило, отсутствующие у других аффиксов, а также производные слова. Широко используется он и при создании новообразований.

Интересный материал для наблюдения хода конкуренции представляют собой деминутивы, где имеются случаи конкуренции формантов как с идентичными, так и с различными комбинаторными параметрами.

Яркой иллюстрацией первого является судьба словообразовательного типа с суф. *-øc-*, полностью утратившего свою продуктивность в результате "разрушительного" воздействия деривационной схемы с суф. *-øk-*. Приведем лишь немногие из имеющихся примеров: *koráb* – *korábec* PS†, SSJČ †; *korábek* PS, SSJČ; *mlýn* – *mlýnec* PS pon. zast., SSJČ †; *zvon* – *zvonec* PS kniž., SSJČ kniž.; *zvonek* PS, SSJČ и т. д.

Избыточность наличия в инвентаре деминутивных формантов двух аффиксов с идентичными структурными параметрами обусловила возникновение между ними конкурентной борьбы, завершившейся полной победой суф. *-ok-*. Аналогичная судьба постигла и словообразовательные типы с суффиксами *-ic(e)* у деминутивов женского рода и *-ec-* у деминутивов среднего рода. И в том, в другом случае они были вытеснены словообразовательными типами с суффиксами, имеющими идентичные дистрибутивные параметры (в женском роде в качестве антипода выступил суф. *-ičok-*; в среднем роде *-ec-*).

Примером конкуренции словообразовательных типов с суффиксами, имеющими различные дистрибутивные параметры, помимо прочего, могут служить деривационные схемы с суффиксами *-ok-* и *-ik-*.

Потенциально возможной зоной пересечения структурных связей данных суффиксов являются непроизводные основы, а также основы заимствованного происхождения. У производных основ вероятность присоединения суф. *-ik-* является ничтожной.

Как было установлено, суф. *-ik-* занимает более устойчивые позиции в комбинации с короткосложными словами, предпочтительно с теми из них, которые имеют в своей контактной зоне сочетание согласных – последнее обстоятельство, кстати, делает желательным, а порой и необходимым присоединение именно суффикса с вокальным зачином, каковым и является суф. *-ik-*. Заметим также, что сочетанию с данным суффиксом короткосложных слов во многом благоприятствует характерная для этого словообразовательного типа упрощенность морфонологического аппарата (отсутствие корневых вокальных чередований, нарушающих фонемное подобие производной и производящей лексемы; ср.: *tuž* – *tužík*, *nos* – *nosík*, *groš* – *grošík*, *koš* – *košík*), что соответственно облегчает идентификацию деривата в тексте.

Приведем ниже выборочно примеры закономерно обусловленной победы суф. *-ik-* в конкуренции с суф. *-ok-* (для экономии места будут приведены лишь отсылки к современным словарям): *kmotr* – *kmotřík* PS, SSJČ; *kmotýrek* PS\*; *pult* – *pultík* PS, SSJČ (а также современные эксперции); *pultek* PS, SSJČ\*; *prst* – *prstík* PS, SSJČ; *prstek* PS\*, SSJČ\*; *student* – *studentík* PS, SSJČ; *studentek* – *studentek* PS, SSJČ řídč., pon. zast.; *terč* – *terčík* PS, SSJČ; *terček* PS řídč., SSJČ\*; *vepř* – *vepřík* PS, SSJČ; *vepřek* PS\* и др.

Сюда же примыкают лексемы, несловарные словоморфы которых содержат комбинацию согласных в контактной зоне (соответствующий дериват с *-ok-* образуется от словарной словоформы с беглым «*e*» с сопутствующим чередованием *e / ī, ē*):

*uzel* – *uzlík* PS, SSJČ; *uzílek* PS ob., SSJČ pon. zast. a obl.; *uzelek* PS dial., SSJČ nář.; *uzélek* PS dial., SSJČ nář.;

*uhel* – *uhlík* PS, SSJČ; *uhýlek* PS\*, SSJČ\*.

Суффикс *-ok-*, как правило, занимает более устойчивую позицию у производящих основ с полногласной контактной зоной: *klas* – *klásek* PS, SSJČ; *klasík* PS\*, SSJČ\*; *kočár* – *kočárek* PS, SSJČ; *kočařík* PS\*; *mravenec* – *mravenecék* PS, SSJČ; *mravenčík* PS zř., SSJČ\*; *pohár* – *pohárek* PS, SSJČ; *pohařík* PS zast., SSJČ\*; *ranec* – *raneček* PS, SSJČ; *rančík* PS\*, SSJČ\* и многие другие.

Анализируя приведенные примеры нетрудно заметить, что однокоренные дериваты с суффиксами *-ík-* и *-ok-* различаются степенью употребительности (см. соответствующие ограничительные словарные пометы), сферой функционирования – многие из производных с *-ík-* фиксируются в диалектах или же просторечье. Может отличаться и семантическая информация: так, суф. *-ík-* в определенных случаях привносит негативную окраску; ср.: *Němčík* SSJČ, zpr. hanl.; *vlastenčík* PS\* pejor. (у феминативов пейоративное значение присуще существительному *Němkyně* в отличие от *Němka*).

Таким образом, как мы могли видеть, конкуренция словообразовательных формантов является мощным фактором становления деривационной нормы литературного языка, вычленения наиболее продуктивных схем образования лексики. В результате действия “правила достаточности”<sup>22</sup>, регулирующего состав суффиксального инвентаря, прежде всего центрального ядра, словоизделие в рамках словообразовательной категории обеспечивается формантами, дистрибутивные параметры которых оптимально соответствуют типовым контактным зонам производящих лексем. В рассматриваемых нами словообразовательных категориях доминирующее положение занимают два форманта, находящиеся в отношении дополнительной дистрибуции: с вокальным и консонантным заслоном. Взятые в совокупности они обеспечивают возможные комбинаторные ситуации.

Не менее важным является и “правило избыточности”, регули-

рующее эволюцию суффиксального инвентаря. Именно это правило определяет направленность словообразовательной конкуренции. Согласно этому правилу из состава центрального суффиксального ядра вытесняются **избыточные** форманты, дублирующие словообразовательный ареал более продуктивных суффиксов (ср. "судьбу" суффиксов с консонантом «с»). В уязвимом положении находятся и суффиксы, дистрибутивные параметры которых не вполне соответствуют дистрибутивным параметрам производящих основ (см. закономерности деривационной комбинаторики и, в частности "правило притягивания противоположностей").

### **Конкуренция на уровне способов словообразования**

В ходе конкуренции могут вытесняться не только те или иные деривационные форманты, но и отдельные способы словообразования лексики. Данный феномен нами будет рассмотрен ниже на материале прилагательных со значением ослабленного признака, у которых в истории чешского литературного языка на протяжении XIX и XX вв. произошли важные изменения в использовании способов словообразования. Мы имеем в виду постепенное вытеснение префиксального способа образования префиксально-суффиксальным. Так, в словарях XIX в. в состав одной и той же словарной статьи включаются как префиксальные, так и префиксально-суффиксальные дериваты; ср.: *přístaralý*, *přístarý* J, Kott; *přihluchlý*, *přihluchý* J, Kott; *náměkký*, *naměklý* J; *násedivý*, *našedivělý* J, Kott и пр. (в русском языке им соответствуют семантические эквиваленты 'слегка глухой, глуховатый' и пр.). В исключительных случаях подобные факты, хотя и с ограничительными пометами, особенно для префиксальных дериватов, могли отмечаться современными словарями: \**nateplý*, \**nateplalý* PS, SSJČ; \**našíktmý*, *našík-mělý* PS, SSJČ. Заметим, что в старых словарях префиксальные дериваты нередко использовались в качестве семантических эквивалентов для соответствующих одноосновных префиксально-суффиксальных образований: *nahnědlý* 'náhnědý' J; *načervenalý* 'náčer-vený' J; *načernalý* 'náčerný' J; *nahnědlý* 'náhnědý', *trochu hnědý* J. Последнее полностью подтверждает их семантическую и стилистическую адекватность.

Конкуренция префиксально-суффиксальных и префиксальных дериватов в истории чешского литературного языка завершилась угасанием словообразовательной активности чисто префиксального

способа словоизделия. Так, к середине XIX в. деривационные возможности префиксов в этой словообразовательной категории оказались полностью исчерпанными, наметилось существенное сужение сферы употребления ранее образованных дериватов, которые стали принадлежностью книжной, в достаточной степени архаизированной речи – неслучайно они были нами зафиксированы исключительно в авторской речи и практически не встретились в речи литературных персонажей.

Анализ словаря Й. Юнгмана позволяет заключить, что в период чешского Возрождения префиксально-суффиксальный способ образования прилагательных со значением ослабленного признака переживал пору своего становления. Примечательно, что грамматики конца XVIII – первой половины XIX в., как правило, не обособляют префиксально-суффиксальное словоизделие как самостоятельный способ словоизделия. Сказанное подтверждают и такие факты, как: а) численность дериватов: префиксальных – 230, префиксально-суффиксальных – 120; б) характер отсылочного аппарата и иллюстративного материала. В то время, как префиксальные дериваты нередко сопровождаются отсылками к словарям XVI–XVII вв., иллюстрируются примерами, относящимися к тому же самому периоду, у префиксально-суффиксальных образований подобные отсылки и примеры встречаются лишь в исключительных случаях – как правило, они иллюстрируются примерами из современной Й. Юнгману литературы, зачастую специального характера. Важно отметить, что многие префиксально-суффиксальные образования сопровождаются пометой *Us.*, т. е. являются узульными. Современные словари приводят около 35 префиксальных дериватов и более 260 префиксально-суффиксальных. Заметим, что те немногочисленные префиксальные образования, которые приведены в Настольном словаре чешского языка (PS) (\**nábělavý* ‘trochu bělavý’; †*náčerný* ‘načernalý, černavý’; †*náčervený* ‘načervenalý’ и др.), как правило снабжены ограничительными пометами<sup>23</sup>.

В русском литературном языке использование префиксации для образования прилагательных со значением ослабленной степени признака (ср.: *примрачный*, *прикосый*, *приярый* и пр.) также полностью себя изжило к середине XIX в.<sup>24</sup>.

Таким образом, есть все основания утверждать, что в современном чешском литературном языке в результате прошедшей

конкуренции образование прилагательных со значением ослабленного признака осуществляется посредством префиксально-суффиксального словообразования. Следствием этого явилось утверждение последнего как наиболее продуктивного способа словаобразования указанных прилагательных. Что касается суффиксального словоизводства, то оно представлено единственным продуктивным словообразовательным типом с суф. *-av-*, имеющим четкую структурную и семантическую специализацию: почти исключительно цветовые обозначения: *bělavý*, *červenavý* и пр.

Чрезвычайно интересные результаты дает сопоставительное изучение славянских языков. Так, в восточнославянских языках репертуар словообразовательных средств, используемых для словоизводства интересующих нас прилагательных, достаточно ограничен: здесь не используются ни префиксальные, ни префиксально-суффиксальные морфемы. Продуктивным является лишь суффиксальная деривация: в русском – прежде всего *-оват-* / *-еват-* (*красноватый*, *синеватый*); в русском, украинском и белорусском – суф. *-ав-* / *-яв-*: *мложавый*, *чернявый* (руск.); *блядnavы*, *гаркавы* (белорус.); *білявий*, *чорнявий* (укр.).

В польском языке наибольшей продуктивностью отличается суффиксальное словоизводство (доминирует суф. *-aw-*): *białawy*, *bladawy*, *błekitnawy*. В противоположность восточнославянским языкам в польском используется и префиксальное словоизводство (ср.: *przygąupi*, *przysłony*, *przytwardy* и пр.), однако, на наш взгляд, здесь все же имеются приметы постепенного уменьшения продуктивности данного способа словаобразования, поскольку у ряда префиксальных производных представлено и значение интенсификации признака, т. е. снижается семантическая рельефность соответствующих лексем с *przy-*.

В южнославянских языках прилагательные со значением ослабленного признака образуются главным образом посредством префиксального и суффиксального способов словаобразования; ср. (болг.) *-кав-* (*синкав*, *зеленикав*, *червеникав* и пр.); продуктивным является и суф. *-оват-* / *-еват-*: *слабоват*, *глуповат*, *синеват* (суф. *-ав-* непродуктивен). Довольно широко используется префикс *въз-*: *възжълт*, *въззелен* и т. д. В сербском языке также преимущественно используются суффиксальный и префиксальный способы словаобразования: суф. *-каст-*, *-икаст-*, *-ичаст-* (*мđдрикаст*, *плавѣтник*).

*наст*, *бèличаст* и т. д.), суф. *-а॒в-* здесь непродуктивен. Активно используются и префиксы *на-*, *о-*, *по-*, *при-* (*нáглух*, *нáжут*, *ократак*, *подобар* и под.).

Следует отметить, что использование префиксально-суффиксального словаобразования данных прилагательных характерно лишь для чешского языка.

В заключение мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что изучение конкуренции открывает большие возможности для выявления динамики нормы литературного языка.

## ИСТОЧНИКИ МАТЕРИАЛА И ИХ СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

А – Лексикографический архив Института чешского языка Чешской академии наук.

Ak. sl. – *Petráčková V., J. Kraus a kol.* Akademický slovník cizích slov. I–II. Academia. Praha, 1995.

FS – *Jelínek J., Bečka J.V., Těšitelová M.* Frekvence slov, slovních druhů a tvarů v českém jazyce. Státní pedagogické nakladatelství. Praha, 1961.

J – *Jungmann J.* Slovník česko-německý. D. 1–5. Praha, 1835–1839.

Kott – *Kott Fr.* Česko-německý slovník, zvláště grammaticko-frazeologický. D. 1–7. Praha, 1878–1893.

Pr. 57 – Pravidla českého pravopisu: Ústav pro jazyk český. ČSAV. Praha, 1957.

Pr. 93. – Pravidla českého pravopisu: Školní vydání. Ústav pro jazyk český. AVČR. Pansofia. Praha, 1993.

PS – Příruční slovník jazyka českého. D. I–IX. Praha, 1937–1957.

SSČS – Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia. Praha, 1978.

SSJČ – Slovník spisovného jazyka českého. D. I–IV. Praha, 1960–1971.

Тур. сл. – *Крывіцкі А. А., Цыхун Г. А., Яскін І. Я.* Тураўскі слоўнік. Т. 1–5. Мінск, 1982–1987.

<sup>1</sup> Ср., в частности: Нещименко Г. П. Словообразование существительных женского рода со значением лица в современном чешском языке // Ученые записки Института славяноведения АН СССР, т. XIX, 1960; Она же. Ответ на вопрос V съезда славистов – «О словообразовательной конкуренции» // Славянска филология. София 1963; Она же. История именного словообразования в чешском литературном языке конца XVIII–XX вв. (Прилагательное). М., 1968; Она же. Очерк деминутивной деривационной системы в истории чешского литературного языка (конец XIII – середина XX вв.). Academia, Прага, 1980; Нещименко Г. П., Гайдукова Ю. Ю. К проблеме сопоставительного изучения славянского именного словообразования //

Теоретические и методологические проблемы сопоставительного изучения славянских языков. М., 1994 и т. д.

<sup>2</sup> Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1961, с. 198.

<sup>3</sup> По поводу деривационных цепочек см.: Нещименко Г. П. Деминутивные деривационные цепочки и их преобразование в чешском литературном языке // "Вопросы языкознания", 1970, № 6.

<sup>4</sup> См. Нещименко Г. П. Словообразовательная вариантность в контексте проблемы "центр – периферия" деривационной системы // Turu opisów gramatycznych języka // Materiały polsko-czeskiej sesji naukowej. Jabłonna 16–17 XI. 1986.

<sup>5</sup> Крысин Л. П. Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка. Наука. М., 1989, с. 92.

<sup>6</sup> Trnka B. Méthode de Comparaison Analytique et Grammaire Comparée Historique // A Prague School Reader in Linguistics (compiled by Josef Vachek), Bloomington, 1964, с. 71.

<sup>7</sup> Buttlerová D. Některé problémy polské normativní politiky // Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti. Academia. Praha, 1979, s. 37–38.

<sup>8</sup> Barnet Vl. Synchronní dynamika spisovného jazyka // Jazykovedný časopis, 1981, г.32, с. 123.

<sup>9</sup> Jungmann J. Slovník česko-německý. D.1–5. Praha, 1835–1839.

<sup>10</sup> См. подробнее: Нещименко Г. П. История именного словообразования в чешском литературном языке конца XVIII–XX вв. (Прилагательное). М., 1968; Она же. О некоторых особенностях словообразования экспрессивной лексики в чешском литературном языке // Доклады сов. делегации на VII съезде славистов в Варшаве. Наука, М., 1973; Она же. Очерк деминутивной деривационной системы в истории чешского литературного языка (конец XIII–середина XX вв.). Academia, Прага, 1980.

<sup>11</sup> Ср.: Нещименко Г. П. Словообразование существительных женского рода со значением лица в современном чешском языке // Ученые записки Института славяноведения АН СССР, т. XIX, 1960; см. также: Dokulil M. Tvoření slov v češtině. D. 1. Teorie odvozování slov. Academia. Praha, 1962.

<sup>12</sup> См. по этому поводу, в частности, Нещименко Г. П. О некоторых аспектах сопоставительного изучения славянского словообразования // Сопоставительное изучение русского языка с чешским и другими славянскими языками. Москва, 1983.

<sup>13</sup> Более подробно см.: Нещименко Г. П. Очерк деминутивной деривационной системы в истории чешского литературного языка (конец XIII–середина XX вв.). Academia, Прага, 1980.

<sup>14</sup> Ср., например, Нещименко Г. П. О регуляторах комбинаторики

деривационных морфем (на материале чешского литературного языка) // Славянское и балканское языкознание: Проблемы морфологии современных славянских и балканских языков. Наука. М., 1976; *Она же*. Очерк деминутивной деривационной системы в истории чешского литературного языка (конец XIII—середина XX вв.). Academia, Прага, 1980 и т.д.

<sup>15</sup> См.: Нещименко Г. П., Гайдукова Ю. Ю. К проблеме сопоставительного изучения славянского именного словообразования...

<sup>16</sup> См.: Нещименко Г. П. Очерк деминутивной деривационной системы в истории чешского литературного языка (конец XIII—середина XX вв.). Academia, Прага, 1980; *Она же*. О некоторых аспектах применения графико-статистических методов в деривационном исследовании // Омосемия и омография в естественных и машинных языках. Владивосток, 1986.

<sup>17</sup> См.: Нещименко Г. П. О некоторых аспектах сопоставительного изучения славянского словообразования // Сопоставительное изучение русского языка с чешским и другими славянскими языками. М., 1983; Нещименко Г. П., Гайдукова Ю. Ю. К проблеме сопоставительного изучения славянского именного словообразования...

<sup>18</sup> См.: Нещименко Г. П. Очерк деминутивной деривационной системы в истории чешского литературного языка (конец XIII—середина XX вв.). Academia, Прага, 1980; Нещименко Г. П., Гайдукова Ю. Ю. К проблеме сопоставительного изучения славянского именного словообразования...

<sup>19</sup> Подробнее см.: Нещименко Г. П. Очерк деминутивной деривационной системы в истории чешского литературного языка (конец XIII—середина XX вв.). Academia, Прага, 1980.

<sup>20</sup> Нещименко Г. П. Словообразование существительных женского рода со значением лица в современном чешском языке // Ученые записки Института славяноведения АН СССР. Т. XIX, 1960.

<sup>21</sup> Нещименко Г. П. Очерк деминутивной деривационной системы в истории чешского литературного языка (конец XIII—середина XX вв.). Academia, Прага, 1980.

<sup>22</sup> См. там же.

<sup>23</sup> См. подробнее: Нещименко Г. П. История именного словообразования в чешском литературном языке конца XIII—XX вв. (Прилагательное). М., 1968.

<sup>24</sup> Земская Е. А. История прилагательных, обозначающих степень признака в русском литературном языке нового времени // Образование новой стилистики русского языка в пушкинскую эпоху. М., 1964.

## *Глава 8*

### **О ДИНАМИКЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ НОРМЫ В ЧЕШСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ XIV–XX ВВ. (на материале лексико-семантической категории лица)**

“...структурная история языка, представленная историческим следованием его структурных состояний, оказывается единственным документом, которым мы располагаем для изучения потенциальной истории человеческого мышления, единственным документом этой ненаписанной истории”.

*Гюстав Гийом “Принципы теоретической лингвистики”*

Изменения в лексической системе литературного языка, проходящие на протяжении всей истории его развития, могут иметь различные аспекты рассмотрения. Прежде всего, их можно рассматривать с точки зрения обусловленности собственно лексическими процессами – перераспределением мотивационных, семантических, стилистических и др. связей слов, уже представленных в лексической системе. Сюда можно отнести, например, распад семантической системы многозначного слова на омонимы; объединение омонимов в единую семантическую структуру многозначного слова; объединение семантически близких слов в одно с одновременной утратой формальных различий между ними (т. е. объединение семантических структур паронимов в единую семантическую структуру); семантическую и формальную адаптацию заимствованных слов; изменение лексического значения слова в связи с утратой исходного мотивирующего слова и установлением новых мотивационных отношений с близким по звучанию, но отличным по значению словом; изменение экспрессивно-стилистического функционирования слова и мн. др. Можно проследить и взаимосвязь изменений, происходящих

в лексической системе языка в связи с эволюцией других уровней языковой системы – фонетического, морфологического, словообразовательного. Можно, кроме того, рассмотреть и внеязыковые факторы, определяющие сдвиг в лексической системе – психические факторы, связанные с развитием мышления (изменение и развитие новых связей между словами на основе ассоциаций; образование новых абстрактных значений слов на основе генерализации и метафоризации, а также обратный процесс образования конкретных значений при помощи специализации и деметафоризации слов абстрактной семантики и т. д.); культурно-исторические, обусловливающие изменения в лексическом составе языка в связи с возникновением новых и исчезновением старых культурно-исторических реалий; изменения, вызванные уточнением представлений об уже известных явлениях или изменением в их оценке. Названные подходы изучения сути и причин изменений в лексической системе чешского языка реализованы в монографии Игоря Немца “Эволюционные процессы в словарном составе чешского языка”, написанной на основе глубокого изучения древнечешского и современного чешского лексического материала<sup>1</sup>.

Можно предложить и иной аспект изучения эволюционных процессов, происходящих в лексической системе языка, – с точки зрения структурно-семантических изменений, происходящих в лексико-семантических категориях языковой системы в процессе ее исторического развития.

Такой подход через семантический анализ лексем и структуры лексико-семантической категории, отражающих опыт нации и актуальные реалии ее жизни на определенных этапах истории, позволяет увидеть и понять не только как и в каком направлении развивался словарь литературного языка данной нации, какие изменения происходили в его лексической норме, но через призму языковых процессов, представляющих собой не материальную, не предметную, а духовную и ментальную сторону национальной культуры, проследить изменения внутренней бессознательной<sup>2</sup> жизни нации, связанные с постижением меняющегося окружающего мира и изменением самосознания.

В предлагаемой статье изменения лексической нормы чешского литературного языка XIV–XX вв.<sup>3</sup> будут рассмотрены на материале имен существительных со значением “лица”, полученном в результате сплошной выборки букв А, В, С, Č из “Древнечешского

словаря” Я. Гебауэра<sup>4</sup>, “Малого чешского словаря” Я. Белича, А. Калиша, К. Кучеры<sup>5</sup>, “Чешско-немецкого словаря” Й. Юнгмана<sup>6</sup>, “Словаря литературного чешского языка”<sup>7</sup>.

Исторические словари фиксируют лексику памятников чешской письменности XIV–XVI вв., многие из которых являлись образцово-выми произведениями в плане литературной нормы чешского литературного языка, сложившегося к началу XIV в и достигшего своего расцвета в XVI в. Этот язык, как отмечают исследователи, отличался стабильностью грамматической структуры, богатством выразительных средств, стилистической дифференцированностью и жанровым своеобразием написанной на нем литературы<sup>8</sup>. К сожалению, названные словари не в полном объеме представляют лексический фонд древнечешского языка. О заданности ограничений в предоставлении материала в “Малом древнечешском словаре”<sup>9</sup> свидетельствует само название словаря. В словаре Я. Гебауэра учитывалась по преимуществу лексика художественной литературы в ущерб литературе специального (правовой, медицинской и т. д.) и делового (официальные бумаги, документы) характера. Не всегда последовательным, по свидетельству З. Тыла, является и хронологический отбор памятников, равномерность представления в словаре отдельных временных этапов указанного исторического периода<sup>10</sup>. В словаре учтены все известные Я. Гебауэру памятники до первой половины XIV в., почти все памятники конца XIV в. и все наиболее важные источники XV в., а также начала XVI в.<sup>11</sup>. Впоследствии ученики Я. Гебауэра продолжили работу над словарем, расширили временные границы используемой литературы, и в издании словаря 1970 г. уже учтена лексика важнейших памятников XVI в. – *Bible bratrská* (Kralická) šestidílná (1579–1593), *Veleslavínův Kalendář historický* (1578).

Словарь Й. Юнгмана отражает иной этап истории чешского языка – воссоздание литературного языка (после прерванной почти на двести лет языковой традиции) на основе высокоразвитого, нормализованного языка второй половины XVI – начала XVII вв., а также создание и внедрение в языковую практику новых слов, отвечающих коммуникативным потребностям чешского общества конца XVIII – начала XIX вв.<sup>12</sup>.

Во введении Й. Юнгманн так определил содержательную сторону и адресата своего словаря: “Ни времени, ни места, ни затрат не

жалели, но собрали и издали подряд весь словарный состав, все слова без различия на старые и новые, почерпнутые из книг или из речи, для того, чтобы объединить, насколько это возможно, все богатство языка; особенно примеры из хороших сочинений, чтобы очевидной стала сочетаемость слов (или синтаксис языка), для того, чтобы всесторонне помочь исследователям языка, проповедникам и всем тем, кто хочет по-чешски писать или читать старые и новые сочинения и нуждается для этого в совете"<sup>13</sup>. Это одновременно и исторический словарь (так как он опирается на лексику древнечешских памятников), и словарь неологизмов, включающий, с одной стороны, новые заимствования из других славянских языков (словацкого, польского, русского, сербохорватского), а также новые слова, созданные на базе чешского языка по законам чешского словообразования.

Словарь, таким образом, не является адекватным отражением языкового узуса, а служит инструментом проведения языковой политики, кодификацией той нормы чешского литературного языка, которая соответствовала представлениям о ней деятелей чешской науки и культуры эпохи возрождения – Й. Добровского (в области грамматики и словообразования), Й. Юнгмана, Фр. Палацкого, П. Й. Шафарика, А. Марека и др. Несмотря на это, “Чешско-немецкий словарь” Й. Юнгмана остается значительным документом чешского языка эпохи возрождения, трудом, заложившим лексическую основу нового литературного языка, важнейшим этапом его кодификации<sup>14</sup>.

“Словарь литературного чешского языка” отражает современный период развития языка и современный уровень развития лексикографической практики. Он представляет словарный состав, относящийся к литературной норме чешского языка с учетом его синхронной динамики. В словаре представлены стилистические варианты, функционирующие в различных коммуникативных сферах литературного языка: бытового, делового и официального общения, в художественной, публицистической и специальной литературе. Вместе с тем словарь не ограничивается только литературной нормой, включает слова устаревшие, диалектные, нелитературные, сленг и арго. Учет этой лексики особенно важен в настоящее время, которое характеризуется расширением слоя участников общественной коммуникации, комбинирующих в своих высказываниях литературные и нелитературные элементы. В составе набора литературных

средств возрастает вариативность, связанная со стиранием различий между литературными и нелитературными языковыми средствами, с расширением списка ситуаций (прежде всего в устном общении), допускающих неофициальную коммуникацию<sup>15</sup>, с изменением статуса отдельных языковых средств. Принимая во внимание данное обстоятельство, будем учитывать не только литературную, но и нелитературную лексику, представленную в словаре.

Использование в качестве материала при анализе динамики лексической нормы языка столь разнородных источников, в каждом из которых представлена не тождественная другим концепция языковой нормы (обусловленная историко-культурными условиями формирования чешского литературного языка, задачами, которые ставили перед собой составители словарей, и уровнем развития языковой теории), вызывает закономерный вопрос о рабочем определении понятия лексической нормы и ее динамики в истории развития чешского литературного языка, используемого в настоящей статье.

Согласно определению, сформулированному в "Лингвистическом энциклопедическом словаре", языковая норма – "совокупность наиболее устойчивых традиционных реализаций языковой системы, отобранных и закрепленных в процессе общественной коммуникации"<sup>16</sup>. Следовательно, лексической нормой можно считать совокупность наиболее устойчивых реализаций лексико-семантической системы языка, отобранных и закрепленных в процессе языковой коммуникации. "Устойчивые реализации" лексико-семантической системы языка могут быть выделены среди различных элементов данной системы – лексических вариантов и синонимов, исконной и заимствованной лексики, стилистически маркированной и нейтральной лексики и т. д. Со стилистической лексической нормой тесно связывает, в частности, А. Едличка, а "развитие нормы на лексико-семантическом уровне" определяет "степенью расхождения стилистических сфер литературного языка и их потребностями"<sup>17</sup>.

Выделение в понятии лексической нормы таких компонентов, как стилистическая характеристика лексики, отбор и закрепление элементов лексической нормы в процессе общественной коммуникации, справедливо для синхронного изучения нормы в развитых современных литературных языках. Эти языки не имеют искусственных ограничений в своем функционировании, их языковая норма непрерывно развивается в процессе коммуникации всех членов

данной языковой общности. Однако история развития славянских литературных языков знает и иные периоды, когда после насилия ограничения общественных функций национальных языков, восстановление их коммуникативных и функциональных возможностей, а также становление литературных норм происходило только благодаря целенаправленной языковой политике деятелей науки и культуры. Поэтому, если мы хотим проследить динамику литературной нормы конкретного языка в диахроническом плане, мы должны учитывать особенности ее становления и функционирования в связи с культурно-историческими условиями развития данной нации и включать в понятие языковой нормы не только те явления, которые были отобраны и закреплены в процессе языковой коммуникации, но и те, которые были введены или вводились в языковую практику нормализаторскими усилиями языковых школ и их отдельных представителей.

Учитывая специфику становления чешского литературного языка и его лексической нормы в возрождёнческий период (прерванность языковой традиции и воссоздание ее на базе исторических памятников письменности, а также создания большого количества новых слов посредством заимствования или словообразования), использование приведенных выше источников – словарей, кодифицирующих литературную норму чешского языка на различных этапах его исторического развития, – представляется нам оправданным.

Объектом изучения диахронической динамики лексической нормы чешского языка в настоящей статье избрано структурно-семантическое устройство лексико-семантической категории лица в процессе ее изменений в истории развития языка. Использование словарных источников не позволяет учитывать в нашем исследовании динамики стилистической нормы чешского литературного языка указанного периода. В исторических словарях и в словаре Й. Юнгмана в отличие от словаря современного литературного языка норма устной речи не зафиксирована, и мы не имеем основания для сравнений. Конечно, учет реального словоупотребления данных лексем в речевой практике мог бы внести корректиды в общую структурно-семантическую картину, полученную в результате исследования словарных материалов. Однако, как нам представляется, эти корректиды будут иметь частный и вторичный характер по отношению к базовым структурным компонентам классификации, полученной на основе изучения словарей.

Итак, лексико-семантическая категория лица рассматривается нами на основе анализа имен существительных со значением "лица" в трех временных плоскостях: чешский литературный язык древнего периода (XIV–XVI вв.), эпохи национального возрождения (начало XIX в.) и современного периода (середина XX в.). В процессе работы при изучении лексических систем каждого из названных исторических периодов выстраивалась самостоятельная семантическая классификация. На первом уровне анализа были разделены слова, характеризующие человека как индивидуальность, и слова, отражающие положение человека в обществе. В данной статье будет рассмотрен первый из названных фрагментов лексико-семантической категории, а именно разряд "Человек как индивидуальность".

В силу того, что во взаимоотношения внутри данного разряда вступают не слова целиком, а слова в своих отдельных лексических значениях, многие из рассмотренных многозначных слов со значением "лица" вошли в оба названных разряда – "Человек как индивидуальность" и "Положение человека в обществе". Внутри каждого из них различные лексико-семантические варианты многозначного слова могут встречаться в различных рубриках семантической классификации.

В количественном отношении однозначные слова и лексико-семантические варианты многозначных слов, сформировавшие разряд "Человек как индивидуальность" составили: для древнечешского периода (далее ДЧП) – корпус из 53 единиц; для возрожденческого периода (далее ЭВ) – корпус из 264 единиц; для современного периода (далее СП) – корпус из 316 единиц.

В процессе разбиения единого массива слов (в рамках каждого из указанных временных периодов) было выделено 9 лексико-семантических классов, общих для всех временных пластов лексики. Они включают характеристику человека: 1) по возрасту; 2) по особенностям речи; 3) по внешнему облику; 4) по состоянию здоровья; 5) по физическим возможностям и состоянию человека; 6) по интеллекту; 7) по темпераменту; 8) по чертам характера; 9) по поведению.

На основе лексики одного или двух рассматриваемых временных периодов было также выделено 4 лексико-семантических класса. Человек в них характеризуется с точки зрения: 1) календарного времени рождения; 2) половой принадлежности; 3) потребностей, пристрастий или их отсутствия; 4) общей оценки личности другими людьми.

Семантическая структура каждого из названных классов не элементарна. Она включает в себя определенное количество переменных – лексико-семантических групп, число и лексическое наполнение которых варьируется в зависимости от хронологического среза рассматриваемой лексики. В той части работы, которая касалась номинации выделенных лексико-семантических классов и групп, мы опирались на опыт (и в определенной степени использовали его) идеографической классификации словаря русского литературного языка, представленной в комплексном учебном словаре под редакцией В. В. Морковкина<sup>18</sup>.

Основу классифицируемого материала составляют имена существительные, называющие лицо мужского пола. Определенная их часть мотивирует соответствующие субстантивы со значением лица женского пола, которые в классификации специально не выделяются и не рассматриваются. Имена существительные, называющие женщин (и не имеющие соотносительных кореллятов существительных со значением мужского лица), а также наименования детей рассматриваются отдельно и имеют самостоятельную семантическую классификацию.

Рассмотрим частные реализации фрагмента лексико-семантической категории лица – “Человек как индивидуальность” – на разных исторических этапах развития чешского литературного языка и его лексической нормы.

- 1) Календарное время рождения человека: ДЧП: нет; ЭВ: нет; СП: *březňák* ‘существо, рожденное в марте (чаще о человеке или о зайце)’.
- 2) Половая принадлежность: ДЧП: *cukéř* ‘гермафропит’, ЭВ: *bába* ‘женщина’, *bělohlava* ‘женщина’, СП: *babec* ‘женщина’, *brach* ‘мужчина’, *člověk* ‘2. мужчина’<sup>21</sup>.
- 3) Возраст: а) детский возраст: ДЧП: *čad*, *čáda* ‘мальчик, подросток, юноша’, *čada*, *čáda* ‘девочка или девушка’; ЭВ: *bosý* ‘о детях, которые как правило ходят босиком’, *bžútě* ‘маленький ребенок’, *cicák* ‘маленький ребенок, младенец’, *babenec* ‘мальчик’, *čád* ‘ребенок, сын, дочь’, *čáda* ‘ребенок’; СП: *babátko* ‘ребенок’, *batole* ‘маленький ребенок, начинающий ходить’, *bobek* ‘маленький ребенок’, *bosý* (как правило, во мн.ч. *bosi*) ‘ребенок (дети)’, *boubelátko* ‘младенец’, *brouk* ‘3. ребенок’, *brouček* ‘2. маленький

ребенок, младенец', *capart* 'маленький ребенок', *capartě* 'маленький ребенок', *cicák* 'младенец', *červík* '2. маленький ребенок', *červíček* '2. маленький ребенок';

б) подростковый, юношеский возраст: ДЧП: *čad*, *čád* 'подросток, юноша', *čada*, *čáda* 'девушка', ЭВ: *bábě* 'девушка, девчушка', СП: *bakfiš* 'девушка, девочка-подросток';

в) средний (зрелый) возраст: ДЧП: нет; ЭВ: нет; СП: *baba*, *bába* '4. зрелая женщина', *čtyřicátník* 'сорокалетний человек';

г) пожилой возраст: ДЧП: нет; ЭВ: *bába* 'старуха', *babaus*, 'старушка', *babičkář* 'бабушка, старая женщина', *čáda* 'впавший в детство пожилой человек'; СП: *bába* 'старуха', *babčenka* 'старая женщина', *babec* 'старуха, старая карга', *babička* 'старушка', *babisko*, *babiště* 'старуха'.

4) Тембр голоса, особенности речи: ДЧП: *bebtauec* 'заика, бормотун', *brebtauec* 'тараторка, трещетка', *búkal* 'тот, кто мычит, рычит, бурчит в речи'; ЭВ: *brepta*, *breptac*, *breptawec*, *breptaun*, *breptal*, *breptoň* 'человек, говорящий быстро и нечленораздельно', *cupla* 'тот, у которого язык заплетается', *blbotač* 'бормотун, заика', *bebtauec* 'заика', *bouřil* 'крикун', *buchač* 'крикун'; СП: *basista* 'мужчина с глубоким, низким голосом', *brbla* 'нечленораздельно, бессмысленно говорящий человек', *rebentil* 'тараторка', *brepta*, *rebta*, *breptal*, *rebtal* 'тот, кто тараторит, лопочет, много и бессмысленно говорит', *broučoun* 'тот, кто издает ворчливые звуки', *baſal* 'тот, кто говорит зло, нервно, тявкает'.

5) Внешность: а) рост: ДЧП: нет; ЭВ: *cwrk* 'человек низкого роста', *čahán*, *čahaun* 'верзила, каланча', СП: *bobek* '3. мелкий человек'; *cvok* 'человек маленького роста', *čahoun* 'верзила';

б) комплекция: ДЧП: *břucháč*, *břuchal* 'брюхач'; ЭВ: *báchač* 'толстяк', *břichál*, *břichoň* 'толстопузый человек', *bachoráč*, *bachráč* 'пузатый человек', *bachoř* 'толстяк', *bicek*, *bucljk* 'пухлый, толстый человек', *bicko* 'толстый, тучный, пухлый человек', *bžoch* 'чрезвычайно толстый человек', *cifrowanec*, *cifřičkář* 'стройный человек', *čamrdák* 'человек, имеющий тело округлых форм', СП: *baculáč* 'толстяк', *bagoun* 'толстяк, обрюзгший человек', *bachoráč* 'толстяк', *bachor* 'толстяк, пузан, брюхач', *bachráč* 'толстяк, брюхач', *bachrategc* 'толстый, пузатый человек', *bakhus* '2. толстяк', *bakula*, *bakule* '3. обрюзгший, толстый человек', *boubeláček* 'человек (особенно ребенок) округлых форм', *břicháč* 'толстяк, пузан',

*břichatec* 'брюхач, толстяк', *bubřina* (м. и ж.р.) 'толстяк, брюхач', *busek* 'толстый, пухлый человек', *cvalík* 'толстяк';

в) цвет кожи, волос, глаз и т. д.: ДЧП: *bronec* 'блондин, альбинос'; ЭВ: *bělák* 'альбинос', *běloch* 'альбинос', *blafard* 'негральбинос', *belauš* 'тот, который является белым', *bělohlávek* 'белоголовый человек', *černauš* 'черный, темный человек', *bělogrub* 'белозубый человек', *černowáus* 'чернобородый человек', СП: *bělohlávek*, *bělohlávec* 'блондин', *bělovous* 'мужчина с белой бородой и усами', *bledáček*, *bled'áček* 'бледный человек', *bled'och* 'бледный человек', *bledule* 'бледный человек', *blond'ák* 'блондин', *blondýn* 'светловолосый, блондин', *brunet* 'брюнет', *černohlávek* 'черноволосый человек', *černovlásek* 'брюнет', *černovousáč* 'человек с черной бородой и усами', *černoušík* 'черноволосый человек';

г) наличие/отсутствие волос, а также органов и частей тела: ДЧП: *bezhlav* 'безголовый человек', *bezhlauec* 'безголовый человек', *beznoha* 'безногий человек', *bezručec* 'безрукий человек', *bezručka* 'безрукий человек', *bezrubesec* 'беззубый человек', ЭВ: *balausáč* 'тот, кто носит бакенбарды', *bezbradec* 'безбородый человек', *bezhlawec* 'безголовый человек', *bezgöcsec* 'безглазый человек', *bezručec*, *bezručka*, *bezručka* 'тот, кто родился без рук или лишился рук позднее'; СП: *bezhlauec* 'существо без головы', *bezručka* (м. и ж.р.) 'безрукий человек', *bezrubesec* 'беззубый человек', *bradač* 'бородач';

д) гипертрофия/недостаточное развитие органов и частей тела: ДЧП: *čaroposec* 'тот, у кого нос, как у аиста', *čtyřočec* 'четырехглазый', *braduš* 'длиннобородый', *bradáč* 'тот, кто носит длинную бороду', *bradal* 'тот, кто носит длинную бороду'; ЭВ: *bradáč*, *bradál* 'тот, у кого развитый подбородок', *bradáč*, *bradál* 'тот, кто носит длинную бороду, усы', *čár* 'длинноногий человек'; СП: *brachykefal* 'брахицефал';

е) характеристика внешности по наличию/отсутствию одежды: ДЧП: *bosák* 'тот, кто ходит босиком'; ЭВ: *bezkalhotka* 'тот, кто ходит без брюк', *bosochod* 'тот, кто ходит босиком', *botař* 'тот, кто ходит в сапогах', *cund'ák* 'мужчина в волочащемся по земле платье', *cundra* 'человек в грязной одежде, рувище', *černec* 'тот, кто носит черную одежду'; СП: *bosák* 'тот, кто ходит босиком';

ж) эстетическая оценка внешности: ДЧП: нет; ЭВ: *cumploch*, *šumploch* 'лохматый, грязный человек, особенно женщина', *cunda*, *cundra* 'грязнуля'; СП: *cumploch* 'неряшливый, грязный человек'.

7) Здоровье, заболевания, личная гигиена: ДЧП: *běsovník*, *běsník* 'одержимый дьяволом', *berzdětek* 'бесплодный, стерильный мужчина', *blíkavec* 'тот, у кого плохое зрение'; ЭВ: *belhač* 'хромой', *běsník* 'бесноватый', *berzdětek*, *berdjtek* 'бесплодный, стерильный мужчина', *blazen*, *blázň* 'сумасшедший', *blaznivec* 'сумасшедший', *blecháč* 'тот, у кого завелись блохи', *blechanda* 'тот, у кого много блох', *breyl* 'очкиарик', *breylač* 'косой'; СП: *afatik* 'афатик', *agravant* 'симулянт', *aoplektik* 'больной апоплексией', *astenik* 'астеник', *astigmatik* 'человек, больной астигматизмом', *astmatik* 'астматик', *barvoslepec* ' дальтоник', *bacilonosič*, *bacilonoš* 'бациллоноситель', *blázen* 'сумасшедший', *blaznivec* 'сумасшедший', *lbl*, *lblbec* 'идиот', *blecháč* 'тот, у кого много блох', *brelač* 'очкиарик', *brejlatec*, *brýlatec* 'очкиарик', *brejlovec* '2. очкиарик', *bronchitik* 'больной бронхитом', *cukrář* 'диабетик', *cukrovkář* 'диабетик', *cuok* '2. псих, ненормальный, помешанный'.

8) Физические возможности и состояние человека: ДЧП: нет; ЭВ: *cerak* 'сильный парень'; СП: *atlet* 'силач', *berserk*, *berserkr* 'силач', *červík* 'слабое существо'.

9) Потребности, пристрастия или их отсутствие: ДЧП: *břichoplče* 'обжора'; ЭВ: *babař* 'тот, кто любит сладкие пирожки', *bachornjk* 'слуга желудка', *bandorák* 'тот, кто любит картофель', *běhaun* 'бабник', *beranogedec*, *beranogjdce* 'тот, кто любит баранину', *berednjk* 'ненасытный обжора', *bibál* 'пьяница', *bibát* 'пьяница', *břichopas* 'обжора', *břichopluc* 'пьяница', *brichosluha*, *brichoslužebnjk* 'обжора', *buchtář* 'тот, кто любит сладкие пирожки', *čtuchař* 'бабник, юбочник', *čtverák* 'тот, кто пьет четыре напитка: вино, пиво, воду и водку'; СП: *abstinentm* 'абстинент', *alkoholik* 'алкоголик', *asketa* 'аскет', *beduín* 'человек с незначительными жизненными потребностями', *břichopas*, *břichopásek*, *břichopasec* 'сигарит, сластолюбец', *buchtař* '1. тот, кто любит сладкие пирожки', *buchtař* '2. гурман, лакомка', *bumbal* 'пьяница', *cigaretář* 'курильщик'.

10) Интеллект, интеллектуальное состояние, воображение, память: ДЧП: *blázň*, *blázen* 'глупец, дурак', *bláznoch* 'дурак'; ЭВ: *arciblázen* 'самый большой дурак', *bartek* 'дурак', *bat'a* 'дурак, болван, недотепа', *bezrozumec* 'дурак', *bezumec* 'безумный', *bermyslnjk* 'глупец', *bláha* 'глупец', *blahaut* 'глупец', *blaud* 'болван, глупец', *blazen*, *blázň* 'человек, не имеющий истинной мудрости, веры в Бога, не заботящийся о своей душе', *lbl* 'идиот, болван', *calauň* 'болван, олух', *ser* 'дурак, глупец', *cucák* 'простак, простофиля', *čketa*

‘дурак, глупец’; СП: *abderita* ‘ограниченный человек’, *bezhlavec* ‘безрассудный, опрометчивый человек’, *blahovec* ‘дурячок, малоразвитый человек’, *blázen* ‘сумасброд, чудак, безумец’, *bláznička* ‘неразумный человек’, *blb* ‘идиот, болван’, *blboun* ‘болван, олух’, *bloud* ‘дурячок’, *bloudíček* ‘тот, кто ошибается’, *božídár*, *božídárek* ‘глупый человек без чувства юмора’ *bulík* ‘дурак’, *buvol* ‘большой дурак’, *blouzník* ‘мечтатель, фантазер’.

11) **Темперамент:** ДЧП: *bujník* ‘горячий, вспыльчивый человек’, *burič* ‘напористый человек’; ЭВ: *bauřliwec* ‘вспыльчивый, воинственно отстаивающий свои взгляды человек’, *brogitel* ‘тот, кто бегает туда-сюда, ведет себя беспокойно’, *buchač* ‘буян’, *bugnjk* ‘буйный человек’, *burič* ‘беспокойный человек’, *burišwog* ‘неугомонный, горячий человек’, *bystrák* ‘быстрый человек’, *čípera* ‘шустрый, бойкий человек’, *buryan* ‘неспокойный, воинственный человек’, *burišwět* ‘неспокойный человек’, *bzec* ‘непоседа’, *citlivěstkar* ‘чувствительный человек’; СП: *ašant* ‘2. буйный, необузданый человек’, *babovka* ‘малоэнергичный человек’, *bačkorář* ‘неэнергичный человек, слабак’, *blouma* ‘копуша’, *bouřil* ‘бунтарь, мятежник’, *bouřlivák* ‘вспыльчивый человек’, *bujan* ‘буян’, *čamrda* ‘шустрый человек’, *čertisko* ‘живое, веселое существо’, *číman* ‘ловкий, шустрый человек’, *čírtě* ‘непоседа, озорник’, *bolestín* ‘чрезмерно чувствительный человек’, *bručidlo* ‘2. плакса, нытик’, *brečoun* ‘плакса, рева’, *bubák* ‘нервный или застенчивый человек’, *citlivěc* ‘чрезмерно чувствительный человек’, *citlivín* ‘чрезмерно чувствительный человек, ребенок’, *citlivěstkar* ‘мимоза, чрезмерно чувствительный человек’, *citlivěstka* (м. и ж.р.) ‘мимоза’, *citlivka* (м. и ж.р.) ‘чрезмерно чувствительный человек’, *černohlíd* ‘пессимист’.

12) **Характер:** а) черты характера, отражающие отношение человека к другим людям: ДЧП: *bebta* ‘болтун’, *blekotník* ‘болтун’, *čstitel*, *ctitel* ‘почитатель, поклонник’; ЭВ: *arab*, *arabčan* ‘тиран, изверг’, *arcizlosyn* ‘злодей’, *argalás* ‘изверг’, *balaka* ‘пустомеля’, *balamut* ‘болтун, пустомеля’, *bazilišek* ‘злой человек, способный “убить взглядом”, василиск’, *Benešek* ‘завистник’, *bezbožník* ‘2. злодей’, *bezelstník* ‘бесхитростный человек’, *blahodětel* ‘тот, кто делает добро’, *blahoradnjk* ‘тот, кто дает добрые советы’, *blahowec* ‘добрый чудак’, *blznomluwec* ‘болтун’, *blbláč* ‘болтун’, *blekotník* ‘болтун, пустослов’, *blentář* ‘болтун’, *braukač*, *braukal*, *braukawec* ‘ворчун’, *bubla*, *bublač*, *bublák*, *bublaun* ‘ворчун, брюзга’, *buchač* ‘болтун’,

*burda* 'неспокойный, сварливый человек', *cerák* 'грубиян', *cizomil* ' тот, кто любит иностранное, особенно товары', *člowěkolibec* 'альтруист', *cwik* '2. хитрец'; СП: *adorátor* 'почитатель, обожатель, поклонник', *advokát* '2. защитник', *altruista* 'альтруист', *antichrist* 'человек, устрашающий других', *apologeta*, *apologet* 'защитник', *arcid'abel* '2. очень злой человек', *autoritář* 'авторитарный человек', *balbous* 'брюзга', *blaseovanec* 'равнодушный человек', *beroušek* 'мирный, тихий, добрый человек', *bestie* 'безжалостный, злой человек, изверг', *bercita* 'бессердечный человек', *blaſal* 'болтун, пустомеля', *blaſka* '2. пустобрех', *blager* 'насмешник, хвастун, болтун', *blepta*, *blebta* (м. и ж. р.) 'болтун', *bonhomme* 'добряк', *boucharon* 'крикун, болтун, пустомеля', *brepta*, *brebta* (м. и ж. р.) 'болтун, пустомеля', *breptoun*, *brebtoun* 'болтун, пустобрех', *brojitel* 'тот, кто против кого-нибудь, чего-нибудь выступает, противодействует, борется', *brumbál*, *brundibár* 'брюзга', *brykač* 'крикун', *brouk* '2. ворчун, брюзга', *broukal* 'брюзга, ворчун', *bručák* 'ворчун, брюзга', *bručavec* 'ворчун, брюзга', *brucídlo* 'ворчун, брюзга', *brucíl* 'ворчун', *brucívo* 'ворчун', *brucoun* 'брюзга, нервный человек', *brumla* 'ворчун, брюзга', *brumlal* 'брюзга', *brumloun* 'ворчун', *bublák* 'брюзга, нервный человек', *ctitel* 'почитатель', *camral*, *camra* (м. и ж. р.) 'болтун, пустомеля', *cancal* 'болтун, пустомеля', *čvaňha*, *čvaňhal* 'пустобрех';

б) черты характера, отражающие отношение человека к себе: ДЧП: нет; ЭВ: *baron* '2. своевольный, самовластный человек'; СП: *arivista* 'высокомерный, заносчивый человек, карьерист', *autokritik* 'тот, кто критикует сам себя';

в) черты характера, отражающие отношение человека к базовым ценностям (к жизни, делу, труду): ДЧП: *činodějce* 'деятельный человек, деятель', ЭВ: *arlekyn* 'ветренник, ветрогон', *bezprečnjk* 'беспречный человек', *břidil*, *břiditel* 'халтурщик, портач', *budižkníčetu* 'никчемный человек, портач', *culjk* 'путаник, портач', *časomorce* 'тот, кто попусту теряет время', *činnik*, *činitel* 'деятель', *čuhák* 'зевака', *čuhař* 'ротозей, зевака'; СП: *avanturista* 'авантюрист', *bakchant* '2. беспутник, гуляка', *bitec* 'борец за ч.-л.', *blahošlap* 'лоботряс', *bojovník* '2. тот, кто борется, болеет за ч.-л.', *bordelář* 'тот, кто создает или имеет в чем-либо беспорядок', *budovatel* 'созидатель, творец', *bulač* 'прогульщик', *budižkníčetu* (м. и ж. р.) 'бездельник, шалопай, лентяй', *čumil* 'зевака';

г) черты характера, отражающие отношение человека к деньгам,

вещам, ресурсам: **ДЧП**: нет; **ЭВ**: *bzd'och* 'скупец', *ctitel* 'щедрый человек'; **СП**: *bouřil* 'кутила, мот', *bumbrlícek* 'жадюга';

д) черты характера, отражающие нравственную сущность человека: **ДЧП**: *antikrist*, *antikřist* 'антихрист (о человеке)', *bezdušec* 'бессердечный, бессовестный человек'; **ЭВ**: *advokát* 'хитрый человек, который с легкостью говорит о предмете как за, так и против него', *andjlek* 'лицемер, фарисей', *arcihřejšnjk* 'архигрешник', *arcilotr* 'мерзавец, негодяй', *arcipadauch* 'архиподлец', *arcipodwodnjk* 'главный обманщик', *arcipokrytec* 'архилицемер, архиподлец', *arcišelma* 'архи-негодяй', *bág*, *bágař*, *bágeč*, *bágek*, *bák* '2. интриган, сплетник', *bestiák*, *bestyák*, *bešt'ák* 'подлец, скотина', *bestie*, *bestye* 'подлец, негодяй', *berčelnjk* 'бесстыдник', *bezčestnjk* 'бесчестный человек', *bezectnjk* 'бесчестный человек', *bezemzdnjk* 'неподкупный человек', *bezostíwes* 'бесстыдник', *bezstaudnjk* 'бесстыдник, наглеш', *bezstydnjk* 'бесстыдник', *blaholivec* 'добропорядочный человек', *blahoslawenec* '3. спасенный, 4. провозглашенный святым, 5. святой', *bliwoň* 'негодяй, безнравственный человек', *cumpljk* 'негодяй, мошенник', *čtverák* 'негодяй, мерзавец', *čuhagda*, *čuheyda* 'бесчестный человек'; **СП**: *amoralista* 'аморальный человек', *augur* 'авгур', *báchor kář* 'автор небылиц', *bajkář* '2. лгун', *balamuta*, *balamut'a*, *balamutič*, *balamutil* 'тот, кто морочит голову, дурачит', *bandita* '2. коварный, бесцеремонный лгун', *bešt'ak* 'прохвост, сволочь', *bezbožník* '2. дурной человек, грешник', *bezpráteřník* 'приспособленец', *bídák* '1. подлец, негодяй, мерзавец', *bídňuk* '1. подлый, бессовестный человек', *bigodista* 'ханжа, святоша, лицемер', *blahoslawenec* '2. спасенный', *blaženec* 'спасенный', *bramarbas* 'сплетник, хвастун', *byzantinec* '2. подлиз', *cynik* 'циник'.

е) черты характера, отражающие волевые качества человека: **ДЧП**: нет; **ЭВ**: *bába* '6. баба (о мужчине)', *bázliwec* 'боязливый человек', *bogák* 'трус', *bzd'och* 'трус'; **СП**: *bába* '6. баба (о мужчине)' – слабовольный, слабохарактерный, малодушный человек', *bázlivec* 'трус', *beran* '2. упрямец', *borec* '3. борец', *bzdurak* 'упрямец, строптивец'.

13) *Поведение*: а) стиль жизни: **ДЧП**: *běhún* 'бродяга', *čtverák* 'бродяга', *bijař*, *bújař* ' тот, кто ведет себя буйно, ведет распутный образ жизни'; **ЭВ**: *běhaun* 'бродяга', *břichopas*, *břichopásek* '2. прихлебатель, приживальщик', *cizopásek* 'паразит, прихлебатель'; **СП**:

*běhoup* 'бродяга', *bloudilec* '1. скиталец, бродяга', *bohém* 'человек, живущий богемной жизнью', *bosák* '3. босяк, бродяга', *bouřil* '2. кутила'.

б) поведение, определяемое отношением человека к другим людям: ДЧП: нет; ЭВ: *blazen*, *blázn* 'шут, весельчак, озорник', *čtverák* 'шалун, озорник'; СII: *Amerikán* 'тот, кто аффектированно перенимает манеры американцев', *bašiboguk* '2. дикарь, драчун, забияка', *bavitel* 'тот, кто забавляет, развлекает других разговором или другими действиями', *bijan* 'драчун', *bijce*, *bijec* 'забияка', *blázen* 'шут';

в) поведение, определяемое уровнем культуры: ДЧП: *běhúneč* 'невежда, неуч'; ЭВ: *arcinerdwořák* 'невежа, грубян', *brtník* '2. неотесанный парень'; СП: *analphabet* 'невежда, неуч', *aristokrat* '2. аристократ, человек изысканных манер', *balda* 'невежа', *balík* 'деревенщина', *civilisovanec*, *civilizovanec* 'цивилизованный человек';

г) поведение, связанное со специфичной для данного человека координацией движений: ДЧП: *čuřidlo* 'растяпа'; ЭВ: *brkač* 'тот, кто спотыкается', *caban* 'неуклюжий человек', *čapták* 'тот, кто плохо ходит'; СП: *babra* (м. и ж.р.), *babrák*, *babral* 'неловкий, неуклюжий человек', *balvan* 'неповоротливый, неуклюжий человек', *batoláč* 'тот, кто ходит неуверенно, вперевалку', *coural* 'тот, кто медленно или напрасно ходит', *čvančara* 'неловкий человек, недотепа';

д) поведение, связанное с состоянием и работой органов и функциональных систем организма: ДЧП: нет; ЭВ: *bljkač* 'тот, кто мигает', *bljkač* 'тот, кто мигает', *blíkeš* 'тот, кто мигает', *bliwoň* 'тот, кого часто рвет', *braul* 'человек с выпущенными глазами', *bzděc* 'пердун', *bzdinowec* 'пердун'; СП: *blič* 'тот, кого рвет', *bzd'och* 'пердун'.

14) *Общая оценка личности другими людьми*: а) субъективное восприятие человека другими лицами: ДЧП: нет; ЭВ: *angel*, *anděl* '4. ангел', *babuchna* 'добрая бабушка', *bažatko* 'любимчик', *běditel* 'горемыка', *bjdak* 'бедняжка', *břídál* 'противный человек', *břidnjík* 'скверный человек', *cucák* 'сосунок', *čuřidlo*, *čeřidlo* 'мерзкая личность'; СП: *bědák* 'бедняга, горемыка', *bídník* 'бедняга, горемыка', *bobek* 'ласковательное наименование милого существа', *bobeček* 'любимая, как правило протежируемая молодая сотрудница, секретарша', *borák* 'горемыка', *cukrouš* 'дорогуша, любимчик', *červ* 'ничтожная личность';

б) комплексная характеристика личности. В данный лексико-

семантический класс включены имена существительные, называющие человека одновременно по ряду присущих ему свойств или качеств. Например: *bandur* 'толстый и неуклюжий человек' [SSJČ], *bukač* 'толстый и спесивый человек' [SSJČ], *bařtipán* 'толстый, зажиточный и самодовольный человек' [SSJČ], *blišoň* 'бесчестный, безнравственный дурак' [JG] и др. В одном слове объединяется несколько характеристик личности – семантических переменных или дифференциальных сем<sup>22</sup> – раскрывающих различные аспекты личностной реализации человека, его интеллект, характер, поведение, материальное состояние и т. д. Таким образом, в данном случае речь идет о частном случае языковой метафоры, называющей не одно конкретное качество личности, а отражающей "общее, часто не поддающееся точному определению впечатление (которое только в словаре расчленяется на частные признаки и ассоциации)"<sup>23</sup>.

Следует заметить, что риск неадекватности толкования слова в словаре возрастает с увеличением в его составе числа семантических переменных. Он может быть связан как с объективными, так и с субъективными факторами словарной работы. К объективным относится лексикографическая база словарей, которая, как уже указывалось выше, является неодинаковой для различных исторических периодов развития чешского литературного языка – древнечешского, эпохи возрождения, современного. Акцент преимущественно на книжные тексты, характерные для словарей древнечешского периода и словаря Й. Юнгмана, и широкий охват разнообразных в стилевом отношении источников словарем современного языка – от текстов, фиксирующих нелитературную речь, до строго нормированных текстов официальных документов – все это объективно определяет неравноценность словарных материалов, которая особенно бросается в глаза при работе с метафорической лексикой, фиксирующей нюансы значения и эмоциональную оценку обозначаемого явления. К субъективным факторам можно отнести языковую интуицию составителей словарей, тщательность и методологическую точность проработки словарной статьи, экспликацию в ней всех семантических переменных, которые содержит данное слово. Ср., например, различия в толкованиях метафорического значения слова *anděl* в словаре Й. Юнгмана: '4. в доверительной беседе по отношению к возлюбленной особе: Мой ангел!' [JG] и в "Словаре современного чешского литературного языка": '2. благородный, добрый, красивый, вообще

совершенный человек' [SSJČ]. Учет этих факторов заставляет оценивать результаты исследования с большой осторожностью, но в то же время открывает определенные перспективы дальнейшего изучения языковых фактов за счет привлечения более широкого круга текстов различной стилистической маркированности.

Комплексная характеристика личности раскрывается в следующих лексико-семантических группах слов:

– внешность / поведение человека: ДЧП: нет; ЭВ: нет; СП: *bandur* 'толстый, неповоротливый, неуклюжий человек', *baraba* 'оборванец, голодранец, бродяга, праздношатающийся', *čupče* 'поросенок, человек, вымазанный сам и пачкающий все вокруг', *čupík* 'человек, вымазанный сам и пачкающий все вокруг';

– внешность / характер человека: ДЧП: нет; ЭВ: нет; СП: *anděl* 'благородный, красивый, совершенный человек', *bukač* 'толстый, спесивый человек', *čiňák* 'ругательство в адрес человека грязного и безнравственного';

– поведение / характер человека: ДЧП: нет; ЭВ: *barbar* 'дикий, необузданный, жестокий человек', *cikán*, *cigán*, *cíngán* 'бродяга, гадальщик, лгун и мошенник'; СП: *asiat* 'варвар, дикарь, тиран, жестокий человек', *bastant* 'человек, который живет и ведет себя как господин, спесивый и упрямый', *barbar* 'невежественный, грубый человек, жестокий тиран', *bet'ar* '2. бродяга, мерзавец, негодяй, подлец', *čtverák* 'подлец, негодяй, бродяга, скиталец';

– темперамент / характер человека: ДЧП: нет; ЭВ: нет; СП: *cert* '3. живой, буйный, необузданный, злой человек';

– интеллект / поведение человека: ДЧП: нет; ЭВ: *blazen* 'глупый, грубый, пошлый человек', *balvan* 'глупец, увалень, недотепа'; СП: *balšám* 'глупый, неотесанный человек', *bambula* (м. и ж. р.) 'дурак, недотепа; неуклюжий и неловкий человек';

– характер / интеллект человека: ДЧП: нет; ЭВ: *blišoň* '2. бесчестный, безнравственный дурак'; СП: нет;

– внешность / характер / поведение человека: ДЧП: нет; ЭВ: *bzd'och* 'коротышка, противный, малоподвижный, безнравственный и смердящий'; СП: *čupě* 'аморальный человек, грязнуля, который что-либо измазал', *baloun* 'невежественный, грубый, невзрачный, неказистый человек';

– интеллект / (темперамент) / поведение / характер человека: ДЧП: нет; ЭВ: нет; СП: *babář* 'интриган, легкомысленный,

боязливый человек', *bát'a* 'глупый, медлительный, добрый, неуклюжий человек';

– материальное состояние / субъективная оценка человека: **ДЧП**: нет; **ЭВ**: нет; **СП**: *bídák* '2. бедный, нуждающийся, несчастный горемыка';

– внешность / характер / материальное состояние<sup>24</sup>: **ДЧП**: нет; **ЭВ**: нет; **СП**: *bařtipán* 'толстый, зажиточный и самодовольный человек';

– интеллект / материальное состояние человека: **ДЧП**: нет; **ЭВ**: нет; **СП**: *buřoust* 'богатый, зажиточный, ограниченный обыватель'.

Приведенная классификация, как уже отмечалось, основана на материале имен существительных со значением лица мужского пола. Определенная часть данных слов мотивирует соответствующие наименования лиц женского пола. Например: *brebentil* – *brebentilka*, *cumloch* – *cumla*, *astenik* – *astenička*, *astigmatik* – *astigmatička*, *alkoholik* – *alkoholička*, *blouzníl* – *blouznilka*, *citlivůstkář* – *citlivůstkářka*, *bezbožník* – *bezbožnice*, *broukal* – *broualka* [SSJČ] и др. Некоторые субстантивы являются словами общего рода: *brbla*, *bubřina*, *bezručka*, *blouma*, *blebta*, *brepta*, *budižkničetu*, *camra* [SSJČ] и др. Есть и такие, которые характеризуют исключительно лиц мужского пола: *bohočlověk*, *bručoun*, *baſal*, *čahoun*, *bagoun*, *bachrateg*, *bělouvous*, *brejlatec*, *blb*, *blechač*, *cuok*, *bzdurak*, *ašant*, *bašiboruk*, *bijan* [SSJČ] и др. В данной статье мы не будем выделять особо лексико-семантические группы субстантивов мужского рода, мотивирующих имена со значением женского лица, однако рассмотрим те существительные (и формируемые ими классы и группы слов), которые используются в языке исключительно для характеристики женщины. Нас интересовал следующий вопрос: какие черты во внутреннем мире и поведении женщины, отличающие ее от мужчин, фиксирует языковое сознание чехов<sup>25</sup>, как эти представления изменяются и дополняются в истории развития языка. В ходе исследования небезинтересным оказался и материал, касающийся личности ребенка, позволяющий увидеть, насколько видение мира детей в языковом сознании чехов отличается от видения мира взрослых. Ниже предложены классификации имен существительных со значением: а) женского лица, б) ребенка.

Имена со значением женского лица включает в себя следующий набор лексико-семантических классов и групп слов:

1) *Внешность*: а) рост: ДЧП: нет; ЭВ: čápa 'высокая женщина'; СП: нет; б) комплекция: ДЧП: нет; ЭВ: нет; СП: *bachna* 'толстая женщина', *bachna* 'толстуха', *bachořice*, *bachořina* 'толстая женщина', *basa* '4. толстая женщина', в) цвет (кожи, волос и т. д.): ДЧП: *bělka* 'бледная или белокожая женщина'; ЭВ: *běloručka* 'женщина с белыми, нежными руками'; СП: *blonda* 'блондинка', *černobrúka* 'чернобровая женщина', *černoččka* 'черноглазая девушка, женщина'; г) наличие / отсутствие органов и частей тела: ДЧП: *beznoska* 'безносая женщина'; ЭВ: нет; СП: нет; д) эстетическая оценка внешности: ДЧП: нет; ЭВ: *cumpljta*, *šumpljta* 'оборванная, грязная девушка'; СП: *cimpla* 'неряшливая, грязная девушка'.

2) *Здоровье*: ДЧП: нет; ЭВ: *berdětkyně* 'бесплодная женщина'; СП: нет.

3) *Характер*: а) черты характера, отражающие отношение человека к другим людям: ДЧП: нет; ЭВ: *antikrist* 'злая женщина'; СП: *babízna* 'неприятная, злая женщина', *bručna* 'нервная, ворчливая женщина'; б) черты характера, отражающие нравственную сущность человека: ДЧП: нет; ЭВ: *bleptna* 'сплетница', *cumpljta*, *šumpljta* '2. подлая женщина', *campara* 'безнравственная, непорядочная женщина', *cúra*, *cára* 'безнравственная, непорядочная женщина'; СП: нет; в) черты характера, отражающие волевые качества человека: ДЧП: нет; ЭВ: *amazonka* '2. смелая, храбрая, отважная женщина'; СП: нет.

4) *Поведение, отражающее нравственную сущность человека*: ДЧП: нет; ЭВ: *běhla* 'потаскуха, шлюха', *caura* 'потаскуха', *cuda* 'девка, публичная женщина', *číska*, *čuda* 'распутная женщина'; СП: *bahnice* 'потаскуха', *běhna* 'проститутка, шлюха', *běhule*, *běhula* 'потаскуха', *bludice* '4. проститутка', *coura* 'шлюха', *čuba* 'проститутка, шлюха, потаскуха'.

5) *Общая оценка личности другими людьми*: а) субъективное восприятие человека другими людьми: ДЧП: нет; ЭВ: нет; СП: *beroušek*, *berunka*, *beruška* 'голубка (обращение к любимой девушке; досл. овечка)'; б) комплексная характеристика личности: внешность / поведение человека / характер (ДЧП: нет; ЭВ: *cára*, *campara* 'бездобразная, неряшливая женщина, шлюха'; СП: *cuchta* 'растрапленная, непорядочная, распутная женщина, потаскуха', *cundra* 'грязная, распутная, потаскуха'); возраст / внешность / характер / субъективное восприятие человека (ДЧП: нет; ЭВ: нет; СП: *bába*

'5. старая, противная, неприятная, злая сплетница'); внешность / характер / субъективное восприятие человека (ДЧП: нет; ЭВ: нет; СП: *bohyňe* 'красивая, возвышенная, гордая, любимая женщина').

Выделение имен существительных, называющих детскую личность, оказалось возможным на материале современного чешского литературного языка и языка эпохи возрождения.

1) *Внешность*: а) рост: ЭВ: нет; СП: *cvoček* 'невысокий ребенок (или низкий человек)', б) комплекция: ЭВ: нет; СП: *bucík* 'пухленький ребенок', *bucláček* 'пухленький ребенок', *cvalík* 'пухлый, толстый ребенок'; в) характеристика внешности по одежде, которую человек носит; ЭВ: *bosý* 'о детях, которые чаще всего ходят босиком'; СП: нет.

2) *Время появления ребенка на свет*: ЭВ: *brzače* 'ребенок, родившийся вскоре после свадьбы родителей'; СП: нет.

3) *Физические возможности и состояние*: ЭВ: нет; СП: *bandur* 'сильный ребенок',

4) *Поведение*: ЭВ: нет; СП: *budulínek* 'милый, иногда непослушный ребенок'.

Рассмотрим теперь раздел лексико-семантической категории "лица" – "Человек как личность" – на различных диахронических срезах истории чешского языка с целью выявить нормативные и вариативные реализации системы в заданный промежуток времени.

### Древнечешский период (XIV–XVI вв.)

Образ человека, сложившийся в чешском языковом сознании (или "мыслительном мире"<sup>26</sup>) рассматриваемого периода, представлен некоторым нейтральным лексическим стандартом, а также качественными отклонениями от него преимущественно негативного плана. Оппозиция "нейтральный стандарт: негативный вариант стандарта" или же фиксация только негативного компонента данной оппозиции (нейтральный компонент присутствует тогда в пресуппозиции) прослеживается почти на всех уровнях (лексико-семантических классов и групп слов) рассматриваемой лексико-семантической структуры.

1) Возрастная характеристика человека представлена парой слов *čád*, *čáda*, называющих ребенка мужского и женского пола, в семантике которых различие признаков "детский / подростковый

"возраст" нейтрализовано, релевантной является характеристика человека как не достигшего периода возмужалости (*čád* 'мальчик или юноша', *čáda* 'девочка или девушка').

2) Лексико-семантический класс, характеризующий человека по особенностям его речи, представлен оппозицией "членораздельная : нечленораздельная речь", в которой первый, нейтральный член оппозиции отсутствует (*bebtavec*, *brebtavec*, *bíkal*).

3) Релевантными для характеристики внешности человека являются следующие признаки: а) комплекция (с акцентом на негативную реализацию данного признака – *břucháč*, *břuchal*); б) цвет кожи (*bronec*); в) наличие или отсутствие органов человеческого тела. Фиксируется отрицательная реализация стандарта – наименования человека, у которого отсутствует та или иная конечность, зубы (*bezhlav*, *bezhlavec*, *beznoha*, *bezručec*, *bezručka*, *bezzubec*). Для наименования женщины релевантным оказывается такой признак, как отсутствие носа (*beznoska*); г) гипертрофия органов и частей человеческого тела (*čapornosec*, *čtyřočec* – вероятно, имеется в виду человек в очках, *braduš*, *bradač*, *bradal*); д) характеристика человека с точки зрения отсутствия в его туалете одного из общепринятых предметов одежды (*bosák*).

4) В лексико-семантическом классе слов "здоровье, заболевания" маркируется негативная реализация оппозиции "здоровье : болезнь" – болезненное состояние человека (*běsovník*, *běsník*, *berzdětek*, *blíkač*).

5) Трихотомия "отсутствие : наличие в умеренных или незначительных размерах : чрезмерность потребностей и пристрастий" человека решается в пользу последнего члена данного соотношения (*břichoplucé*), оцениваемого негативно.

6) Интеллектуальное состояние человека характеризуется тремя словами с общей семантикой 'дурак' (*blázn*, *blázen*, *bláznoch*). Следует заметить, что оппозиция "умный : дурак" (которая не исчерпывает, впрочем, всего содержания лексико-семантического класса "интеллектуальное состояние человека"), на всех рассматриваемых диахронических срезах чешской лексической системы решается в пользу последнего (негативного) компонента оппозиции. Возможно, это связано с ограниченностью нашей выборки (расписывались, как уже отмечалось, только четыре буквы словаря), и наименования лиц, имеющих высокие интеллектуальные способности, представлены в другой части словаря, оставшейся за

пределами нашего лексического материала. Или же, что также возможно, данный признак эксплицирован в языке иными номинативными средствами (ср. в современном чешском языке – *moudrý člověk*, *chytrá hlava*, *moudrá hlava*, *intelligentní člověk* [SSJČ] и т. д.).

7) Темперамент человека входит в круг свойств и качеств человеческой личности, достойных самостоятельной субстантивной номинации. При этом маркируется активный член оппозиции – "темпераментный человек" (*bujníc*, *burič*). Субстантивы, называющие человека спокойного, уравновешенного темперамента, в данном лексико-семантическом классе слов не представлены.

8) Для древнечешского периода развития языка релевантными являются наименования человека, связанные с определяющими чертами его характера, которые: а) отражают отношение человека к другим людям (эксплицируется такая черта характера, как болтливость, оцениваемая негативно – *bebta*, *blekotník*); б) отражающие нравственную сущность человека (сугубо негативного толка – *antikrist*, *antikřist*, *berdušec*). Такие черты характера, которые отражают волевые качества человека, его отношение к себе, труду, материальным ресурсам, не представлены в нашем корпусе языкового материала.

9) Имена существительные со значением 'лица' отражают следующие модели поведения человека, релевантные для людей XIV – XVI вв.: а) образ жизни. Представлен наименованиями, фиксирующими отклонения от стандарта – оседлого образа жизни, – называющими скитальцев, бродяг: *běhún*, *čtverák*; б) специфичность свойственной человеку координации движений (*čuřidlo*).

10) Из черт и свойств личности, отражающих особенности женского облика и характера, в рассматриваемой языковой системе выделены только два признака – отсутствие у женщины носа (*beznoska*) и бледность ее лица или белизна кожи (*bělka*) – что в обоих случаях отражает направленность внимания на внешность женщины, а не на ее внутренний мир.

11) Имена существительные, называющие детей с учетом отличительных особенностей их внешности, характера, манеры поведения и т. д., а также слова, выраждающие общую оценку личности другими людьми, в рассматриваемой лексико-семантической системе не представлены.

Завершая описание лексической нормы раздела "Человек как индивидуальность" в языке древнечешского периода можно отметить, что имена существительные со значением лица фиксируют преимущественно внешние черты и формы проявления человеческой личности. Ее внутренний мир – волевые качества, характер, духовные и жизненные ценности – в значительной степени остается закрытым, не эксплицированным в рамках рассматриваемых языковых средств. Лексика, представленная в рассматриваемом фрагменте лексико-семантической категории, фиксирует, по преимуществу, негативные реализации стандартного представления о человеческой личности. Нейтральные реализации стандарта в языке данного периода выражаются, по-видимому, при помощи иных номинативных средств.

### Эпоха возрождения (начало XIX в.)

Раздел "Человек как индивидуальность" в чешском литературном языке эпохи национального возрождения имеет значительно более сложную структуру, чем соответствующий фрагмент лексической системы языка предшествующего периода. Анализ лексики, включенной Й. Юнгманном в словарь, позволяет увидеть, что изменились акценты в отношении общества к человеческой личности. Возрос интерес к духовному миру личности, ее душевным качествам и закономерностям их проявления в характере и поведении человека. Становится важным не только зафиксировать в номинации то или иное качество или свойство человеческой личности, но и отразить в слове понимание причины этих качеств и свойств, выразить отношение общества к ним, а также обобщить в номинации психологический опыт общения – создать в слове типичный образ человека, чей внешний облик, умственные качества, свойства характера, манера поведения и т. д., имеют внутреннюю логическую связь. В классификацию эти изменения вошли как новые лексико-семантические группы внутри уже известных (в связи с анализом языка древнечешского периода) классов слов, а также как новые лексико-семантические классы имен существительных, называющие человека с точки зрения его половой принадлежности, физических возможностей и физического состояния; отражающие субъективное восприятие человека окружающими людьми, а также наименования, дающие комплексную характеристику личности. Значительно расширены классы слов, характеризующие женщину как личность, для

которой свойственны особые, не тождественные мужским черты характера, внешние данные, система поведения и т. д. Появились также и имена существительные, называющие детей.

1) Характеристика человека по половой принадлежности представлена двумя наименованиями с общей семантикой 'женщина' – *bába*, *bělohlawa*.

2) Возрастная характеристика личности представлена в группах слов: а) детский возраст (*bžině*, *bosý*, *cucák*, *babenec*, *čád*, *čáda*); б) подростковый возраст (*bábě*); в) пожилой возраст (*bába*, *babaus*, *babičkář*, *čada*). В лексической структуре многозначного слова *čáda* объединены два значения, называющие различные возрастные состояния человека – детский и пожилой ("впавший в детство пожилой человек") возраст. Инвариантным значением данного слова, вероятно, является 'беспомощный человек, в силу своего возраста нуждающийся в заботе и опеке'.

В отличие от языка предшествующего периода в языке эпохи возрождения присутствует не только номинация *čád*, *čada* 'ребенок мужского или женского пола' (*čád* < ст.-слав. *čēdo* < герм. \**kinda-*/*kinpa-*ср. современное нем. *Kind*<sup>28</sup>), но и наименования, которые в своей внутренней форме содержат информацию об отличительных чертах поведения объекта номинации – ребенка: *bžině* < *bžičeti* 'мурлыкать, жужжать', *cucák* < *cucat* 'сосать молоко из материнской груди', *babenec* < *bába* 'женщина, бабушка' – слово, которое дети начинают произносить одним из первых<sup>29</sup>, *bosý* < *bosý* 'босой'. Фиксация не только внешних, знаковых, классифицирующих черт явления, но и сущностных, характеризующих его признаков в субстантивной номинации представляется нам важной чертой развития лексической нормы языка эпохи возрождения по сравнению с лексической нормой языка древнечешского периода.

3) Лексико-семантический класс слов, характеризующий человека с точки зрения особенностей его речи, так же, как и в предшествующий период развития языка представлен именами существительными, называющими людей с нечленораздельной речью (*brepta*, *breptac*, *breptawec*, *breptaun*, *braptal*, *breptoň* – словообразовательные варианты; *cupla*, *blbotac*, *breptawec* – синонимы), а также с членораздельной, но эмоционально насыщенной речью – *bouřil* 'крикун', *vuschač* 'человек, говорящий слишком громко и шумно'.

4) Лексико-семантический класс слов, называющий человека по

его внешности, расширен, по сравнению с древнечешским периодом, двумя новыми группами слов: а) характеристика человека по росту. Трихотомия "низкий : средний : высокий рост" представлена крайними вариантами – наименованиями лиц, имеющих низкий (*cwrk*) или слишком высокий рост (*čahán, čahoun*); б) эстетическая оценка внешности (*cumploch, šumploch* 'лохматый, грязный человек', *cunda, cundra* 'грязнуля').

Прочие лексико-семантические группы слов, сформировавшихся в языке на предшествующем этапе его развития, пополняются новыми наименованиями, а также лексическими и словообразовательными синонимами и вариантами уже известных в языке слов. Это лексико-семантические группы слов, характеризующие человека по его: в) комплекции (*báchač, břicháč, břichál, břichoň, bachoráč, bachráč, bachoř, bucko, bucek, bucljk, čamrdák, bžoch*). В языке рассматриваемого периода, в отличие от древнечешского, появляется наименование для человека стройной фигуры – *cifrowanec, cifřickář*; г) цвету кожи, волос, глаз, зубов (*bělák, běloch, blaſard, belauš, bělohlawek, černauš, bělogub, čertpošaus*); д) наличию или отсутствию волос, а также органов или частей тела (*berbradec, berhlawec, begočec, bezručec, bezručka, bezraučka*). Существительное *balausáč* 'мужчина с бакенбардами' является признаком для языка эпохи возрождения, так как бакенбарды стали атрибутом мужской моды в XVIII–XIX вв.; е) гипертрофия или недостаточное развитие органов и частей тела (*bradáč, braddl, čáp* 'длинноногий человек'); ж) одежде (*berkalhotka, bosochod, botář, cund'ák, cundra, čertec*). Имя существительное *bosák* в значении ' тот, кто ходит босиком', входившее в состав данной лексико-семантической группы слов в языке древнечешского периода, вероятно, было вытеснено в языке Возрожденческого периода синонимом *bosochod*. Слово *bosák* в значении 'монах, который не носит обычной обуви, а только сандалии' должно быть отнесено к иному лексико-семантическому разделу слов ("Положение человека в обществе").

В данной лексико-семантической группе слов обращает на себя внимание наметившееся изменение тенденции, выявленной, в рамках нашего материала, в языке древнечешского периода – одностороннего и, как правило, негативного отражения черт и качеств человека в существительных со значением "лица". Так, если в языке древнечешского периода человек представлен как толстый, гово-

рящий нечленораздельно, безногий или безрукий, с длинным носом, бородатый, большой, неумеренный в еде, глупый, вспыльчивого темперамента, болтливый, не имеющий ничего святого (антихрист), бродяга или растяпа, то в возрожденческий период видение человека становится более адекватным. Если говорить только о внешнем облике, то этот человек может быть уже не только толстым, но и стройным, не только высоким, но и низким, не только бородатым, но и безбородым и даже с бакенбардами, иметь не только белую, но и темную кожу, ходить не только босиком, но и в сапогах.

5) Для характеристики здорового или болезненного состояния человека начала XIX в. актуальными по-прежнему остаются следующие признаки: одержимость дьяволом (*běsnjk*), дефекты органов зрения (*breyl*, *breylač*), неспособность иметь детей (*bezdětek*, *bezdjtek*). Данная группа слов по сравнению с аналогичной в языке древнечешского периода расширена за счет наименований людей с заболеваниями психики (*blazen*, *blázn*, *blazniwec*), опорно-двигательного аппарата (*belhač*), а также наименованиями людей, пренебрегающих личной гигиеной (*blecháč*, *blechanda*).

6) Новым явлением, по сравнению с языком предшествующего периода, является потенциальный, представленный в языке эпохи возрождения одним словом, лексико-семантический класс "Физические возможности и состояние человека": *serák* 'сильный парень'. Данное слово характеризует человека, обладающего грубой физической силой – первым словообразовательным значением данного слова является 'молотильщик' (< *ser* 'молот'), вторым – 'грубый парень'.

7) Потребности и пристрастия человека в системе личных имен языка эпохи возрождения представлены более разнообразно. Кроме общего наименования 'обжора' (выраженного различными синонимами и вариантами – *bachornjk*, *břichopas*, *břichosluha*, *břichoslužebnjk*, *bezednjk*), в данном классе слов присутствуют и имена, детализирующие гастрономические пристрастия личности: *babář*, *buchtář*, *bandorák*, *beranogedec*, *bibál*, *bibát*, *břichopluc*, *čtverák*. Другие потребности и пристрастия человека демонстрируют слова *čtischař*, *běhaun* 'бабник, юбочник'.

8) Лексико-семантический класс слов, называющий человека по его интеллектуальному состоянию, воображению, памяти и т. д., в языке XIX в. характеризуется богатой семантикой, отражающей, как

и в языке предшествующего периода, человеческую глупость, но, в отличие от древнечешского язва, указывающей на различные степени данного состояния, а также его причины и признаки. Последние становятся очевидными при анализе семантики мотивирующих основ имен со значением 'лица'. Ср.: *arciblázen* 'самый большой дурак', *bezrozumec* (< *bezrozumý* 'nemagjcj rozumu' [JG]), *bezumec* (< *bezumý* 'bez umu' [JG]), *bezmyslník* (< *bezmyslný* 'bez smyslu') 'дурак, глупец', *blb* 'идиот, болван', (*blbý* 'слабоумный'), *blaud* 'болван, глупец', (< *blouditi* '1. блуждать, 2. ошибаться, заблуждаться'), *cer* 'глупец' (< *cer* '1. молот, 2. деревянный молот, колотушка дурака'), *cicák* 'простофиля' (< *cicat* 'сосать молоко'), *čketa* 'глупец, дурак' (< *čketa* 'дикое животное'). В двух случаях мы встречаемся с явлениями антономазии: *bartek* (польск.) 'дурак' (< *Bartolomeg, Bartek*) и *bláha* 'глупец' (< *Bláha, Blah*). Причины, по которым лицам по имени *Bartolomeg* (*Bartek*) и *Bláha* приписано такое свойство, как 'глупость', нуждаются в культурологических комментариях. Причины глупости человека, названного немотивированными в чешском наименованием *blazen*, *blázn*, Й. Юнгман разъясняет в словарной статье, толкующей значение вариантов: "В Библии *blazen* означает того, кто не имеет истинной мудрости, не заботится ни о Боге, ни о ближнем, ни о своей душе, слынет безбожником"<sup>30</sup>.

9) В языке XIX в. по-прежнему актуальными остаются наименования энергичного, неспокойного, горячего, воинственно настроенного человека. Об этом говорят следующие наименования, отражающие эмоциональную сторону темперамента человека: *bauřil-wec*, *brogitel*, *buchač*, *bugnjk*, *buřič*, *buřiwog*, *buryan*, *buřiswět*. Появились слова, маркирующие темперамент человека с точки зрения его реакций: *bystrák* 'непоседа', *čípera* 'шустрый, бойкий человек', *bzec* 'непоседа'. Существительные, называющие человека слабого, пассивного темперамента в наших материалах представлены наименованием *citliwüstkař* 'чувствительный человек'.

10) Значительно вырос, по сравнению с предшествующим периодом развития языка, класс слов, называющий человека по чертам его характера. В наших материалах, кроме выделенных ранее лексико-семантических групп слов, называющих человека по его отношению к другим людям, отражающим состояние его нравственности, функционируют субстантивы, называющие человека в

связи с такими чертами характера, как отношение к себе, к базовым ценностям (делу, труду, жизни), деньгам, вещам, ресурсам; сила воли. Рассмотрим названные лексико-семантические группы слов подробнее.

а) Спектр психологических установок в отношении человека к себе подобным, эксплицированных в наименованиях лица, представлен более широко. Как и прежде, значимой для отношения людей друг к другу является такая черта характера, как расположность к общению, контактность, разговорчивость (оцененная негативно как 'болтливость'): *balaka*, *balamut*, *blaznomluvec*, *blbláč*, *blekotnjk*, *bletnář*, *buchač*. Новым является отражение в наименованиях лица таких черт характера, как: жестокость (*arab*, *arabčan*, *arcizlosyn*, *argaláš*), зависть (*Beněsek*), злость (*bazilišek* 'злой человек, способный "убить" взглядом', от *Bazilišek* – Василиск "зооморфное мифологическое существо, убивающее взглядом или дыханием <...>". Ср. *baziliščí pohled* 'злой взгляд'<sup>31</sup>), грубость (*cerák*), хитрость (*cwik* '2. хитрец'), сварливость (*braukač*, *braukal*, *braukawec*; *bubla*, *bublač*, *bublák*, *bublaun*; *burda*), доброта (*blahowec*, *člowěkolibec*, *blahodětel* ' тот, кто делает добро', *blahoradnjk* ' тот, кто дает добрые советы'), бесхитростность (*bezestnjk* 'бесхитростный человек').

б) Из имен существительных, называющих человека по чертам характера, отражающим его отношение к себе (и опосредованно – к другим людям), зафиксировано слово *baron* '2. своевольный, ни с кем не считающийся самовластный человек'.

в) Имена существительные, называющие человека по его отношению к базовым ценностям – жизни, делу, труду – формируют оппозицию "деятельный человек : бездельник (халтурщик)". Второй член оппозиции представлен более значительным рядом слов (*arlekyn*, *bezrečnjk*, *břidil*, *budižkníčeti*, *culjk*, *časomorce*, *čuhák*, *čuhaun*), чем первый (*činnjk*, *činitel*). Важным становится обозначение причин никчемности, способов бездеятельности или халтурной деятельности в наименовании лица: *arlekyn* (< *arlekyn* 'арлекин'), *bezrečnjk* (< *bezrečný* 'беспечный'), *břidil* (< *břidit* 'портить'), *budižkníčeti* (< *budiž k níčeti* 'быть ни к чему не годным'), *culjk* (< *culiti* 'путать'), *časomorce* (< *čas*, *mor* 'время, мор'), *čuhák*, *čuhaun* (< *čuhauneti* 'глазеть'). В наименовании деятельного человека отражена только констатация самого факта его деятельности – *činnjk*, *činitel* (< *činiti* 'делать').

г) Наименования человека, отражающие его отношение к деньгам, вещам, ресурсам и т. д., представлены двумя крайними членами оппозиции "жадный человек : щедрый человек" – *bzd'och* : *ctitel*. Для обоих слов названные значения не являются исходными в их лексико-семантических структурах. Это образные, метафорические значения, раскрывающие ту оценку (и ассоциативную связь) называемых явлений, которая существует в сознании носителей языка. Ср. *bzd'och* '1. вонючий, смердящий, безобразный, безнравственный коротышка', *ctitel* 'почитатель' (< *čest*, *cti* Р. пад. ед.ч. 'честь').

д) В отличие от древнечешского языка, в котором нравственная сущность человека раскрывается, в рамках нашего корпуса примеров, через понятия греховности и совести (*antikrist*, *antikřist*, *bezdušec*), в языке XIX в. наряду с наименованиями данной семантики (*berčelnjk*, *berčestnjk*, *beogočiwec*, *berstaudnjk*, *berstydnjk*, *cuchta*, *čuhagda*, *čuhejda* – 'бесчестный, бессовестный или бесстыдный человек', *arcihřjsnjk* 'величайший грешник'; *blaholibec* 'порядочный человек, тот, кто любит добро, честь'), функционируют существительные, маркирующие склонность человека к лицемерию, неискренности (*adwokát*, *andjlek*, *arcipokrytec*), интригам, сплетням (*bág*, *bágař*, *bágeč*, *bágek*, *bágkář*), подлости (*arcilotr*, *arcipadauch*, *arcišelma*; *bestiák*, *bestyák*, *best'ak*; *bestie*, *bestye*; *bliwoň*, *cumpljk*, *čtwerák*), лжи (*arcipodvodnjk*), бескорыстию (*bezemzdnjk*), а также его святость (*blahoslawenec* '2. благословенный', '3. спасенный', '4. провозглашенный святым').

е) Волевые качества человека раскрываются с общим значением 'трус' (*bába*, *báliwec*, *bogák*, *bzd'och*). Имена со значением 'сильный, мужественный человек' в наших материалах не представлены.

11) Наименования человека, раскрывающие способы его поведения, представлены как в лексико-семантических группах, сформировавшихся уже в древнечешский период (стиль жизни, координация движений, специфичны для человека), так и в новых лексико-семантических группах, выделяемых для языка эпохи возрождения: поведение, отражающее отношение человека к другим людям, уровень культуры человека, а также поведение, связанное с состоянием и работой отдельных органов и функциональных систем организма данного человека.

Лексико-семантическая группа слов, называющих человека по стилю его жизни, дополняет наше представление о способах

существования человека в пространстве и времени: он может быть не только бродягой или скитальцем, что было засвидетельствовано уже в языке древнечешского периода (*běhaun*), но и прихлебателем, приживальщиком и паразитом (*břichopas*, *břichopásek*, *cizopásek*). Слово *čtverák*, употреблявшееся в древнечешском языке, по свидетельству Я. Гебауэра, в значении 'бродяга', в языке эпохи возрождения это значение утрачивает.

Существительные, характеризующие человека по специфической для него координации движений, представлены в XIX в. следующим рядом слов: *brkač* ' тот, кто спотыкается', *caban* 'неуклюжий человек', *čapták* ' тот, кто плохо ходит'. Слово *čuřidlo*, имевшее в древнечешский период значение 'растяпа', в языке эпохи возрождения передает субъективное восприятие человека другими людьми ('мерзкая личность').

Поведение, отражающее отношение человека к другим лицам, зафиксировано в именах существительных *blazen*, *blázň* ('шут, весельчак'), *čtverák* ('плут, шутник').

В остальных лексико-семантических группах слов, называющих человека по его поведению, представлены имена существительные, отражающие негативную реализацию стандартного представления о норме в поведения человека: "культурный человек / невежа" (*arci-nezdwořák*, *brtjnk*), "человек, работа органов и функциональных систем организма которого соответствуют норме / человек с различного рода нарушениями названных систем и органов" (*bljkač*, *blikeš*, *bliwoň*, *braul*, *bzděc*, *bzdnawec*).

12) Лексико-семантический класс имен существительных, отражающих общую оценку личности другими людьми, представлен, как уже отмечалось, двумя группами слов:

а) субъективное восприятие личности окружающими, которое передается наименованиями, выражающими различные спектры пристрастного отношения к человеку: симпатию и любовь (*angel*, *anděl*, *babuchna*, *bažatko*), сочувствие (*běditel*, *biják*), пренебрежение (*cucák*), активное неприятие (*břidal*, *břidnjk*, *čuřidlo*, *čeřidlo*).

б) комплексная характеристика личности, которая представлена существительными, содержащими в своей семантике пейоративную оценку качеств называемой личности: поведение и характер (*barbač*, *cikán*, *ciğán*, *cingán*), интеллект и поведение (*blázen*, *balwan*), интеллект и характер (*bliwoň*), внешность, характер и поведение

(*bzd'och*). Во всех названных случаях выступают не прямые, а метафорические значения слов, отождествляющие называемую личность: с определенным, осуждаемым обществом классом людей (*barbar*, *cikán*, *blázen*), с шокирующим общественный вкус поведением человека (*blíwoň*, *bzd'och*); определенным предметом (*balwan*)<sup>32</sup>.

14) Лица женского пола имеют в языке XIX в. наименования, отражающие: рост женщины (*čana*), белизну ее рук (*běloručka*), комплекцию (*babisko*), внешний облик (*cumplja*, *šumplja*), способность / неспособность женщины к деторождению (*bezdětkyně*), характер (*antikrist*, *bletna*, *cumplja*, *šumplja*, *amazonka*), нравственность (*camara*, *cuchta*, *cůra*, *cára*), поведение (*běhla*, *caura*, *cuda*, *čuča*, *čuda*). Большая часть названных слов несет в себе негативную характеристику женщины по указанным параметрам.

15) Единственное имя существительное, называющее ребенка, фиксирует обстоятельства, связанные с появлением ребенка на свет – его рождение вскоре после свадьбы родителей (*brzace*).

Таким образом, исходя из наших наблюдений, можно отметить, что общая тенденция динамики лексической нормы чешского литературного языка начала XIX в. по сравнению с XIV–XVI вв. характеризуется переходом от номинаций, отражающих внешний облик, поведение и некоторые черты духовного мира человека в большинстве случаев, характеризующих человека негативно, к более полному отображению тех многообразных проявлений человеческой личности, которые существуют в реальной жизни. Язык все чаще фиксирует не только отрицательные, но и положительные черты во внешности, характере и поведении человека (ср. *břichač*, *bžoch* – *cifřičkář*, *cwik* – *bezelstnjk*, *bazilišek* – *blahowec*, *bzd'och* – *ctitel*, *bezdušec* – *blaholibec* и т. д.), хотя преобладающей тенденцией остается все-таки отображение негативных черт личности. Одной из важных тенденций динамики лексической нормы языка эпохи возрождения является переход от констатации существенных черт внешности, поведения или характера человека в наименовании лица к объяснению причин возникновения и специфических форм их проявления. Последнее достигается широким использованием ассоциаций и метафор при образовании имен существительных со значением лица.

### Современный период (середина XX в.)

Структура раздела "Человек как индивидуальность" не претер-

пела в современном чешском литературном языке существенных изменений по сравнению с языком предшествующего периода. Новыми элементами данной структуры стали: представленный единичным наименованием (в рамках нашего корпуса слов) класс слов "календарное время рождения человека" (*březnák* 'существо, рожденное в марте (человек или заяц)') и лексико-семантическая группа "зрелый возраст" (*bába, baba, čtyřicátník*) в составе лексико-семантического класса "наименования человека по возрасту". Заметные перестройки количественного и качественного характера проходят, однако, внутри уже сформированных в предшествующие периоды развития языка лексических классах и группах слов. Рассмотрим результаты этих процессов подробнее.

1) Наименования человека, характеризующие его с точки зрения половой принадлежности, представлены иными, нежели в языке XIX в. существительными (*babec, brach, člověk*).

2) Формирование лексико-семантического класса существительных, характеризующих человека по возрасту, имеет в XX в. следующие особенности:

а) пополнение лексико-семантической группы слов, называющих лицо детского возраста, происходит также, как и в языке эпохи возрождения, за счет слов, фиксирующих в наименовании отличительные особенности поведения или внешнего вида ребенка (посредством прямого или метафорического словообразования): *batole* (< *batolit se* 'ходить неуверенным шагом'), *bobek* (< *bobek* 'маленькая круглая вещь'), *boubelátko* (< *boubelatý* 'кругленький, пухленый'), *brouk, brouček* (< *brouk, brouček* 'жук, жучок'), *capart, capartě* (< *capart* 'маленький, незначительный кусок, часть, что-либо незначительно малое'), *červíček* (< *červíček* 'червячик'), *červík* (< *červík* 'червячик'); б) подростковый и юношеский возраст представлен словом немецкого происхождения: *bakfiš*; в) зрелый возраст – наименованиями *baba, bába, čtyřicátník*; г) пожилой возраст представлен – так же как и в языке эпохи возрождения – словообразовательными и стилистическими вариантами слов с общей семантикой 'старая женщина', образованных от общей мотивирующей основы *bab-*, но посредством иных, нежели в языке XIX в., суффиксов (*babčenka, babec, babice, babička, babisko, babiště*).

3) Класс слов, называющих человека по тембру голоса и особенностям речи, представлен в современном чешском языке

дихотомией признаков: "нечленораздельная речь : членораздельная речь (эмоциональная)" (*brbla*, *brebentil*, *brepta*, *brebta*, *breptal*, *brebtal*, *bručoun* : *bafal*). В данную группу впервые вошло также нейтральное наименование человека, имеющего определенный тембр голоса (*basista*).

4) Характеристика человека по внешности столь же актуальна для современного человека, как и для людей, живших в прошлом веке. Многие группы слов с данным общим значением увеличились в количественном отношении. Исключение составляют группы слов, характеризующие человека: по одежде (в ее составе отмечено только одно слово – *bosák*) – тип одежды в современном мире не является значимым для личностной характеристики человека, но является важным для определения его социального статуса и системы взглядов (ср. *berkalhotník* 'санкюлот', *černokabáník* 'священник', *černokošilák* 'фашист'); – по гипертрофии или недостаточности развития органов и частей тела (в составе которой отмечено только терминологическое новообразование *brachykefal*) – с точки зрения эстетичности его внешнего вида (*cumploch*).

а) характеристика человека по росту, которую, теоретически, можно рассматривать как трихотому – "низкий : средний : высокий рост", представлена, также как и в языке эпохи возрождения, крайними вариантами – наименованиями лиц, имеющих низкий (*bobek* '3. мелкий человек', *cuok* 'человек маленького роста') или слишком высокий рост (*čahoun* 'верзила')<sup>33</sup>.

б) ряд слов, характеризующих человека по его комплекции, значительно расширен за счет наименований с общим значением 'полный, толстый, обрюзгший человек' (*baculač*, *bagoun*, *bachrateg*, *bakchus*, *bakula*, *bakule*, *boubelaček*, *břicháč*, *břichatec*, *bubřina*, *bucek*, *cvalík*), существительное *cifříčkář*, выступавшее в XIX в. вторым членом дихотомии "полный : худой" человек, в современном языке не зафиксировано.

в) группа слов, называющих человека по цвету кожи, волос, зубов и т. д., увеличена за счет новых слов, акцентирующих внимание на цвете волос, бороды, усов, а также бледности кожи (*bělohlávek*, *bělohlavec*, *blond'ák*, *blondýn*, *brunet*, *černohlávek*, *černovlásek*, *černoušek*, *bělovous*, *černovousáč*; *bledáček*, *bled'áček*, *bled'och*, *bledule*).

г) существенных изменений в группе слов, называющих

человека по "наличию / отсутствию волос, а также органов и частей тела", практически не произошло (*bezhlavec*, *bezručka*, *bezzubec*, *bradáč*). Из употребления вышло существительное *balausáč*.

5) Лексико-семантический класс слов "здоровье, заболевания, личная гигиена" увеличен за счет медицинских терминов: называющих больного по типу его заболевания (*afatik*, *alerгik*, *apoplektik*, *astenik*, *astigmatik*, *astmatik*, *barvoslepec*, *bacilonosič*, *bacilonoš*, *bronchitik*); называющих человека, симулирующего заболевание (*aggravant*), а также нетерминологических наименований больного человека (*cukrář*, *cukrovkář*). Значительно, по сравнению с языком эпохи возрождения, увеличилась группа слов, называющих людей со слабым зрением (*brejlač*, *brejlatec*, *brýlatec*, *brejlovec*), существительное *běsník* (древнечешск. *běsovník*) 'бесноватый, одержимый дьяволом' вышло из употребления в современном чешском языке, что, очевидно, связано с осознанием иных причин возникновения психических заболеваний у человека.

6) Класс слов "физические возможности и состояние человека" представлен корреляцией "сильный человек : слабый человек" (*atlet*, *berserk*, *berserkr* : *červík*), в отличие от языка эпохи возрождения, в котором представлен только первый член названной корреляции.

7) Произошли изменения в структуре лексико-семантического класса слов, называющих лицо по "потребностям, пристрастиям или их отсутствию". Как и прежде, актуальными остаются наименования лица, связанные с пристрастием к вину (*alkoholik*, *bumbal*), определенным видам пищи (*buchtař*), хотя список таких слов в нашем материале сократился по сравнению с языком возрожденческого периода – вышли из употребления существительные *babář*, *bandorák*, *beranogjedce*, *beranogedec*. Не зафиксированы многочисленные в языке предшествующего периода наименования с общим значением 'обжора'. В данном классе слов проявилась общая тенденция, отмеченная выше, – более адекватное отображение в наименовании лица свойств и качеств, присущих человеку, отображение разнополюсности его интересов. В частности, в данном классе слов представлена оппозиционная пара качеств "чрезмерность : ограничение" потребностей, пристрастий. Ср. *alkoholik*, *bumbal* : *abstinent*; *břichopas*, *břichopásek*, *břichopasek*, *buchtař* 'сибарит, гурман' : *asketa* 'аскет', *beduín* 'человек с незначительными жизненными потребностями'. Из новых слов, отражающих пристрастия современного человека, отметим *cigaretář* 'курильщик'.

8) В классе имен существительных, называющих человека по интеллекту, воображению, памяти и т. д., группа имен существительных с общим значением ‘глупый человек, дурак’ является самой многочисленной. В ней представлены как наименования, уже давно используемые в языке для передачи названного значения (*bláhovec*, *bláznička*, *blb*, *blboun*, *bloud*), так и новые слова, образованные посредством словосложения (*božídar*, *božídárek*), метафорического словообразования (*bulík* < *bulík* (нем.) ‘молодой вол’, *buvol* < *buvol* ‘буйвол’, *cvok* < *cvok* (нем.) ‘твзьдь’). Однако это не единственная группа слов, которая, в отличие от предшествующих периодов развития языка, характеризует человека по уровню его интеллектуального развития. В данный класс слов входят наименования, в которых отражена опрометчивость мышления, сумасбродство, свойственные называемой личности (*bezhlavec*, *blázen*, *bloudílek*), ограниченность мышления (*abderita*), способность к воображению, фантазии (*blouznil*).

9) Тенденция к разностороннему отображению человеческой личности проявилась и в классе имен существительных, называющих человека по его темпераменту. В современном языке представлены наименования людей не только активного, энергичного, холерического темперамента (*asiant*, *bouřil*, *bouřlivák*, *bujan*), подвижного, сангвинического темперамента (*čamrda*, *čertisko*, *číman*, *čírtě*), меланхолического темперамента (*bolestín*, *bručidlo*, *brečoun*, *citlivec*, *citlivín*, *citlivěštka*, *citlivěštka*, *citlivka*, *černohlíd*), но и наименования, характеризующие людей со спокойным, пассивным, флегматичным темпераментом (*bábovka*, *bačkorář*, *blouma*).

10) В современном чешском языке лексико-семантический класс слов, называющий человека по свойствам его характера, включает в себя те же лексические группы, что и в период национального возрождения. Изменения касаются содержательной стороны данных лексико-семантических групп – современный язык более полно отражает сложнейший мир человеческой психики, выявляет и оформляет в номинациях все большее количество индивидуальных и в то же время типичных, устойчивых психических черт личности человека. Если рассматривать черты характера современного человека, эксплицированные в языке, с морально-этической точки зрения, то окажется, что значительная, если не большая их часть, характеризует отнюдь не самые сильные стороны человеческой натуры – нервную слабость, болтливость, жестокость, лживость, беспринципность, леность и т. д.

а) Отношение человека к другим людям отражают имена существительные, выявляющие следующие компоненты характера человека : болтливость (*blafal, blafka, blager, blepta, blebta, boucharon, brepta, breptoun, brykač, camral, camra, cancal, čvaňha, čvaňhal*), сварливость (*balbous, brumlal, brundibar, brouk, broukal, bručák, bručavec, bručidlo, bručil, bručivo, bručoun, brumla, brumlal, brumloun, bublák*), жестокость (*antichrist, bezcita*), злобность (*arcid'abel, bestie*), склонность к подавлению чужой воли (*autoritář*), равнодушие, безразличие по отношению к другим (*blaseovanec*), а также доброту (*altruista, beroušek, bonhomme*) и способность защищать другого человека (*advokát, apologeta*).

б) Отношение человека к себе передается при помощи заимствованных наименований со значением лица, отражающих такие черты характера, как высокомерие (*arivista*), самокритичность (*autokritik*).

в) Имена существительные, называющие человека по его отношению к жизни, делу, труду, формируют, также как и в языке предшествующего периода, оппозицию "целеустремленный, деятельный человек : человек, не планирующий своей деятельности, бездельник, лентяй" (*bitec, bojovatel, budovatel* : *avanturista, bakchant, blatošlap, budižkničeti, buláč*).

г) Наименования человека, отражающие его отношение к деньгам, вещам, ресурсам и т. д., представлены двумя крайними членами оппозиции "жадный человек : расточительный человек" (*bumbrlíček* 'жадюга' : *bouřil* 'мот').

д) Нравственная сущность личности раскрывается именами существительными через экспликацию следующих качеств личности: греховность человеческой натуры (*bezbožník*), состояние блаженства (*blaženec, blahoslavenec*), лживость (*báchorák, bajkáč, balamuta, balamut{a}, balamutič, balamutil, bandita*), беспринципность (*amorálista, bezpateřník, bramarbas, byzantinec, cynik*), подлость (*best'ák, bídák*), бессовестность (*bídník*), лицемерие (*bigotista*).

у) Волевые качества человека представлены в номинациях, отражающих такие качества, как: трусость (*bázlivec*), слабохарактерность, малодушие (*bába*), упрямство (*beran, bzdurák*), настойчивость (*borec*).

11) Количество и семантический состав лексико-семантических групп имен существительных со значением лица, раскрывающих

способы и манеру поведения человека, в современном языке и в языке предшествующего периода, практически совпадают.

а) Характерными чертами стиля жизни современного человека, зафиксированными в языке, являются: отмеченное еще в языке древнечешского периода и в языке эпохи возрождения бродяжничество (*běhouň*, *bloudilec*, *bosák*), а также свободный, разгульный образ жизни (*bohem*, *bouřil*). Актуальные для языка XIX в. наименования *břichopas*, *břichopásek*, *cizopásek* ('приживала, прихлебатель, паразит') в словаре современного языка отсутствуют.

б) Наименования, отражающие через поведение человека его отношение к другим лицам, показывают, что в современном языке оппонент может восприниматься и как объект агрессии (*bašiboruk*, *bijan*, *bijce*, *bijec*), и как объект для подражания (*Amerikán*) и как партнер во время отдыха (*blázen*).

в) Имена существительные, называющие человека в связи со специфической для него координацией движений, а также в связи с состоянием и работой органов и функциональных систем организма, в языке современного периода, также как и в языке эпохи возрождения, несут негативную характеристику личности (ср. *babra*, *babrák*, *babral*, *balvan*, *batoláč*, *coural*, *čvancura*; *blíč*, *bdz'och*).

г) Тенденция отображать в номинации разнообразные, не только негативные стороны проявления человека, реализована в группе существительных "поведение, определяемое уровнем культуры". Оппозиция "культурный человек : невежа" в современном языке, в отличие от языка эпохи возрождения, реализована полностью – *aristokrat*, *civilisovanec*, *civilizovanec*: *analfabet*, *balda*, *balík*.

12) Лексико-семантический класс имен существительных, в значении которых отражена общая оценка личности другими людьми, представлен, также как и в языке эпохи возрождения, следующими лексико-семантическими группами слов:

а) субъективное восприятие личности окружающими, которое выражается наименованиями, отражающими: симпатию и любовь (*cukrouš*), сочувствие (*bědák*, *bídňík*, *borák*), пренебрежение (*červ*), активное неприятие (*čuňák*).

б) комплексная характеристика личности, которая в основном представлена существительными, содержащими в своей семантике пейоративную оценку качеств называемой личности: внешность и поведение (*bandur*, *baraba*, *činče*, *činík*), внешность и характер

(*anděl, bukač*), поведение и характер (*asiat, bastant, barbar, bet'ár, čtverák*), темперамент и характер (*čert*), интеллект и поведение (*balšan, bambula*), внешность, характер и поведение (*čuně, baloun*), интеллект, (темперамент), поведение и характер (*babář, bát{a}*), материальное состояние и субъективная оценка (*bídák*), внешность, характер и материальное состояние (*bařtipán*), интеллект и материальное состояние (*buřoust*).

13) Лица женского пола имеют в современном чешском языке наименования, отражающие: комплекцию (*bahna, bachna, bachořice, bachořina, basa*), цвет волос и глаз (*blonda, černobrúka, černoočka*), эстетическую оценку внешности (*cumpla*), характер (*babizna, bručna*), нравственность (*bahnice, běhna, běhule, běhula, bludice, coura, čuba*), субъективное восприятие другими людьми (*beroušek, berunka, beruška*); комплексную характеристику личности – внешность и поведение (*cuchta, cundra*), возраст, характер и субъективное восприятие (*bába*), внешность, характер и субъективное восприятие (*bohyně*). Большая часть названных слов (за исключением *blonda, černobrúka, černoočka, beroušek, berunka, beruška, bohyně*), так же как и в языке эпохи возрождения, негативно характеризует женщину по указанным параметрам.

14) Лексико-семантический класс слов, характеризующих детскую личность, включает в себя группы слов: рост (*svoček*) и комплекция (*buclík, bucláček, cvalík*) ребенка, его физическое состояние (*bandur*), поведение (*budulínek*).

Направление динамики лексической нормы лексико-семантической категории лица в чешском языке в диахроническом плане можно охарактеризовать как движение от меньшей к большей эксплицированности в языке существующих независимо от сознания человека явлений языковой действительности – многообразных проявлений человеческой личности. Увеличивается детализация, объемность и объективность отражения субстантивными средствами языка внешности, внутреннего мира и поведения человека. Количественный и качественный состав имен существительных со значением лица возрастает, усложняется и совершенствуется по мере своего роста набор лексико-семантических классов и групп слов, которые формируют названную категорию. С развитием языка и общественного самосознания изменяются акценты в отношении

общества к человеческой личности – возрастает интерес к ее духовному миру, жизненным ценностям, моральным и нравственным качествам, закономерностям их проявления в характере и поведении человека. Эта тенденция прослеживается как в отношении существительных со значением мужского лица, так и в отношении субстантивов, называющих женщин и детей.

В рамках отдельно взятой лексико-семантической группы слов эти изменения проявляются как постепенное (на протяжении всей истории языка) развитие оппозиционных пар (по рассматриваемому признаку) к уже имеющимся одиночному наименованию. Лексической нормой становится двучленная или многочленная оппозиция: "низкий : высокий", "толстый : худой", "злой – добрый", "жадный – щедрый", "лентяй – трудолюбивый", "агрессивный – спокойный – медлительный" и т. д. (ср. *cwrk* – *čahán*; *břicháč*, *břoch* – *cifřickář*; *cwik* – *bezelstnjk*; *bazilišek* – *blahowec*; *bzd'och* – *cítitel*; *bezdušec* – *blaholibec*; *bezpečnjk* – *činnjk*; *brbla* – *bafal* – *basista*; *atlet* – *červík*; *alkoholík* – *abstinent*; *břichopas* – *asketa*; *bouřil* – *čertisko* – *blouma*; *avanturista* – *blasovanec*; *bercita* – *altruista*; *beroušek*, *budovatel* – *blatošlap*; *bumbrlídek* – *bouřil*; *berbožník* – *blahoslavenec*; *aristokrat* – *balík* и др.).

В русле данной тенденции находится и стремление к большей объективности отображения личности (констатация факта), хотя безусловным приоритетом при образовании существительных со значением лица является выражение субъективного отношения говорящего к называемому предмету. Большую часть существительных, входящих в лексико-семантическую категорию лица, составляют имена, фиксирующие преимущественно негативные реализации стандартного представления о человеке, однако постепенно, с развитием языка, в словаре появляются наименования, характеризующие его нейтрально или положительно.

В языке современного периода элементами, образующими нейтральную или положительную пару соответствующим негативным наименованиям лица, а также дополняющими или детализирующими описание свойств или качеств человеческой личности, обсуждаемое в рамках данной лексико-семантической группы слов, часто становятся заимствованные имена существительные, заполняющие таким образом имеющиеся в чешском языке семантические лакуны (*basista*, *atlet*, *abstinent*, *asketa*, *beduín*, *abderita*, *avanturista*, *autoritař*, *alt-*

*ruista, advokát, apologeta, arivista, autokritik, amoralista, bandita, bigotista, bohem, aristokrat, civilizovanec, analfabet, bohyně* и др.).

Важной является также и тенденция отразить в номинации не только классифицирующие признаки человеческой личности общего плана (например: 'мужчина', 'женщина', 'ребенок', 'дурак', 'толстяк', 'добряк' и т. д.), но и показать, с какими особенностями данной личности связана номинация (ср. 'ребенок' – *bébě*, *cicák*, *bosý* и др.), а также разнообразные причины возникновения этих качеств (ср. *begumec*, *blaud*, *cicák*, *čketa* и др.).

Динамика лексической нормы лексико-сематической категории лица в чешском языке может быть связана не только с формированием новых и количественным увеличением уже имеющихся классов и групп слов, но и с утратой отдельных структурных компонентов системы, изменением их функций в рамках рассматриваемой лексико-семантической категории. Так, важная для языка XIV–XIX вв. характеристика человека по одежде (*bosák*, *berkalhotka*, *bosočod*, *botář*, *cund'ák* и др.) изменяет свою функцию в языке XX в. – она становится в большей степени показателем социального статуса и системы идеологических взглядов данного человека (*bosák* 'монах', *berkalhotník* 'санкюлот', *černokabatník* 'священник', *černokošilač* 'фашист'), и входит, таким образом, в структуру иного разряда лексико-семантической категории лица – в структуру разряда "Положение человека в обществе".

К частным тенденциям динамики лексической нормы рассматриваемой категории следует отнести устранение дублетности и вариативности в номинациях лица, уточнение и изменение значений отдельных наименований в процессе языкового развития, а также появление новых слов, называющих актуальные реалии эпохи, и утрата их на последующих этапах развития языка.

<sup>1</sup> Němc I. Vyvojové postupy české slovní zásoby. Praha, 1968.

<sup>2</sup> Еще З. Фрейд отмечал бессознательную сторону психических процессов, к которым относится и процесс мышления. Ср.: "...психические процессы сами по себе бессознательны, сознательны лишь отдельные акты и стороны душевной жизни" и далее "...психическое представляет собой процессы чувствования, мышления, желания, и это определение допускает существование бессознательного мышления и бессознательного желания" (Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции: М., 1991, с. 11). Таким образом, как "форма существования и форма выражения мышления" (Философский

словарь. М., 1980, с. 437), языковая система и ее лексико-семантические структуры являются "правдивым отражением... возможной истории человеческого мышления" (Гийом Г. Принципы теоретической лингвистики. М., 1992, с. 140), объективным свидетельством бессознательной психической и ментальной жизни нации, ее психического и ментального развития. Чтобы понять логику и направление этого развития, необходимо научиться "расшифровывать" структуры языка (Гийом Г. Указ. соч., с. 140).

<sup>3</sup> В названии статьи и далее по тексту указаны хронологические рамки рассматриваемого материала. Сам материал не отражает континуума языковых процессов в указанных временных границах, но представляет определенные этапы состояния чешского литературного языка – начало XIV – конец XVI вв., начало XIX в., середина XX в., – зафиксированные в наиболее авторитетных источниках названных периодов времени.

<sup>4</sup> *Gebauer J.* Slovník staročeský. D. I. Praha, 1970.

<sup>5</sup> *Bělič J., Kamiš A., Kučera K.* Malý staročeský slovník. Praha, 1978.

<sup>6</sup> *Jungmann J.* Slovník česko-německý. D. I. Praha, 1835.

<sup>7</sup> Slovník spisovného jazyka českého. D. I. Praha, 1960.

<sup>8</sup> Staročeský slovník. Úvodní statí, soupis pramenů a zkratky. Praha, 1968, s. 7; Широкова А. Г., Нещименко Г. П. Становление литературного языка чешской нации // Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М., 1978; Havránek B., Jedlička A. Česká mluvnice. Praha, 1981.

<sup>9</sup> *Bělič J., Kamiš A., Kučera K.* Malý staročeský...

<sup>10</sup> Staročeský slovník. Úvodní statí..., s. 10–11.

<sup>11</sup> *Gebauer J.* Slovník..., s. IV.

<sup>12</sup> *Grepl M.* Vývoj spisovné češtiny za obrození a jazyková teorie // "Sborník prací filosofické fakulty Brněnské univerzity". Roč. VII, Řada jazykovědná A 6. 1958, s. 74–85.

<sup>13</sup> *Jungmann J.* Slovník..., s. VII.

<sup>14</sup> *Hauser Př.* Tvoření podstatných jmen v době národního obrození. Brno, 1978, s. 10; *Havránek B.* Vývoj spisovného jazyka českého. Praha, 1936, s. 86; Широкова А. Г., Нещименко Г. П. Указ. соч., с. 78.

<sup>15</sup> Гофманова Я., Мюллерова О. Смешение литературных и нелитературных компонентов в устных высказываниях на чешском языке // Язык – культура – этнос. М., 1994, с. 13–26.

<sup>16</sup> Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990, с. 337.

<sup>17</sup> Едличка А. Литературный язык в современной коммуникации // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XX. М., 1988, с. 71.

<sup>18</sup> Лексическая основа русского языка. Комплексный учебный словарь / Под ред. В. В. Морковкина. М., 1984.

<sup>19</sup> В статье сохраняется графическая система, используемая Й. Юнгманом в

"Чешско-немецком словаре". Согласно данной системе буква **w** соответствует букве **v** современного алфавита, **g=j, ġ=g, j=í** и т. д.

<sup>20</sup> Для языка современного периода приводятся все стилистические пометы, принятые для данных слов в "Словаре литературного чешского языка" (Прага, 1960).

<sup>21</sup> В толкованиях слов цифрами (1., 2., 3., и т. д.) маркируется порядковый номер лексического значения слова, принятый в соответствующем словаре.

<sup>22</sup> Скляревская Г. Н. Метафора в системе языка. СПб., 1993, с. 47.

<sup>23</sup> Там же, с. 46.

<sup>24</sup> Семантическая переменная "материальное состояние" выходит за рамки семантических признаков лексико-семантического разряда "Человек как живое существо" и относится к признакам, характеризующим лексико-семантический разряд "Положение человека в обществе". Соответственно слова типа *baťtipán, býčoušt* находятся на периферии названных разрядов слов, образуя "контактную зону" между ними. Данным словам должно быть отведено особое место в структуре лексико-семантической категории "Человек". Однако мы сочли целесообразным упомянуть их сейчас как демонстрацию взаимодействия и взаимопересечения лексико-семантических разрядов на уровне отдельного значения однозначного или многозначного слова.

<sup>25</sup> Ср. эксплицированное во фразеологических единицах русского литературного языка представление об интеллектуальных способностях женщины: *Курица не птица – баба не человек; У бабы волос долог, а ум короток; женская память, женская логика* и т. д.: Телия В. Н. Культурно-национальные коннотации фразеологизмов (от мировидения к миропониманию) // Славянское языкознание. XI Межд. съезд славистов. Братислава, сентябрь 1993. Доклады российской делегации. М., 1993., с. 305.

<sup>26</sup> Ср. "Во мне, составляя часть моего внутреннего мира, существует образ человека. Видеть человека, видеть его каким он есть на самом деле, по-человечески, означает: подвергнуть этот образ человека, интегрированный в моем мыслительном мире (*mon univers mental*), обработке, которая сделает из него эквивалент образа, существующего вне меня." (Гийом Г. Указ. соч., с. 144).

<sup>27</sup> Macheck V. Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1971, s. 91.

<sup>28</sup> Ibid., s. 93.

<sup>29</sup> Ibid., s. 40; Jungmann J. Slovník...

<sup>30</sup> Jungmann J. Slovník... Ср. также: "blazen – старочеш. по-происхождению blázn, отсюда bláznivý, blázniční, старочеш. также bláznový <...>. Праслав. старослав. *blaznъ*; происхождение неясно", см. Macheck V. Etymologický slovník... s. 55; Старослав. **блазнъ** 'соблазн, искушение' – Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. М., 1994, с. 91. Вероятно, глупость человека, названного *blazen*, *blazn* заключается в том, что он поддался искушению.

<sup>31</sup> Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под ред. Н. И. Толстого. Т. 1. М., 1995, с. 292–293.

<sup>32</sup> Преобладание пейоративной оценки над мелиоративной в метафорических словах и выражениях русского языка отмечает Г. Н. Скляревская. Это явление, по ее мнению, "имеет не только языковую природу, но психологическую, и социальную, и его еще предстоит исследовать с позиции аксиологии. Можно, однако, сделать предположение, что такое распределение метафорических обозначений человека обусловлено тем, что человеку свойственно называть "не своим именем" того, кто заслуживает порицания, представляет собой отклонение от нормы. Практически это обстоятельство связано с тем, что объекты, избираемые для метафорического именования человека, по тем или иным причинам вызывают устойчивое и всеобщее отношение, связанное с пейоративной оценкой (свинья, паук, жаба), либо реалии сами по себе нейтральны, но присыпывание их свойств человеку воспринимается как его дискредитация (сундук, тумба)". – Скляревская Г. Н. Указ. соч., с. 103.

<sup>33</sup> Ср. Скляревская Г. Н. Указ. соч., с. 102: "Наши материалы показали, что отклонение от стандарта всегда вызывает отрицательную оценку, будь то превышение стандартной меты (каланча – слишком высокого роста) или ее недостаточность (огарок – недостаточно высокого роста)".

#### ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

JG – Jungmann J. Slovník česko-německý. D. I. Praha, 1835.

SSJČ – Slovník spisovného jazyka českého. D. I. Praha, 1960.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.....	3
<i>Глава 1. Феномен динамики литературно-языковой нормы как предмет диахронической социолингвистики (Е. И. Демина).....</i>	<i>5</i>
<i>Глава 2. О некоторых тенденциях развития первого литературного языка славян в произведениях древнеболгарских писателей (В. С. Ефимова).....</i>	<i>23</i>
<i>Глава 3. Традиционное и новое в опытах кодификации норм литературного словацкого языка периода его становления (Л. Н. Смирнов).....</i>	<i>68</i>
<i>Глава 4. Развитие норм серболужицких литературных языков в связи со спецификой языковой ситуации (М. И. Ермакова).....</i>	<i>106</i>
<i>Глава 5. Из наблюдений над динамикой лексической нормы в текстах новоболгарских дамаскинов XVII–XVIII вв. (Г. П. Клепикова).....</i>	<i>143</i>
<i>Глава 6. Об искусственных правилах современного болгарского языка на стадии его становления (Г. К. Венедиктов).....</i>	<i>195</i>
<i>Глава 7. Словообразовательная конкуренция как фактор динамики литературной нормы (Г. П. Нещименко).....</i>	<i>240</i>
<i>Глава 8. О динамике лексической нормы в чешском литературном языке XIV–XX вв. (Ю. Е. Стемковская).....</i>	<i>270</i>



ПРОБЛЕМЫ СЛАВЯНСКОЙ  
ДИАХРОНИЧЕСКОЙ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ:  
ДИНАМИКА ЛИТЕРАТУРНО-ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ

Руководитель проекта и ответственный редактор  
доктор филологических наук Е. И. Демина

ЛР № 020935 от 9 ноября 1994 г.

---

Подписано в печать **29.06.** 1999 г. Усл. печ. л. 19,5.  
Тираж 300 экз. Заказ № **89**. Цена договорная.

---

inlav